Братья Вайнеры

Эра милосердия



Библиотека приключений и фантастики

Эра милосердия

Аркадий Александрович Вайнер, Георгий Александрович Вайнер

Аннотация

Братья Вайнеры. Эра милосердия

* * *
– – –
* * *
– – –
* * *
– – –



Аннотация

Роман об оперативных сотрудниках Московского уголовного розыска (МУР), об их трудной и опасной работе по борьбе с преступностью. События развертываются в первом послевоенном, 1945 году. Офицер Шарапов, бывший полковой разведчик, поступает на работу в МУР, чтобы оберегать и охранять то, что народ отстоял в годы войны. В составе оперативной группы, которую возглавляет капитан Жеглов, он участвует в разоблачении и обезвреживании опасной бандитской шайки «Черная кошка».

Братья Вайнеры. Эра милосердия

* * *

В учреждения и на предприятия требуются: старшие бухгалтеры, инженеры и техники-строители, инженеры-механики, инженеры по автоделу, автослесари, шоферы, грузчики, экспедиторы, секретари-машинистки, плановики, десятники-строители, строительные рабочие всех квалификаций...

Объявление

— А ты пока сиди, слушай, набирайся опыта, — сказал Глеб Жеглов и сразу забыл обо мне; и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я отодвинулся к стене, украшенной старым выгоревшим плакатом: «Наркомвнуделец! Экономя электричество, ты помогаешь фронту!»

Фронта давно уже не было, но электричество приходилось экономить все равно — лампочка и сейчас горела вполнакала. Серый сентябрьский день незаметно перетекал в тусклый мокрый вечер, желтая груша стосвечовки дымным пятном отсвечивала в сизой изморози оконного стекла. В кабинете было холодно: из-под верхней оваль-

ной фрамуги, все еще заклеенной крест-накрест белыми полосками, поддувало пронзительным едким холодком.

Я не обижался, что они разговаривают так, словно на моем венском стуле с нелепыми рахитичными ножками сидит манекен, а не Шарапов — их новый сотрудник и товарищ. Я понимал, что здесь не просто уголовный розыск, а самое пекло его — отдел борьбы с бандитизмом — и в этом милом учреждении некому, да и некогда заниматься со мной розыскным ликбезом. Но в душе оседала досадливая горечь и неловкость от самой ситуации, в которой мне была отведена роль школяра, пропустившего весь учебный год и теперь бестолково и непонятно хлопающего ушами, тогда как мои прилежные и трудолюбивые товарищи уже приступили к решению задач повышенной сложности. И от этого я бессознательно контролировал все их слова и предложения, пытаясь найти хоть малейшую неувязку в рассуждениях и опрометчивость в выводах. Но не мог: детали операции, которую они сейчас так увлеченно обсуждали, мне были неизвестны, спрашивать я не хотел, и только из отдельных фраз, реплик, вопросов и ответов вырисовывался смысл задачи под названием «внедрение в банду».

Вор Сенька Тузик, которого Жеглов не то припугнул, не то уговорил — этого я не понял, — но, во всяком случае, этот вор пообещался вывести на банду «Черная кошка». Он согласился передать бандитам, что фартовый человек ищет настоящих воров в законе, чтобы вместе сварганить миллионное дело. Для внедрения в банду был специально вызван оперативник из Ярославля: чтобы ни один человек даже случайно не мог опознать его в Москве. А сегодня утром позвонил Тузик и сказал, что фартового человека будут ждать в девять вечера на Цветном бульваре, третья скамейка слева от входа со стороны Центрального рынка.

Оперативник Векшин, который должен был сыграть фартового человека, мне не понравился. У него были прямые соломенные волосы, круглые птичьи глаза и голубая наколка на правой руке: «Вася». Он изо всех сил старался показать, что предстоящая встреча его нисколько не волнует, и бандитов он совсем не боится, и что у себя в Ярославле он и не такие дела проворачивал. Поэтому он все время шутил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, сам же первый им смеялся и, выбрав именно меня как новенького и безусловно еще менее опытного, чем он сам,

спросил:

— А ты по фене ботаешь?[1]

А я командовал штрафной ротой и повидал таких уркаганов, какие Векшину, наверное, и не снились, и потому свободно владел блатным жаргоном. Но сейчас говорить об этом было неуместно — вроде самохвальства, — и я промолчал, а Векшин коротко всхохотнул и сказал Жеглову:

— Вы не сомневайтесь, товарищ капитан! — И мне послышался в его мальчишеском голосе звенящий истеричный накал. — Все сделаю в лучшем виде! Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!

От долгой неподвижности затекла нога, я переменил позу, венский стул подо мной пронзительно заскрипел, и все посмотрели на меня, но поскольку я сидел по-прежнему каменно молча, то все снова повернулись к Векшину, и Жеглов, рубя ладонью стол, сказал:

— Ты запомни, Векшин: никакой самодеятельности от тебя не требуется, не вздумай лепить горбатого — изображать вора в законе. Твоя задача проста, ты человек маленький, лопушок,

---

[1] Примечания: 1

По-блатному разговариваешь?

шестерка на побегушках. Тебя, мол, отрядили выяснить — есть ли с кем разговаривать? Коли они согласны брать сберкассу, где работает своя баба-подводчица, то придет с ними разговаривать пахан. Ищете связи потому, что вас, мол, мало и в наличии только один ствол...

— А если они спросят, почему сразу не пришел пахан? — Круглые сорочьи глаза Васи Векшина горели, и он все время потирал одна о другую красные детские ладони, вылезавшие вместе с тонкими запястьями далеко из рукавов мышиного кургузого пиджачка.

— Скажешь, что пахан их не глупее, чтобы соваться как кур в ощип. Откуда вам знать, что с ними не придет уголовка? А сам ты, мол, розыска не боишься, поскольку на тебе ничего особого нету и про дело предстоящее при всем желании рассказать никому ничего не можешь — сам пока не в курсе...

Лицо у Жеглова было сердитое и грустное одновременно, и мне казалось, что он тоже не уверен в парнишке. И неожиданно мне пришла мысль предложить себя вместо Векшина. Конечно, я первый день в МУРе, но, наверное уж, все, что этот мальчишка может сделать, я тоже сумею. В конце концов, даже если я провалюсь с этим заданием

и бандит, вышедший на связь, меня расшифрует, то я смогу его, попросту говоря, скрутить и живьем доставить на Петровку, 38. Ведь это тоже будет совсем неплохо! Перетаскав за четыре года войны порядочно «языков» через линию фронта, я точно знал, как много может рассказать захваченный врасплох человек. В том, что его, этого захваченного мною бандита, удастся «разговорить» в МУРе, я совершенно не сомневался. И поэтому вся затея, где главная роль отводилась этому желторотому сосунку Векшину, казалась мне ненадежной. Да и нецелесообразной.

Я снова качнулся на стуле (он пронзительно взвизгнул — дурацкий стульчик, на гнутой спинке которого висела круглая жестяная бирка, похожая на медаль) и сказал, слегка откашлявшись:

— А может, есть смысл захватить этого бандита и потолковать с ним всерьез здесь?

Все оглянулись на меня, мгновение в кабинете стояла недоуменная тишина, расколовшаяся затем оглушительным хохотом. Заходился тонким фальцетом Векшин, мягко похохатывал баритончиком Жеглов, лениво раздвигая обветренные губы, сбрасывал ломти солидного сержантского смеха Иван Пасюк, вытирал под толстыми

стеклами очков выступившие от веселья слезы фотограф Гриша...

Я не спеша переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на Жеглове; и тот резко оборвал смех, и все остальные замолчали, будто он беззвучно скомандовал: «Смирно!» Только Векшин не смог совладать с мальчишеской своей смешливостью и хихикнул еще пару раз на разгоне... Жеглов положил руку мне на плечо и сказал:

— У нас здесь, друг ситный, не фронт! Нам «языки» без надобности...

И я удивился, как Жеглов точно угадал мою мысль. Конечно, лучше всего было бы промолчать и дать им возможность забыть о моем предложении, которое, судя по реакции, показалось им всем вопиющей глупостью, или нелепостью, или неграмотностью. Но я уже завелся, а заводясь, я не впадаю в горячечное возбуждение, а становлюсь упорным, как танк. Потому и спросил, спокойно и негромко:

— А почему же вам «языки» без надобности?

Жеглов повертел папироску в руках, подул в нее со свистом, пожал плечами:

— Потому что на фронте закон простой: «язык», которого ты приволок, — противник, и вопрос

с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь, только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...

— Как это «пошлет»? Он на то и «язык», чтобы рассказывать, чего спрашивают. А доказать потом можно, — убежденно сказал я.

Жеглов прикурил папироску, выпустил струю дыма, спросил без нажима:

— На фронте, если «язык» молчит, что с ним делают?

— Как что? — удивился я. — Поступают с ним, как говорится, по законам военного времени.

— Вот именно, — согласился Жеглов. — А почему? Потому что он солдат или офицер вражеской армии, воюет с тобой с оружием в руках и вина его не требует доказательств...

— А бандит без оружия, что ли? — упирался я.

— На встречу вполне может прийти без оружия.

— И что?

— А то. В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже — написано, что он гражданин. Прописка по какому-нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за рупь двадцать!

— Если всерьез говорить, то крупный преступник сейчас много хуже фашиста, — сказал, вращая круглыми желто-медовыми бусинками глаз, Векшин. — Вот с этим самым паспортом он грабит и убивает своих! Хуже фашистов они! — повторил он для убедительности.

«Много ты про фашистов знаешь!» — подумал я, но говорить ничего не стал, поняв уже, что сделал глупость, вступив в спор: теперь уже не осталось никаких шансов — после того как я проявил такую неграмотность, — что меня могут послать вместо Векшина на встречу с бандитами.

И совещание скоро закончилось. Время тянулось невыносимо медленно. Жеглов дал мне талон на обед, и все сходили в столовую на первом этаже, кроме Векшина, который на всякий случай из жегловского кабинета не выходил, и ему принесли полбуханки хлеба и банку тушенки, и он все это очень быстро уписал, запивая водой из графина и облизывая худые пальцы в заусеницах. Рядом с неровными буквами «Вася» на руке у него была россыпь цыпок, и, глядя на них, я почему-то вспомнил мальчишескую примету, будто цыпки вырастают, если в руки берешь лягушек. «Пацан еще, — подумал я снисходительно, уже простив Векшина за его высокомерные наскоки. — Совсем

пацан».

Тогда я еще не знал, что на счету у «пацана» значились не только три десятка изловленных воришек, но и грабительская шайка Яши Нудного, повязанная благодаря исключительному умению Векшина влезть в душу уголовника.

— У тебя оружие с собой? — спросил его Жеглов.

— А как же? — Векшин приподнял полу своего люстринового пиджачка и похлопал ладонью по кобуре револьвера. — Я без него никуда.

Жеглов ухмыльнулся:

— Надо будет его оставить. Он тебе там ни к чему...

— Неужели нет?.. — ответно ухмыльнулся Векшин и отстегнул кобуру.

Тягуче сочилось время, капали ленивые минуты, и, если бы позеленевший медный маятник не качался монотонно в длинной коробке стенных часов, можно было подумать, что они остановились навсегда. Дождь дудел в окно, как в сломанную губную гармошку, невыносимо однообразно: «бу-бу-бу», пугающе-яростно прокричала на улице «Скорая помощь», шаркали и неровно топотали в коридоре тяжелые шаги, и в половине девятого, когда Жеглов, встав, сказал:

«Все, пошли!» — все вскочили, шумно завозились, натягивая плащи и кепки, затолпились на миг перед дверью. Жеглов щелкнул выключателем, и желтую слабую колбочку лампы словно раздавила прыгнувшая из углов тьма, и в этой чернильной мгле невидимая тарелка радиодинамика прошелестела своим картонным горлом нам вслед: «Московское время — двадцать часов тридцать минут. Передаем романсы и арии из опер в исполнении заслуженной артистки РСФСР Пантофель-Нечецкой...»

В Колобовском переулке Векшин ушел вперед, а мы шли за ним метрах в ста, потом и мы растянулись; и, когда Вася занял скамейку на Цветном бульваре, третью слева от входа со стороны Центрального рынка, одиноко стоявшую в просвете между кустами, далеко видную со всех сторон, мы с Жегловым пристроились у закрытой москательной лавочки, за будкой чистильщика, заколоченной толстой доской.

Отсюда нам был виден тщедушный силуэт Векшина, сгорбившегося на скамейке под холодным моросящим сентябрьским дождиком. Гость, которого все ждали, появиться незаметно не мог, да и уйти незаметно ему не предвиделось. Прохожих почти совсем не стало на улице. Подсвеченный

изнутри синими лампами, проехал трамвай. Я взглянул на свои трофейные часы со светящимся циферблатом и шепнул Жеглову:

— Четверть десятого...

Жеглов сильно сжал мне руку, и я увидел, что рядом с Векшиным остановился высокий мужчина, постоял немного и уселся рядом. Я никак не мог сообразить, откуда тот взялся: все подходы просматривались, и он не мог подойти незамеченным. Я взглянул на Жеглова, и тот шепнул совсем тихо, будто бандит мог его услышать отсюда:

— С трамвая на ходу спрыгнул...

Не мог я потом вспомнить, сколько прошло времени, ибо в эти не очень долгие минуты все кипело во мне от досады и возмущения: вот он сидит, бандит, в ста шагах, протяни руку — и можно взять за шиворот, а надо сидеть почему-то здесь, за будкой, затаившись, говорить шепотом, изнемогая от нетерпения узнать, как с ним договорится Векшин.

От Трубной площади со звоном и скрежетом приближался трамвай, и я подумал, что, когда вагоны поедут мимо нас, на какой-то миг мы потеряем из виду Векшина с бандитом. Но бандит вдруг встал, похлопал Васю по плечу, и мне

показалось, будто он пожал Векшину руку, потом повернулся, перепрыгнул через железную ограду бульвара и, пробежав несколько шагов рядом с грохочущим и дребезжащим вагоном, ловко прыгнул на подножку. Красные хвостовые огни уносились к Самотеке, а Вася спокойно сидел на скамейке.

Прошло пять минут, а Векшин почему-то не хотел уходить оттуда. Жеглов протяжно и тоненько свистнул, но Вася и головы не повернул...

— Может, они договорились, что еще кто-нибудь подойдет? — предположил я.

Жеглов только пожал плечами.

Прошло еще десять минут, мы поднялись и медленно пошли в сторону Векшина, по-прежнему сидевшего спокойно и неподвижно. Когда мы подошли к нему вплотную, то я, перевидав на войне много всякого, сразу понял, что Вася мертв. Он смотрел на нас широко открытыми круглыми глазами, на реснице повисла слезка, маленькая, прозрачная, и тонкая струйка крови сочилась из угла рта. Длинный нож-«заточка» вошел прямо в сердце, он пробил насквозь все его худенькое мальчишеское тельце и воткнулся в деревянную спинку скамейки; и потому Вася сидел прямо, как примерный ученик на уроке, и сразу стал он

такой маленький, беззащитный и непоправимо, навсегда обиженный, что у меня мороз прошел по коже.

— Расколол его бандит проклятый! — глухо сказал Жеглов.

— Это нам за него надо головы расколоть, — сказал я и, повернувшись к онемевшему Пасюку, велел: — Вызывай «Скорую».

* * *

Юридический факультет Московского ордена Ленина государственного университета им. Ломоносова объявляет, что 10 октября 1945 года в 18 часов на заседании Ученого совета состоится публичная защита диссертации Евсиковым Х. П. на тему: «Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Объявление

Вернулись на Петровку мы около полуночи, и Жеглов сразу отправился по начальству. Расселись в кабинете так же, как три с половиной часа назад: Пасюк — в углу на продавленном пыльном кресле, Коля Тараскин — на мрачно блестевшем дерматиновом диване с откидными валиками, фотограф Гриша — на подоконнике, откуда все время дуло, фотограф чихал, но с подоконника почему-то слезать не хотел, а я — на своем венском стульчике с медалью ХОЗУ.

Только Васи Векшина не было. И хотя стул Жеглова за обшарпанным канцелярским столом тоже пустовал, но по разбросанным бумажкам, сдвинутым чернильницам, открытым папкам было ясно, что хозяин куда-то выскочил на минуту и скоро явится на свое место. А Векшин пробыл здесь слишком мало, чтобы оставить хоть какой-то, пускай самый маленький, следок в этом и так безликом служебном помещении. И от этого казалось, будто он и не приходил сюда, и не было подготовки к операции и спора насчет взятия «языка», не смеялся он здесь тонким мальчишеским голосом. Но на окне еще стояла банка из-под американской тушенки, которую Векшин ел несколько часов назад, облизывая худые пальцы в цыпках. И за бронированной дверцей сейфа лежала его кобура с револьвером.

Я сидел, прикрыв ладонью глаза, и меня не покидало воспоминание, как носилки с уже застывающим Васиным телом вкатили в «Скорую помощь», люк машины, белый, с толстым красным крестом, захлопнулся с глухим лязгом, будто проглотил свою добычу, и «ЗИС», жадно урча, помчался прочь, обдав нас сладким дымком непрогоревшего бензина.

Место преступления не фотографировали, не

описывали, ничего не измеряли и протокола не составляли, а в моем представлении это были основные действия уголовного розыска, и потому, что ими сейчас пренебрегли, в меня снова вошло это ощущение войны, где не было места никаким формальностям и процедурам.

Я думал о том, что Вася Векшин погиб как на фронте, и то, что не стал Жеглов на Цветном бульваре под ночным противным дождиком разворачивать уголовное представление с протоколом, осмотрами, фотографированием сбоку, сверху, крупным планом, в глубине души считал правильным. Обязательно собралась бы толпа зевак, и тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена, словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший, а мы сами — Жеглов, Пасюк, Тараскин и остальные, — суетясь около Васиного тела на глазах прохожих, казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож бандита, а, наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как этот бедолага не смог защититься.

Я ушел на фронт мальчишкой и весь свой жизненный опыт приобрел на войне. И, наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у

которого в руках всегда есть оружие; и от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих, а поскольку нельзя было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который, в сущности, был направлен в них всех, то надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все...

В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета «Скорой помощи», Жеглов отодвинул на один шаг молодую врачиху в накинутой на плечи шинели, бормотнул быстро: «Одну минуточку, доктор», — снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны. Врачиха с оторопью посмотрела на него, а Жеглов протянул Пасюку завернутый в шарф нож и сказал:

— Держи аккуратно, Иван, на ручке, может быть, «пальцы» остались...

А сейчас Жеглов ходил по начальству докла-

дывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас достается Жеглову...

Текли минуты, часы. Коля Тараскин задремал на диване, и сны ему снились, наверное, неприятные, потому что он еле слышно постанывал, тоненько и протяжно: «ой-ой-ой»... Пасюк расстелил на столе газету и, разобрав свой ТТ, смазывал каждую детальку. Гриша невесело насвистывал что-то. Я выпрямился на стуле, спросил у Пасюка:

— А что это за банда такая — «Черная кошка» эта самая?

Пасюк поднял на меня прозрачные серые глаза, пошевелил бровями, сказал медленно:

— Банда. — Помолчал, добавил: — Банда — вона и есть банда. Убийцы та грабители. Сволочье отпетое. Поймаем, бог дасть, уси под «вышака» пойдуть. Тоби вон Шесть-на-девять пусть лучше расскажет, он говорун у нас наиглавный...

Фотограф, видимо, уже привык к своему необычному прозвищу, или мнение Пасюка его мало волновало, или желание рассказать было в нем сильно, но, во всяком случае, Пасюку он ничего не ответил, только рукой махнул на него и протянул презрительно:

— Ба-анда — она и есть ба-анда! Она ни на одну другую банду не похожа, потому нам и поручено ее разрабатывать...

— Особо тоби, — разлепил в усмешке обветренные узкие губы Пасюк. — На тебя сейчас уся надежда...

А фотограф сказал мне:

— Банду эту второй год ищут, а выйти на след не удается. Был бы я Лев Шейнин — обязательно об этом деле книгу бы написал!

— А о чем же писать, коли следов никаких нет? — поинтересовался я.

— Нет, так будут! — уверенно сказал Шесть-надевять. — Хотя, конечно, увертливые они, гады. Грабят зажиточные квартиры, продовольственные магазины, склады, людей стреляют почем зря. И где побывали — или углем кошка нарисована, или котенка живого подбрасывают.

— А зачем? — удивился я.

— Для бандитского форсу — это они вроде бы смеются над нами, почерк свой показывают...

Распахнулась дверь, вошел Жеглов, мы все повернулись к нему, и он сказал:

— Значитца так: ты, Пасюк, завтра с утра поедешь с телом Векшина в Ярославль, от нас всех проводишь его в последний путь, мать его

постараешься успокоить. Хотя какое к чертям собачьим тут придумаешь успокоение!

Лицо у него было черное, подсохшее, будто опаленное, и камнями ходили желваки на скулах.

Пасюк вытер жирные от ружейного масла пальцы о кусок газеты, аккуратно свернул его и бросил в корзину, встал, коротко сказал:

— Есть, будет сделано...

— Вы, Тараскин и Шарапов, со мной завтра дежурите в группе по городу.

— А я? — обиженно спросил Гриша Шесть-на-девять. — А я что буду делать?

— Ну и ты с нами, конечно, куда ж тебя девать? Всем спать немедленно.

Сон был неплотен и зыбок, как рассветный туман, и лишь на мгновение, кажется, прикрыв глаза, я испуганно вскочил на кровати — показалось, что я проспал. В комнате было темно и очень холодно, и мне жаль было вылезать из нагретой за ночь постели. Я вытащил из-под одеяла руку и посмотрел на мерцающий зеленым светом циферблат: стрелки плотно слиплись на половине седьмого. Я досадливо крякнул — пропало полчаса сна; и я подумал о том, что утрачиваю фронтовую привычку спать до упора, используя каждую свободную минуту, возмещая

вчерашний недосып и стараясь хоть миг вырвать у завтрашнего.

Со стула рядом с кроватью взял папиросу «Норд», чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Ничего нет слаще этой первой утренней затяжки, когда горячий сухой дым ползет в легкие, заливая голову мягкой одурью, и тело наполняется радостным ощущением бездельного блаженства, когда точно знаешь, что у тебя есть несколько свободных от беготни, суеты и забот минут, отданных всецело пустому глядению в потолок и удовольствию от горьковато-нежного табачного вкуса.

Окно комнаты выходило на перекресток у Сретенских ворот, и когда машины на улице, сдержанно урча, сворачивали с бульвара на Дзержинку, свет их фар белыми плотными столбами таранил стекло и, ворвавшись в комнату, упирался в стену, на одно мгновение замирал, словно в раздумье, куда ему дальше деваться, и затем стремительно прыгал на потолок яркими сполошными пятнами, прочерчивал его наискось и прятался в углу за карнизом, будто там была дырка, через которую он навсегда исчезал из комнаты.

Я лежал, глазел на прыгающие со стены на

потолок пятна голубоватого света, курил папироску и думал о том, что в МУРе мне, наверное, придется нелегко. Чуть больше суток минуло с того момента, как я вошел в желтый трехэтажный особняк Управления милиции, предъявил в подъезде пропуск, поднялся на второй этаж, разыскал комнату номер 64 и постучал в дверь.

— Открыто! — крикнули тонким голосом из кабинета. Я вошел и представился по-уставному:

— Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл!

Хозяин кабинета, по-видимому тот самый знаменитый старший оперуполномоченный Глеб Жеглов, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, к которому меня направили для стажировки, сидел за письменным столом, заваленным папками и исписанными на машинке листами. Меня удивило, что у знаменитого сыщика такой невзрачный вид — был он очень тощ, очень длинен, и очень сильные очки в роговой оправе сидели косо на хрящеватой переносице. И наверное, от сознания физической своей немощности держался он очень важно. Смотрел поверх меня, откидывая голову и задирая высоко подбородок, и, хотя происходило это скорее всего от недостатка зрения, вид у него

при всей его нескладности все равно был крайне высокомерный.

— Ну, здравствуй, Шарапов! — сказал он наконец. — Из кадров о тебе уже звонили. В общем, мы таким тебя и представляли...

Я не понял, кто это «мы», но отчего-то мне стало неловко, и я ответил, пожав плечами:

— Обыкновенный...

— Конечно, обыкновенный, только вот такие обыкновенные фронтовые ребята и нужны нам. Чем занимаемся, знаешь?

Я кивнул, но, видимо, не совсем уверенно, потому что оперативник важно сказал, подняв вверх палец:

— Бандитизм. Убийства. Разбой. А это тебе не фунт изюма. Ты на фронте разведчиком был?

— Точно. Командир разведроты.

— Приживешься. Весной будет набор в юршколы — мы тебя туда быстренько затолкаем...

В этот момент с шумом растворилась дверь, и в кабинет влетел парень — смуглый, волосы до синевы черные, глаза веселые и злые, а плечи в пиджаке не помещаются. Мельком взглянул, засмеялся — как пригоршню рафинада рассыпал:

— Ты Шарапов? Здоро́во! Жеглов моя фамилия...

Я удивленно посмотрел на человека за столом, а Жеглов крикнул ему:

— Ну-ка, отец Григорий, кыш со стула!

— Я тут поработал немного, — сказал задумчиво, важно Григорий, медленно разогнул свои бесчисленные суставы и выпрямился, как штатив на пляже.

— Вы тут уже, наверное, познакомились? — спросил Жеглов.

— Ну, более-менее, — пробормотал я, а Григорий солидно покачал головой:

— Я пока кое-что объяснил товарищу про нашу работу...

Жеглов искоса посмотрел на него, засмеялся и сказал:

— Шарапов, ты запомни — это великий человек, Гриша Ушивин, непревзойденный фотограф, старший сын барона Мюнхгаузена. Мог бы зарабатывать на фотокарточках бешеные деньги, а он бескорыстно любит уголовный розыск...

— Ну знаешь, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели! — закричал Гриша; он покрылся неровными красными пятнами, и стекла очков у него запотели. — Если ты хочешь со мной поругаться...

— Упаси бог, Гриша! — захохотал Жеглов. —

Шарапов — человек военный, он тебя лучше всех поймет. Не твоя же вина, что медкомиссия тебя до аттестации не допускает. Но разве дело в погонах? А, Гриша? Все дело в бесстрашном сердце и быстром уме! Так что ты еще нами всеми здесь покомандуешь!

Гриша хотел было дать достойный ответ Жеглову, но в кабинет вошли двое — квадратный человек с неприметным серым лицом и совсем молоденький парнишка, и я узнал, что их фамилии — Пасюк и Векшин, а еще через минуту прибежал Коля Тараскин и задыхающимся шепотом сообщил, что звонил Сенька Тузик: бандиты назначили встречу...

Так я вошел в группу Жеглова, и было это двадцать часов назад, и произошло с нами всеми за этот день такое, что у меня теперь не будет времени на привыкание, учебу и притирку — надо с ходу заменять погибшего сотрудника...

На кухне огромной коммунальной квартиры оказался только один человек — Михаил Михайлович Бомзе. Он сидел на колченогом табурете у своего стола — а на кухне их было девять — и ел вареную картошку с луком. Отправлял в рот кусок белой рассыпчатой картошки, осторожно макал в солонку четвертушку луковицы, внимательно

рассматривал ее прищуренными близорукими глазами, будто хотел убедиться, что ничего с луковицей от соли не произошло, и неспешно с хрустом разжевывал ее. Он взглянул на меня так же рассеянно-задумчиво, как смотрел на лук, и предложил:

— Володя, если хотите, я угощу вас луком — в нем есть витамины, фитонциды, острота и общественный вызов, то есть все, чего нет в моей жизни. — И, покачав лысой острой головой, тихо заперхал, засмеялся.

— В нем полно горечи, Михал Михалыч, — сказал я, усаживаясь напротив. — Так что давайте я лучше угощу вас омлетом из яичного порошка!

— Спасибо, друг мой, вам надо самому много есть — вы еще мальчик, у вас всегда должно быть чувство голода. — Он смотрел на меня прищурясь, и все его лицо было собрано в маленькие квадратные складочки, а кожа коричневая — в темных старческих пятнах. И может быть, потому, что Михал Михалыч вытягивал сильно голову из коротенького плотного туловища с толстыми лапками-руками и маленькими ногами, казался он мне очень похожим на старую добрую черепаху. И носил он к тому же коричневый костюм в клетку, цветом и мешковатостью напоминавший

ячеистый панцирь.

Я бросил на сковороду комок белого свиного лярда, разболтал в чашке яичный порошок — желтая жижа с бульканьем и шипением разлилась на черном чугуне, — потом принес из комнаты буханку черного хлеба и сохранившиеся шесть кусков сахару, а у Бомзе был чай на заварку. Так что завтрак у нас получился замечательный.

Старик ел мало и медленно, и я видел, что еда не доставляет ему никакого удовольствия — ест, потому что если не есть, то, наверное, скоро умрешь. Вот он и ел, не ощущая вкуса, равнодушно и неторопливо, будто выполнял скучную, надоевшую работу. Потом отложил вилку и сказал:

— Впрочем, вы уже не мальчик. Вы уже мужчина. Сколько вам минуло?

— Двадцать два.

— Двадцать два, двадцать два... — старик высунул из-под панциря и снова спрятал острую головку. — Как я был счастлив в двадцать два года!

От воспоминаний он прикрыл тонкие синеватые перепоночки век, и со стороны можно было подумать, что старик заснул. Но он не спал, потому что зашевелились лапки на столе и он спросил:

— Володя, а вы счастливы в свои двадцать два?

Я пожал плечами:

— Не знаю, вроде бы все нормально.

— А я точно знал, что счастлив. И счастье, когда-то огромное, постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким — как камень в почке...

Я посмотрел на него искоса: в уголке черного мутного глаза застыла печаль, едкая, как неупавшая слеза. Жалко было старика — уж больно тоскует.

— Михал Михалыч, ну что вы здесь один маетесь? У вас же есть какие-то родственники или друзья в Киеве — вы бы поехали к ним, все-таки веселее...

Бомзе покачал своей маленькой сухой изморщиненной головой, грустно усмехнулся широким черепашьим ртом.

— Сколько улитка по земле ни ходит, от своего дома все равно не уйдет. Кроме того, — сказал он, минутку подумав, — они все уже старые, а старикам вместе жить не надо. Старикам надо стараться притулиться где-нибудь около молодых — это делает прожитую ими жизнь более осмысленной...

Сына Бомзе — студента четвертого курса консерватории — убили под Москвой в октябре сорок

первого. Он играл на виолончели, был сильно близорук и в день стипендии приносил матери цветы. В нашей квартире никто никому никогда не дарил цветов, и эти букетики пробуждали к юноше чувство одновременно жалостливое и почтительное, ибо при всей очевидной нелепости траты денег на цветы, когда их за городом можно нарвать сколько угодно, соседи ощущали именно в этих цветочках нечто возвышенное и трогательное.

Цветы приобрели наглядный смысл, когда старики Бомзе получили извещение о смерти сына. Мать, никогда не болевшая раньше, прожила после этого три дня и умерла ночью, во сне, и обряжавшие ее, и хоронившие на Немецком кладбище соседи почему-то больше всего вспоминали про эти цветы, словно они были самым главным, что запомнилось им из короткой жизни мальчика, быстрого, близорукого, извлекавшего из своей виолончели трепетно-тягучие, волнующие и не очень понятные мелодии...

— А вы довольны своей новой работой, Володя? — спросил Михал Михалыч.

— Как вам сказать... Я еще и сам не разобрался, — уклончиво ответил я, вспомнил Васю Векшина и подумал, что вряд ли тот был старше сына

Михал Михалыча. И больше ничего говорить не стал, потому что старику вовсе не следовало знать, как я провел свой первый день в МУРе. Посмотрел на часы и стал торопливо собираться.

— Оставьте, Володя, я сам потом вымою посуду — я ведь на свою работу не опоздаю, ибо удачно пошутить никогда не поздно... — сказал старик.

Работа у Бомзе была необычная. До войны я вообще не мог понять, как такую ерунду можно считать работой: Михал Михалыч был профессиональный шутник. Он придумывал для газет и журналов шутки, платили ему очень немного и весьма неаккуратно, но он не обижался, снова и снова приносил свои шутки, а если они не нравились — забирал или переделывал. Он любил повторять, что, к счастью, за самые лучшие шутки и анекдоты ему не назначали гонорара. Называлась его профессия «юморист-малоформист», и меня всегда удивляло, как может придумывать действительно смешные шутки и истории такой унылый и тихий человек...

Мне показалось, что Михал Михалыч хочет сказать что-то важное, но на кухню ввалилась Шурка Баранова со всеми пятью своими отпрысками, и сразу поднялся здесь невыразимый гвалт, суета, беготня, топот, крики, смех и плач одно-

временно, дети хватали из тарелки картошку Бомзе, дергали меня за ремень, один подлез под полу шинели, чтобы пощупать кобуру пистолета, другой забрался к старику на колени, все они хотели кричать, бегать, есть, они хотели жить, и я понял, почему старик не желает уезжать отсюда в Киев не то к друзьям, не то к родственникам.

* * *

КЛЕВ РЫБЫ
На подмосковных водоемах изо дня в день усиливается клев рыбы. Щука берет лучше всего на Истринском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры весом 4–5 кг. Хорошо клюет и окунь, нередко довольно крупный, 600–700 граммов.
«Вечерняя Москва»

В отделе было шумно: опердежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации пятьдесят тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому, что это дело политически важное.

Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера «так просто, от скуки, чтоб время, значит, убить» проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу:

— Смотрю, братцы вы мои, серия сходится! А как увидел выигрыш — полтинник, — так и номер проверять опасаюсь: вдруг, думаю, не тот, получи тогда «на остальные номера выпали...». Отложил я газету на диван, пошел перекурить...

— А сердце так и бьется, — сочувственно сказал Жеглов.

— Ага... — простодушно подтвердил Соловьев. — Зову Зинку. Зинк, говорю, у тебя рука счастливая, проверь-ка номер... Да, братцы, это не каждому так подвалит...

— Еще бы каждому! — подтвердил Жеглов. — Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?

— Ха, как тратить! — Соловьев залился счастливым смехом. — Были б гро́ши, а как тратить — нет вопроса.

— Не скажи, — помотал головой Жеглов, — «нет вопроса». К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из Третьего отдела...

— А чего он? — спросил Соловьев озадаченно.

— А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль «ЗИС-101», цена двадцать семь тысяч.

— И что?

— Что «что»? Как настоящий патриот, Федя не счел правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Осоавиахима, понял?

Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова, как-то погасло оно от его рассказа, помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал:

— Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные, должны понимать, что война кончилась, государство специально тираж разыграло, чтобы людям, за трудные времена пообтрепавшимся, облегчение сделать. Да и Осоавиахима уже нет никакого...

Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьева по плечу, сказал не то всерьез, не то шутейно:

— Это, Соловьев, только ты умный, а я так, погулять вышел... Конечно, вместо Осоавиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но, вижу, ты к этой идее относишься слишком вдумчиво.

Поэтому, так и быть, ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Сделались?

Соловьев явно обрадовался благополучному исходу.

— Что за вопрос между друзьями! — сказал он важно. — Обмоем, как водится!

— Не обманешь? А то на посуле, как на стуле: посидишь, да встанешь, — недоверчиво покачал головой Жеглов и, будучи не в силах угомониться, добавил: — К тому же теперь будет у кого перехватить до получки, а?

Соловьев готовно покивал, но в глазах его я особой радости по поводу жегловских планов не заметил.

— Теперь дочке пианино куплю, — сказал он. — А то в школу на трех трамваях ездит, покою нету... Жене, Зинке, отрез панбархата возьму, в комиссионке на Столешникове видел. Ши-икарный отрез, розовый, две с половиной стоит...

— А слоники у тебя на комоде есть? — поинтересовался Жеглов.

— Какие еще слоники? — не понял дежурный.

— Семь таких слоников, мал мала меньше, они еще счастье приносят.

— А у тебя эти слоники есть? — спросил, подумав, Соловьев.

— Есть, — соврал Жеглов и «подставился». Радостно захохотав, Соловьев заорал:

— Вот у тебя есть, а у меня нет, а счастье все равно мне подвалило! Суеверие одно, товарищ Жеглов, ты на них, на слоников, не надейся...

— Ну и дурак, — сказал Жеглов и хотел еще что-то добавить, но зазвонил телефон. Глеб снял трубку, и по ходу разговора улыбка сошла с его лица, вытянулось оно, и жестко сжались губы. — Хорошо, — отрывисто сказал он в трубку. — Сейчас выезжаем. — Дал отбой и скомандовал. — Бригада, на выезд. В Уланском — труп ребенка!

Во дворе около столовой стоял старый красно-голубой автобус с полуоблезшей надписью «милиция» на боку. Шесть-на-девять крикнул мне:

— Гляди, Шарапов, удивляйся: чудо века — самоходный автобус! Двигается без помощи человека...

Трофейный «опель блитц» наверняка за долгую свою жизнь повидал виды. От старости и того невыносимо тяжелого груза, что пришлось ему повозить за долгие годы, просели рессоры и высохли амортизаторы, машина будто припала к земле громоздким брюхатым кузовом на хилых

перелатанных баллонах и неуклюжей статью своей и плоской придавленной мордой походила на огромного больного бульдога.

Водитель автобуса Копырин ходил вокруг машины, задумчиво пиная колеса, и недовольно качал головой, не обращая внимания на подначки оперативников. Взглянул на меня и, может, потому, что я один не смеялся над его транспортом, сказал мне доверительно:

— Эх, достать бы два баллона от «доджа», на задок поставить — цены бы «фердинанду» не было.

— Какому «фердинанду»? — спросил я серьезно. Копырин засмеялся:

— Да вот они, балбесы наши, окрестили машину, теперь уж и все так кличут. Мол, на самоходку немецкую, «фердинанд», сильно смахивает...

Я улыбнулся: и верно, в приземистой, кургузой машине было что-то общее с тупым, напористым ликом самоходного орудия.

— Ты-то сам против них стоял когда? — спросил Копырин.

— Случалось, — ответил я, и в этот момент прибежал Жеглов.

Копырин влез в кабину. Пассажирскую дверь он отпирал длинным рычагом, когда-то никелированным, а теперь облезшим до медной прозелени

и все-таки не потерявшим своего шика — гнутая ручка на фигурном кронштейне.

Первым в автобус прыгнула огромная дымчатая овчарка Абрек, степенно залез проводник-собаковод Алимов, нырнул ловко Коля Тараскин, загремел на ступеньках своей аппаратурой и нескладными суставами Шесть-на-девять, осторожно, будто в лодку входил, подался судмедэксперт, я шагнул — раз-два, к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверил, есть ли смысл брать нас с собой, и только тогда кивнул шоферу.

Копырин нажал ногой на педаль, стартер завыл так тонко и горестно, так скулил он от истощения и старости аккумулятора, что пес Абрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. Шесть-на-девять, восседавший на кондукторском месте, уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию, но Жеглов бросил на него короткий взгляд, быстро сказал:

— Помалкивай...

И мотор наконец чихнул, затем еще раз, еще — вспышки разрослись в частый треск, — заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и «фердинанд» тронулся, выполз на Боль-

шой Каретный и взял курс на Садовую.

Жиденькая толпа стояла у дверей подъезда во дворе пятиэтажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с Абреком первым, за ним, дробно грохоча каблуками по металлическим ступенькам автобуса, вывалились остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку:

— Здравия желаю! Докладывает младший сержант Синичкина: вызов оказался ложным, ребенок жив, это просто подкидыш.

— А что же сразу не могли разобраться — жив ребенок или нет? — недовольно спросил Жеглов. — Какого черта дергаете по пустякам муровскую бригаду?

Девушка покраснела, быстро ответила:

— Вызов к дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста десять минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже выехали...

— А где сейчас ребенок? — поинтересовался Жеглов.

— Его в квартиру пока внесли, там наверху, — показала Синичкина рукой. — Чего же ему еще

на холоде терпеть?

— А почему вообще решили, что он мертвый? — все еще сердито допытывался Жеглов.

— Его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев...

Из-за ее спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели, на деревянной ноге, затараторил бойко-бойко, сглатывая концы фраз:

— Елки-моталки, а чего ж мне еще-то думать, когда иду я на чердак, магистраль бандажить, а оно здеся и лежит, кулечек махонький, люля запеленутая, и тишина гробовая — ни тебе крика, ни сопения, а сплошное молчание, — и взял меня страх, что какая-то стервоза, извергиня, собственное дите жизни лишила, ну, я тут сразу же бегом в тридцать вторую квартиру — телефон у них — и вызвал власти милицейские, чтобы дознались они про этого демона в женском обличье...

— Все понятно, — кивнул Жеглов. — Ну, раз приехали, давай, Шарапов, поднимемся с тобой, взглянем на найденыша...

— А что же делать-то с ним, с маленьким? — спросила Синичкина. — Он ведь такой крошечный, как будет без матери — непонятно...

— Чего непонятного — вырастет! — сказал

Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. — Не бросит его страна, государство вырастит, еще неизвестно, может быть, станет лучше других, в холе взлелеянных деток.

Синичкина спросила:

— А мать искать будем? Жалко маленького...

— На кой она нужна, такая мать?! — хмыкнул Жеглов. — Хотя личность ее надо попробовать установить, от такой паскуды можно чего угодно ожидать...

На площадке пятого этажа нас встретил басистый могучий рев, дверь в тридцать вторую квартиру была приоткрыта, старушка качала на руках завернутого в одеяло младенца.

— Проснулся вот — есть просит, — сказала она, протягивая нам сверток, будто мы могли его накормить. Я очень осторожно взял ребенка на руки и удивился, какой он легонький. Личико его покраснело от крика, он сердито открывал свой крошечный беззубый ротишко, издавая пронзительный гневный крик. Я сказал ему растерянно:

— Ну, потерпи, карапуз, потерпи немного... Потерпи, кутька, чего-нибудь придумаем...

Жеглов взглянул на меня, усмехнулся:

— Ты веришь в приметы?

— Верю, — сознался я.

— Добрый тебе знак. Мальчишка-найденыш — это добрая примета, — сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребенка.

— Зачем? — удивилась девушка, и я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замерзшего ребенка.

— Делайте, что вам говорят...

Синичкина быстрыми ловкими движениями распеленывала мальчика на столе, и мне приятно было смотреть на ее руки — белые, нежные, несильные, какие-то особенно беззащитные оттого, что слабые запястья вырисовывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем немодные — широкие и вразлет, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые в плавные, еле заметные дуги.

Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел еще пуще. Держа очень осторожно, но крепко, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пеленку и снова передал мальца Синичкиной:

— Все, заворачивайте. Смотри, Шарапов, у него на голове родимое пятнышко...

На ровном пушистом шарике за левым ушком

темнело коричневое пятно размером с фасолину.

— Ну и что?

— Это хорошо. Во-первых, потому, что будет в жизни везучим. Во-вторых, вот здесь, в углу пеленки — полустершийся штамп, — значит, пеленка или из роддома, или из яслей. Пеленку заверни, отдадим нашим экспертам — они установят, что там на штампе написано было. А тогда по родимому пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени пацану?

— Я думаю, недели две-три, — неуверенно предположил я.

— Ну да! Как же! — усомнился Жеглов. — Ему два месяца.

— Мальчику — месяц, — сказала Синичкина. — Он ведь такой крошечный...

— Эх вы, молодежь! — засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. — Сразу видать, что своих-то не нянчили. Три месяца солдату: видите, у него рожденный волос уже полез с головы, на настоящий меняется, — значит, четвертый месяц ему...

— Ну, и хорошо, скорее вырастет, — ухмыльнулся Жеглов. — Значитца, так: ты, Шарапов, с Синичкиной махнешь сейчас в роддом. Какой здесь поближе? Наверное, на Арбате — имени

Грауэрмана. Пусть осмотрят пацана — не заболел ли, не нуждается ли в какой помощи — и пусть его накормят там чем положено. А к вечеру договоримся — переведут его в Дом ребенка...

— Слушай, Жеглов, а могут не принять ребенка в роддоме? — спросил я.

Жеглов сердито дернул губой:

— Ты что, Володя, с ума сошел? Ты представитель власти, и в руках у тебя дите, уже усыновленное этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? Если все же вякнет кто полслова, ты его там под лавку загони... Все, марш!

Я нес ребенка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо:

— ...Батяня мой был, конечно, мужик молоток. Настрогал он нас — пять братьев и сестер — и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал — каждый раз присылал доплатное письмо. Один раз даже приехал — конфет и зубную пасту в гостинец привез, а на третий день свел со двора корову. И, чтобы следов не нашли, обул ее в опорки. Может быть, с тех пор во мне страсть к сыскному делу? А, Шарапов, как думаешь?

Я что-то такое невразумительное хмыкнул.

— Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал... — Но голос у Жеглова был совсем невеселый, и лица его в сумраке полутемной лестницы было не видать.

Мы вышли из подъезда. Здесь все еще стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло:

— Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь...

А слесарь Миляев, в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина черным сухим пальцем и доверительно объяснял:

— Я тебе точно говорю: в человеке самое главное — чтобы он был человечным...

Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице, и по тому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И засмеялся он как-то резко и сердито, сказав шоферу:

— Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человечный человек, то давай побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом. И мигом назад — в 61-е отделение милиции, это рядом, мы пешком дойдем. Я позвоню на

Петровку, и мы вас там дождемся...

Синичкина вошла в автобус, я протянул ей ребенка. Жеглов придержал меня за плечо, шепнул на ухо:

— А к сержанту присмотрись! Девочка-то правильная! И адрес роддома запомни — может, еще самому понадобится...

Я почему-то смутился, я ведь на нее как на женщину и не посмотрел даже, милиционер и милиционер, их сейчас, девушек-милиционеров, больше половины управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована.

«Фердинанд» тронулся, Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребенка, смотрела в затуманенное дождем стекло. И лицо ее — круглое, нежное, почти детское — тоже было затуманено налетом прозрачной печали, легкой, как дымка, грусти. И я неожиданно подумал, что нехорошо разглядывать ее вот так, в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на ее быстрые, ловкие руки. Но все равно смотрел, с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чем-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось. А она молчала.

— Вы почему так погрустнели? — наконец спросил я. Она посмотрела на меня, улыбнулась:

— Задумалась, кем станет этот человечище, когда вырастет...

— Генералом, — сказал я.

— Ну, необязательно. Может, он станет врачом, замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово?

— Да, это было бы прекрасно, — согласился я. — А может быть, он станет милиционером? Сыщиком?

Синичкина засмеялась:

— Когда он вырастет, уже никаких жуликов не будет. Вам сколько лет?

— Двадцать два.

— А ему двадцать два исполнится в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Представляете, какая замечательная жизнь тогда наступит?

— Да уж, наверное...

— Вы давно в уголовном розыске служите?

Мне было как-то неловко сказать, что сегодня фактически второй день, и я бормотнул уклончиво:

— Да нет, недавно. Я после фронта.

— А я просилась на фронт — не пустили. Вы не слышали, скоро будет демобилизация женщин

из милиции?

— Не слышал, но думаю, что скоро. Когда я в кадрах оформлялся, слышал там разговор, что сейчас большое пополнение идет за счет фронтовиков.

— Ой, скорее бы...

— А что будете делать, когда шинель снимете?

— Как что? В институт вернусь. Я ведь со второго курса ушла.

— А вы в каком учились — в медицинском?

— Нет, — вздохнула Синичкина. — Поступала и не прошла, приняли меня в педагогический. Но мне кажется, что это тоже хорошая профессия — детей учить. Ведь правда, хорошая?

— Правда, — улыбнулся я.

Автобус проехал через собачью площадку и затормозил у роддома. Синичкина сказала:

— Вы не теряйте со мной времени, поезжайте назад, а за парня не беспокойтесь — я сама справлюсь...

Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как ее найти, или хотя бы телефон записать, но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылем и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой, и я представил себе, как, вернувшись, он будет всем

рассказывать, что новенький опер, вместо того чтобы делом заниматься, стал клинья подбивать к симпатичному сержанту, и как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу, и от этого сказал неожиданно сухо:

— Хорошо. Оформите все как полагается, и пришлите рапорт, а мы поедем.

Девушка посмотрела на меня удивленно, ресницы ее дрогнули:

— Слушаюсь. До свидания.

Тоненькая высокая ее фигурка скрылась за дверью роддома, а я все смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал за спиной:

— Дуралей ты, Шарапов. Дивчина какая, а ты ей — «пришлите рапорт». Я бы на твоем месте ей сам каждый день рапорт отдавал...

* * *

На заводе, где начальником цеха ширпотреба тов. Голубин, начали изготовлять керосинки, известные под названием «керогаз». Они отличаются от обычных керосинок не только внешней формой и хорошей отделкой, но и новой конструкцией, экономичностью и бесшумным горением.

«Вечерняя Москва»

Около двух часов Жеглов заглянул в комнату, сказал:

— На выезд — мужика застрелили... Давайте быстро! — И закрыл дверь.

Я торопливо натянул шинель и вместе со всеми побежал к автобусу. В салоне было сыро, холодно, пронзительно воняло махоркой, и я с сочувствием посмотрел на пса — тот судорожно разевал громадную пасть и тряс головой. Я подумал, что, если бы собаки могли падать в обморок, Абрек, при его тонком нюхе, запросто лишился бы чувств. Но Абрек позевал, поерзал и, удобно устроив здоровенную башку на коленях у проводника,

задремал, изредка открывая глаза, когда шофер включал пронзительно завывающую сирену. Автобус мчался с большой скоростью — пятьдесят, не меньше, — и я с удовольствием видел, как при звуках сирены прочие машины сбавляли скорость, сторонились, пропуская «фердинанд». По окну медленно скатывались грязноватые капли дождя, стекло было мутное, но я заметил, что каждый раз, когда пассажир из обгоняемой машины смотрел в нашу сторону, Шесть-на-девять принимал озабоченно-серьезный вид утомленного исключительными, первейшей государственной важности делами человека, хотя его и разглядеть-то никто не мог, потому что на улице было пасмурно, а автобус освещался одной-единственной крохотной автомобильной лампочкой в пятнадцать свечей.

Жеглов, пользуясь случаем, спал, судмедэксперт, обернувшись к Тараскину, о чем-то тихо с ним беседовал, и даже Шесть-на-девять угомонился, поднял бархатный воротничок своей куртки, натянул на глаза клетчатую кепку и о чем-то сосредоточенно думал...

Где-то в районе Нижних Котлов автобус заскрежетал, дернулся пару раз и остановился. Копырин своим рычагом открыл переднюю дверь, и я

выскочил наружу первым, потом потянулись остальные. Нас встречал участковый — высокий худющий лейтенант в старой, заношенной шинели. Участковый поискал глазами среди прибывших начальство, и длинное унылое лицо его выражало растерянность и недовольство. Решив, видимо, что старший я, поднес руку к козырьку:

— Покушение на убийство, товарищ начальник. При помощи огнестрельного оружия в лице охотничьего ружья... — И представился: — Участковый уполномоченный лейтенант милиции Воробьихин!

Жеглов усмехнулся мимолетно, приказал:

— Конкретно докладывай: где, когда, кого, кто?.. Ну! Охрана места происшествия обеспечена?

Воробьихин, оттого что не опознал начальника, смутился, растерянность его возросла, он неловко щелкнул большими кирзовыми сапогами и начал путано объяснять, показывая рукой на одноэтажный домик, около которого толпились люди:

— Вот в этом, значит, доме дело было... Фирсов тут живет, Елизар Иваныч. Фронтовик, человек положительный. В общем, гость у него сегодня был, друг его. Они, значит, за столом сидели, потом Елизар Иваныч плясать стал, а друг его на

гармони играл. Глядь, ни с того ни с сего выстрел через окно, стекло — чпок! — конечно...

— Попал? — спросил Жеглов.

— В Елизар Иваныча — в голову, в плечо... дробью.

— Ну?..

— «Скорая» увезла — жив был, только без сознания.

— Пошли! — махнул рукой Жеглов, двинулся к домику, уже на ходу спрашивая дальше: — Кто-нибудь видел преступника?

— Не видели... — вздохнул огорченно участковый. — Друг-то его сразу кинулся к Елизару Иванычу, а уж как жена в комнату вбежала, он тогда на улицу подался... Да где там, этого, кто стрелял, уже и след простыл...

— Подозреваешь кого? — спросил Жеглов, входя через калитку за палисадник и направляясь не к дверям домика, как я ожидал, а к окнам. Одно было разбито, и Жеглов задержался около него.

— Трудно сказать... — неопределенно отозвался Воробьихин. — Есть у нас, конечно, шпана разная, но ведь в лицо-то не видели. Как тут привлекать?..

— Привлекать погодим, — согласился Жеглов. — Сначала лицо надо определить подходящее...

Значитца, так-с... Тараскин, Гриша, ну-ка посветите перед окном фонарями!

Мягкая мокрая земля перед окном вся была истоптана. Уловив недовольный взгляд Жеглова, Воробьихин сказал, разведя руками:

— Это еще до моего прибытия, товарищ начальник. Народу тьма под окном побывала.

Жеглов хмыкнул, вопросительно посмотрел на проводника Алимова, тот, в свою очередь, посмотрел на Абрека и пожал плечами:

— Я его от палисадника пущу, товарищ капитан. Все ж таки меньше там натоптали... — И, намотав на руку ремень-поводок, побежал с собакой за калитку.

Жеглов внимательно осмотрел раму разбитого окна, обернулся, заметил меня, подозвал к себе:

— Иди сюда. Видишь, дыра в наружном стекле не очень большая, внутреннее стекло разбилось сильнее. В деревянной раме следов от дроби совсем мало. Это что означает?

— Кучно заряд летел, — сказал я.

— Значит?..

— Значит, близко стреляли, из палисадника.

— Правильно, — одобрил Жеглов. — А посему обыщите с Тараскиным весь палисадник перед окнами, особенно вон тот крыжовник, и найди-

те мне следы ног преступника. Ежели найдете пуговицу его или там носовой платок — поощрю особо!

Тараскин кивнул совершенно серьезно — ясно, мол, будет сделано, — но мне не казалось таким очевидным, что преступник специально приготовил для нас против себя улики, и я спросил:

— А если там ничего этого не будет?..

— Тогда там обязательно будет пыж. Знаешь, что такое? — прищурился Жеглов. — Кто ищет, тот всегда найдет. Валяйте, а я пойду в дом, там пора осмотреться...

К великому моему удивлению, через несколько минут в гуще крыжовника действительно нашли незатоптанные следы обуви, особенно отчетливым был след правого сапога, глубоко отпечатавшийся в глинистой податливой почве.

— Вот отсюда он и стрелял, паразит, — сказал Тараскин. — Видишь, прямая линия к окну проходит и все, что в комнате, — как на ладони. А его самого с улицы за кустами не видно. Шарахнул — и ходу!

Освещая землю фонариком, мы старательно, сидя на корточках, просматривали весь участок перед окнами, но ничего интересного больше не находили. Уже собрались заканчивать, когда

я углядел вдавленный чьим-то каблуком в глину комочек бумаги. Аккуратно выковыряв его ножом, осветил фонарем вплотную, осторожно расправил на ладони — кусок рваной газеты, резко отдававший кислой пороховой гарью. Это был пыж.

Вернулся с улицы проводник с собакой. Абрек следа не взял, и Алимов ворчал себе под нос насчет того, что несознательный народ не создает ну никаких тебе условий для работы. Из дома появился Жеглов. Я уже вошел в азарт и даже слегка волновался в предвкушении похвалы за свой первый успех. Но Жеглов воспринял мой рапорт о находках как нечто должное.

— Ага. Ладно, — сказал он только и повернулся к фотографу Грише: — Сейчас Копырин в больницу поедет. Ты отправляйся с ним, заедешь в нашу многотиражку, там есть подшивки газет, в первую очередь «Правду», «Известия» и «Вечерку» надо тебе будет смотреть. А пыж приведи в божеский вид и попробуй узнать, от какой газеты кусок. Если удастся, постарайся найти тот самый номер газеты и быстро-быстро вези сюда. Понял?

— Понял, — кивнул Шесть-на-девять. — Я один раз по страничке, вырванной из книги, владельца определил...

— Во-во, — перебил Жеглов. — Все, двигай. Одна нога здесь, другая там!

Гриша пошел к автобусу, а Жеглов спросил участкового:

— Воробьихин, у кого на твоем участке ружья охотничьи имеются?

— Да вроде бы и не припомню, — сказал, подумав, Воробьихин. — У нас как будто охотников нету, у нас больше рыбалкой занимаются...

— Пронин Сенька ружьишком баловался, — неожиданно подал голос молчавший до сих пор сухопарый мужичонка в серой телогрейке — сосед Фирсова, взятый Жегловым в понятые.

— Про-онин? — переспросил участковый. — Не-ет, он еще когда свою «тулку» на велосипед поменял.

— Все равно надо с ним повидаться, — сказал я. — Они с Фирсовым-то в каких отношениях?

— В нормальных, ничего промеж ними не было, — ответил Воробьихин.

— Ну, коли и не было, он небось про охотников-то побольше твоего знает, — сказал участковому Жеглов. — Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. И охотник то же самое.

Пронин подтвердил слова участкового и даже велосипед показал — старенькую ободранную

«украинку» с разноцветными шинами: одной черной, другой — видимо, трофейной — зеленой. И насчет охотников уверенно сказал:

— Нет ни одного во всей округе, я, может, потому «тулку» и продал, что не с кем в компании, значит, на охоту сбегать...

А когда шли уже по улице, возвращаясь к дому Фирсова, Пронин догнал нас и, запыхавшись, поведал:

— Совсем из головы вон! У меня недели две назад Толик Шкандыбин порох и дробь одалживал — патронов на пять. Я еще его спросил: «Ты что, полевать задумал?» А он говорит: «В деревню собираюсь, может, и поброжу по лесу с ружьишком. Там охота, — говорит, — раньше богатая была».

— Так у него ружье есть, выходит? — спросил Жеглов, иронически взглянув на Воробьихина.

— Нету, нету у него ружья, — торопливо сказал Пронин. — Я потому и забыл про него. У деда, говорит, двустволка, он колхозную конюшню сторожит.

Жеглов одобрительно похлопал Пронина по плечу и отпустил его. Воробьихин сказал задумчиво, вполголоса, будто сам с собой советовался:

— Вот Шкандыбин — это как раз шпана отпетая. Сидел не раз и поныне элемент уголовный. И

живет с Фирсовым по соседству...

— Какие-нибудь счеты, споры между ними были? — деловито спросил Жеглов.

— Насчет этого не скажу, не слыхал. Заявлений от граждан не было.

Похоже было, что Жеглову надоел бестолковый участковый, потому что он сказал весело-зло:

— Слушай, Воробьихин, ты вообще-то для чего здесь проедаешься, а? Насчет этого ты не слыхал, того не видал, прочего не знаешь, а в остальном не в курсе дела.

Воробьихин обиженно скривил рот, забубнил что-то в свое оправдание, но Жеглов больше его не слушал. Он шел по улице широким, размашистым, чуть подпрыгивающим шагом, за ним безнадежно пытался угнаться участковый Воробьихин, который перестал интересовать Жеглова, словно и не существовало его никогда, и не говорили они ни о чем, и сроду нигде не встречались.

Именно тогда, в тот вечер, мне впервые пришло в голову, что Жеглов никогда не остановится на полпути, и человеку, в чем-либо разочаровавшему или рассердившему его, лучше отступить с дороги. И тогда, в тот незапамятно далекий вечер, я еще не знал, нравится мне это или вызывает

глухое раздражение, поскольку меня восхищал жегловский опыт и умение заставить работать всех быстро и с полной отдачей и в то же время пугала способность вот так мгновенно и бесповоротно вычеркнуть человека, словно тряпкой с доски слово стереть.

Войдя в дом, Жеглов спросил жену и соседей пострадавшего:

— Ну-ка, друзья, вспоминайте, думайте, говорите — имел Толик Шкандыбин за что-нибудь зуб на Елизара Иваныча, а?

Жена ничего определенного сказать не могла, но вездесущий сосед сообщил:

— А как же! Была меж них крупная баталия... Толик этот, Шкандыбин, как вернулся последний раз из лагеря, заскучал: дружков его всех почти прибрали ваши, значит, милицейские товарищи. У него только и делов осталось — по вечерам ворота подпирать... Теперь завел он новую моду: соберет на лавочке пацанов-малолеток и давай про жизнь блатную, вольготную сказки рассказывать. Пацаны, известно, варежки разевают, а он им, гад, травит и травит. Елизар-то Иваныч сразу сообразил, зачем он компанию себе сколачивает, папиросами да винцом мальчишек угощает. На той неделе проходит Елизар Иваныч

мимо сборища этого, услышал — кто-то из мальцов матом кроет. Невтерпеж ему, видать, стало, подходит он к ним и говорит Толику: «Ты вот что, кончай это дело, сам себе живи как хочешь, не маленький, а ребят оставь в покое». А Толик смеется. «Я, — говорит, — их не зову, они сами ко мне липнут, что ж мне, гнать их, что ли?» Ну, Елизар Иваныч в дискуссию с ним вступать не стал, он человек простой — поднес к его роже кулачище свой пудовый и пояснил: «Я тебе слово свое сказал. Не послушаешь — милицию звать не буду, сам тебя отработаю так, что мать родная не узнает!» Шкандыбин вскочил, распсиховался, на губах пена — авторитета, видать, жалко, — и кричит Фирсову: «Ты потише, так твою и растак, пока пера моего не пробовал! Я те все кишки наружу выпущу!» Елизар Иваныч нервничать не стал, вмазал Толику легонько по морде, тот кровью и залился, на ногах не устоял. А Елизар Иваныч ребятишек прогнал по домам, на том все и кончилось...

— Видать, не кончилось, — задумчиво сказал Жеглов и поднялся. — Давайте-ка Толика этого пощекочем...

В дверях появился шофер Копырин — он доложил, что рана, к счастью, оказалась неопасной и

через недельку-другую врачи обещают Фирсова выписать.

— Мелкий текущий ремонт, — заверил Копырин. — Смена масла, шприцовка, шпаклевка, легкая подкраска — и пожалуйте в рейс...

— Какого масла? — испугалась жена.

Жеглов засмеялся:

— Не обращайте внимания — наш Копырин уверен, что господь бог сотворил человека по образу и подобию автомобиля...

Я нетерпеливо дернул Жеглова за руку:

— Не смотается Шкандыбин-то, пока мы здесь толчемся?

— Идем, идем, — кивнул Жеглов и сказал соседу: — А тебя, дружок, попрошу проводить нас к этому деятелю...

Подойдя к дому Шкандыбина, Жеглов остановился.

— Иди с Абреком вперед, — сказал он проводнику. — Пусть пес его облает хорошенько.

— Глеб Георгиевич, шутите? — укоризненно спросил Алимов. — Абрек на кого попало лаять не станет. Если бы его след вывел...

— Если бы след вывел, — нетерпеливо перебил Жеглов, — я бы Шкандыбина сам облаял получше твоего пса. Делай что говорят!

— Есть, — сказал проводник, поджав и без того тонкие сухие губы, пошел вперед, и по лицу его я видел, что он все равно поступит по-своему.

Абрек, войдя в комнату, заворчал и разок гавкнул, но сделано это было, по-моему, чисто формально, только чтобы команду проводника выполнить. Однако чернявый парень, развалившийся на кровати, покрытой лоскутным одеялом, отнесся к появлению огромной собаки иначе. Он сел и, глядя с опаской на пса, спросил нахально и в то же время трусливо:

— Чего надо? Кто такие?

Поскольку вместе с оперативниками в комнату вошел Воробьихин, вопрос его прозвучал фальшиво; парень, видно, сообразил это, сморщился, как от кислого, и сказал протяжно:

— Ну что вяжетесь? Нет за мной ничего, я в артели работаю...

— Одевайся, Шкандыбин, — тихо, зловеще сказал Жеглов. — Мы из МУРа...

— Вижу, что не из церкви. И чего вы ко мне липнете?

— Одевайся, тебе говорят, — еще тише сказал Жеглов, и я вдруг заметил, что сам испугался голоса своего шефа. Видимо, побоялся спорить и Шкандыбин — молча натянул штаны, обул

щегольские сапоги гармошкой, взял со стула пиджак.

— А теперь скажи нам, друг ситный, где ружье, — спокойно предложил Жеглов.

— Нет у меня никакого ружья, — быстро ответил Шкандыбин. — Хоть весь дом обыщите!

— Обыщем, — пообещал Жеглов. — Но лучше сэкономь нам время — тебе же зачтется. Помоги, как говорится, следствию...

— Я сказал — нету. Ничего такого у меня в доме нет.

— Тараскин, присмотри за ним, — распорядился Жеглов. — А мы поищем...

Обыск еще продолжался, когда в комнату вошел Шесть-на-девять и молча положил перед Жегловым газету. Жеглов распорядился очистить стол, развернул на нем газету, и я увидел, что это старый номер «Вечерней Москвы» за второе сентября с дырочками от подшивки на полях. Жеглов погладил газету, спросил Шкандыбина равнодушно:

— «Вечернюю Москву» читаешь?

— На кой мне? — отозвался Шкандыбин. — Я папиросы курю.

— Понял, — сказал Жеглов, подошел к платяному шкафу, который я уже осматривал, и вытянул

бельевой ящик. В ящике лежали рубашки, носки, майки. Жеглов, брезгливо оттопырив мизинец, вытащил их, достал из ящика застеленную на фанерном дне газету с грубо оторванным углом.
— Сам газетку застилал или попросил кого?

— Сам, — сказал с удивлением Шкандыбин.

— Чудненько, — кивнул Жеглов, оглядел внимательно газету и, положив ее на стол, разгладил поверх «Вечерней Москвы». Я оторвался от этажерки, которую в это время осматривал, подошел к столу. Газета из ящика тоже была «Вечерней Москвой», а вглядевшись, я с удивлением обнаружил, что и она за второе сентября.

— Иди-ка сюда, Шкандыбин, смотри и слушай меня внимательно, — сказал Жеглов. — Вот эту газету я велел привезти мне из редакции еще до обыска, она за второе сентября. У тебя из ящика мы добываем такую же газету, гляди, гляди. Так?

— Так, — хмуро кивнул Шкандыбин.

— Вот и спрашивается: каким же макаром я так в цвет попал, а?

— Не знаю, — пожал плечами Шкандыбин.

— Ты вот что, мил друг, плечиком не дергай, когда тебя Жеглов спрашивает. Ты думай и отвечай по делу!

— Да я ей-богу не знаю! — взмолился Шкан-

дыбин, и было видно, что ему и в самом деле невдомек, как такое могло случиться. Не понимал пока и я, к чему ведет Жеглов.

— Ну, не знаешь — сейчас узнаешь, — пообещал Жеглов и кивнул Грише: — Давай сюда конверт!

Шесть-на-девять протянул Жеглову конверт. Жеглов вынул из него неровный клок газетной бумаги.

— Видишь, бумажка эта была сильно смята, а потом разглажена, — сказал Жеглов. — Это мы ее разгладили. А до того, как мы ее разгладили, вот этот товарищ... — Жеглов показал на меня, — нашел ее в скомканном и слегка подпаленном виде под окном товарища Фирсова, тобою подстреленного...

Говоря все это, Жеглов примерял обрывок к верхней газете, к неровному ее краю. Когда наконец в одном месте обрывок аккуратно сошелся с краем, Жеглов довольно ухмыльнулся:

— Бумажечка скомканная — это пыж, дорогой мой гражданин Шкандыбин, пыж из твоего ружьишка, которое мы теперь несомненно разыщем. Погляди, полюбуйся, как бумажечка к твоей газете подходит — вот отсюда, с этого самого местечка, ты ее и оторвал, когда снаряжал свой поганый патрончик. Да не вышло — с МУРом,

брат, шутки плохи!..

— Сколько скостят, если я ружье сам выдам? — глухо спросил Шкандыбин.

— А вот это уже мужской разговор. Я ж тебе с самого начала предлагал нам сэкономить время, — коротко всхохотнул Жеглов и уверенно закончил: — Треть, я думаю, скостят непременно, сам позабочусь!..

Стемнело совсем. За окном, не переставая, моросил мелкий слякотный дождик, в кабинете было холодно, у меня даже ноги замерзли, и, когда я сказал об этом, Жеглов рассмеялся: «Зато летом будет не жарко, с улицы раскаленной сюда вваливаешься, как в рай божий...» Это не слишком меня утешило, но отвлекаться было некогда — вызов следовал за вызовом, телефон звонил непрестанно.

— Я отлучусь ненадолго, — сказал Жеглов, одернул гимнастерку, причесался перед зеркалом, вделанным почему-то во внутреннюю дверцу сейфа, и испарился.

Не успели еще затихнуть его шаги в длинном коридоре, как зазвонил телефон.

Я снял трубку:

— Оперуполномоченный Шарапов слушает.

Докладывал дежурный из 37-го отделения:

— Явился к нам тут гражданин один, сам он строитель. Сегодня ремонтировали домишко на Воронцовской и в стене, под штукатуркой, как дранку вырвали, тайник обнаружился, а в нем банка стеклянная... Алло...

— Слушаю, слушаю, — торопливо сказал я.

— Двадцать золотых десяток захоронено, николаевских...

— Ну?..

— Напарник этого гражданина — он же первый банку и вытащил — дал ему пять червонцев и велел помалкивать. А остальное золотишко себе забрал. Какие будут указания?

— А какие указания? — удивился я. — Брать надо этого шкурника с поличным, и все дела...

— Есть! — сказал дежурный и положил трубку.

И вот тут-то меня взяло сомнение: сегодня я уже не раз имел случай убедиться, что некоторые вещи, которые выглядели бесспорными и очевидными, с точки зрения уголовного розыска оказывались не такими уж простыми и требовали решений, вовсе не обязательно вытекавших из житейского опыта. Я еще подумал, что дежурный 37-го отделения не первый, наверное, день в милиции, а счел нужным запросить указаний — значит, дело не представляется ему таким про-

стым, как мне кажется... Я покряхтел немного и набрал номер нашего коммутатора, вызвал тридцать седьмое. Дежурный отозвался немедленно.

— Алло, — сказал я натужно и покашлял. — Это Шарапов из МУРа, насчет золотишка...

— Сей секунд выезжаем, — отрапортовал дежурный.

— А ты погоди, — сказал я. — Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я, понимаешь, человек здесь новый...

— Да-а? — радостно удивился дежурный. — Вот и я тоже новый, вторую неделю всего-то и дежурю, таких дел еще не встречалось! И начальства никакого, как на грех, нету...

— Вот и погоди, — степенно сказал я. — А то мы с тобой еще наворотим, чего, может, не надо. Я сейчас посоветуюсь, не отходи...

Я положил трубку на стол и пошел в соседний кабинет к Тараскину, который только что вернулся из ресторана «Москва», где две подвыпившие компании схлестнулись между собой в просторном вестибюле. Сейчас он, набычившись, вел душеспасительную беседу с ярко размалеванной девицей, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Девица безутешно рыдала, а Тараскин строго отчитывал ее:

— Пришла с людьми — веди себя как положено. А то что же получается? Глазки посторонним строишь, можно сказать, авансы раздаешь, вместо того чтобы в свою, значит, тарелку глядеть...

— Тараскин, пошептаться бы, — сказал я.

Это словечко — «пошептаться» — я услышал от Жеглова, и оно чем-то мне понравилось, потому что шептаться при людях всерьез вроде неловко, а если сказать как бы в шутку — тогда ничего, можно.

— Котова, выйди в коридор на минуту, — сказал Тараскин девице. Та мгновенно перестала рыдать, поднялась, и я с изумлением увидел, что ее нарядное платье располосовано чуть ли не до пояса, а в руках толстая красивая коса, видать, накладная, вырванная из прически в драке.

Я торопливо изложил суть вопроса, и Тараскин, ни на секунду не задумываясь, продекламировал, явно подражая жегловским интонациям:

— Сокровище, то есть клад, сокрытый в земле или в стене, есть единая и неделимая собственность государства. Как таковая подлежит обязательной сдаче органам власти за вычетом вознаграждения нашедшему. Присвоение клада карается по закону. — Тараскин передохнул и сказал уже обычным своим голосом: — Указание

ты, Шарапов, дал правильное, нас — в масштабе МУРа — это происшествие не касается. Продолжай в том же духе. Эй, Котова, заходи!..

Я закончил разговор с дежурным и вернулся к методическому письму по криминалистике, в котором излагались неотложные действия следователя в случае обнаружения фактов незаконного пользования знаками Красного Креста и Полумесяца. К тому времени, когда я освоил методику расследования этого преступления, пришел Жеглов — свежевыбритый, благоухающий одеколоном «Кармен», сверкающий белоснежным полотняным подворотничком. Он открыл сейф, снова покрасовался перед засекреченным зеркалом, явно остался собою доволен, поскольку, захлопывая дверцу, запел, сильно фальшивя: «Первым делом, первым делом самолеты... Ну, а девушки? А девушки потом...» Прошелся, скрипя блестящими сапогами, по кабинету, остановился передо мною:

— Ну что, друг ситный? Служим?

— Служим, — невозмутимо сказал я.

— А тем временем у Ляховского «эмку» украли.

— Чего? — спросил я. — Какую «эмку»?

— Обыкновенную. Легковой лимузин М-1, довоенная цена девять тысяч рублей. Не в том дело...

— А в чем?.. — не понял я.

— А в том, у *кого* украли. Герой, орденоносец, летчик Ляховский — знаешь?

— О-о! Я сразу и не сообразил. Как же это получилось?

— Очень просто...

Зазвонил телефон. Дежурный сообщил Жеглову, что на Масловке, около «Динамо», горит одноэтажный дом.

— Деревянный? — переспросил Жеглов. — Сильно горит?

Дежурный подтвердил, что дом деревянный и горит сильно.

— Пока доедем, сгорит, значит, совсем, а?

Дежурный подтвердил и это.

— Значитца, так, — сказал Жеглов. — Пока криминала не видно, нам там и делать нечего: пусть занимается доблестная пожарная охрана...

— Да я что, — сказал дежурный. — Я так, к сведению...

— Ну бывай...

Жеглов положил трубку и сказал мечтательно:

— Была у начальства одна мысль толковая — разделить службы, чтобы карманниками один отдел занимался, домушниками — другой, аферистами там, валютчиками — третий, банди-

тами, вот как наш, — четвертый... Ан нет, всякую мелочь на тебя валят, нет времени про главное подумать...

— Так у нас и есть ОББ — отдел борьбы с бандитизмом? — удивился я. — Так или нет?

— Так, да не так. Сам видишь, чем занимаешься.

— Вижу, — сказал я. — Но ведь дежурство сегодня. И потом, бандиты небось не в парниках выводятся. Они, я полагаю, с другими всякими жуликами связаны, помельче...

Жеглов изогнул соболиную бровь:

— Ну-ка, ну-ка...

— Я к чему веду? — немного смущенно сказал я. — Ведь вот на фронте, скажем, артиллеристы, пехота, разведка, ну, и так далее — они в полном контакте действуют: артиллерия огоньку подбросит, пехота живой силой поддержит, разведка сведения доставит... А враг и там разнообразный — и мелочь всякая бывает, ну, вроде, скажем, карманников, и крупный зверь водится — например, помню, отборная егерская часть против нас стояла, действительно головорезы, их в одиночку, как говорится, голыми руками, не возьмешь.

Жеглов поставил ногу на стул, подтянул щегольский сапог, чтоб не морщил, одобрительно

оглядел его, сказал:

— Ты вот представь, что тебя, вместо того чтобы за егерем-головорезом послать, в тыл за сапогами направили, а?..

— А что? И такое бывало, подобное, — невозмутимо сказал я. — Солдат без сапог не солдат — личный состав должен быть одет, обут, накормлен и так далее... Не все же на переднем крае геройствовать... Карманник, я так понимаю, он тоже людям здорово настроение портит.

— Ох и каша у тебя в голове! — ухмыльнулся Жеглов. — И главное, на всякий случай теория. На фронтовом, так сказать, опыте...

Я хотел возразить, но снова зазвонил телефон, и Жеглов, выслушав, объяснил собеседнику, не особенно стесняясь в выражениях, что тот звонит в МУР, который не то что игнорирует кражи голубей из отдельно взятых голубятен, а имеет некоторые свои, *специфические* задачи по искоренению особо тяжких преступлений, тогда как отделения милиции на то и существуют, чтобы оперативно разбираться с фактами местного масштаба.

— ...А то вы скоро совсем мышей перестанете ловить.

Жеглов искоса глянул на меня, и я понял, что

лекция предназначалась главным образом мне. Рассудив, что еще успею вернуться к спорному вопросу, я спросил:

— Так что с «эмкой» Ляховского?

— А, с «эмкой»... Заехал он, значит, домой переодеться...

Дверь отворилась, заглянул дежурный:

— Жеглов, на выезд! Квартирная кража в Печатниковом переулке...

Закончили дела около трех часов ночи. Однако в коридорах управления людей не только не стало меньше, чем днем, но, пожалуй, суета еще усилилась. Во всех кабинетах горел свет, сновали туда и обратно сотрудники в форме и в штатском, конвойные милиционеры без конца водили задержанных воров, спекулянтов, изо всех дверей доносился булькающий гул голосов, а из крайнего кабинета раздавался истошный завывающий вопль грабителя Васьки Колодяги, симулирующего эпилептический припадок. Я был еще в дежурной части, когда привезли Колодягу и он начал заваривать волынку.

Я пошел в туалет, открыл водопроводный кран и долго с фырканьем и сопением умывался, и мне казалось, что ледяные струйки, стекающие за воротник, хоть немного смывают с меня невыно-

симый груз усталости сегодняшнего долгого дня. Потом расчесал на пробор волосы — в зеркале они казались совсем светлыми, почти белыми, и дюралевая толстая расческа с трудом продиралась сквозь мои вихры, — утерся носовым платком и подошел к Жеглову.

Видать, даже его за последние двое суток притомило. Он сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в какую-то бумагу, но со стороны казалось, будто написана она на иностранном языке — так напряженно всматривался он в текст, пытаясь проникнуть в непонятный смысл слов. Я подошел к столу, он поднял на меня ошалелые глаза, сказал:

— Все, Володя, конец, отправляйся спать. Завтра с утра ты мне понадобишься — молодым и свежим!

— А ты что?

— Вон на диване сейчас залягу. Мне в общежитие на Башиловку ехать нет смысла. А ты-то где живешь?

— На Сретенке.

— Молоток! Хорошо устроился.

— Пошли ко мне спать. Тут тебе и вздремнуть не дадут — вон гам какой стоит!

— Ну, на гам, допустим, мне наплевать с вы-

сокой колокольни. Кабы дали, я бы под этот гам часов тридцать и глаз не открыл. Но дома спать лучше. А у тебя душ есть?

— Есть. Да что толку — воду в колонке надо согревать.

— Это мне начхать, и холодной помоюсь. В общежитии неделю никакой воды нет. А на твоей жилплощади кто еще проживает?

— Я один, место есть. Выделю тебе шикарный диван.

Жеглов отворил сейф, достал оттуда и протянул мне три книжки:

— Возьми их и читай каждую свободную минуту — это сейчас твой университет. Вложи в них чистый лист бумаги и все, что тебе непонятно, записывай, потом спросишь. А коли дома читать будешь, хотя на это надежды мало, в тетрадочку конспектируй...

На дне сейфа он отыскал еще две плоские банки консервов, засунул в карманы пиджака и стал одеваться, а я листал книжечки. «Уголовный кодекс РСФСР», «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», «Криминалистика». Кодексы были небольшого формата, толстенькие, с бесчисленным количеством статей, и в каждой много пунктов и параграфов, я прямо ужаснулся при

мысли, что все их надо выучить наизусть. В «Криминалистике» хоть, по крайней мере, было много картинок, но все они тоже были невеселые: фотографии повешенных, зарезанных, слепков следов, обрезков веревок и проводов, наверное висельных, изображения разных марок пистолетов, всевозможных ножей, кастетов, какие-то схемы и таблицы.

— Пошли? — спросил Жеглов.

Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал:

— Слушай-ка, Жеглов, неужели ты все это запомнил?

— Ну, более-менее запомнил — нам без этого никак нельзя. Закон точность любит: на волосок сойдешь с него — кому-то серпом по шее резанешь.

— А ты где учился? Что закончил?

Жеглов засмеялся:

— Девять классов и три коридора. Когда не курсы в институте заканчиваешь, а живые уголовные дела, то она — учеба — побыстрее движется. А вот разгребем с тобой эту шваль, накипь человеческую, тогда уж в институт пойдем, дипломированными юристами будем. Знаешь, как называется наша специальность?

— Нет.

— Правоведение! Вот так-то!

— Ну, пока еще из меня правовед...

— Запомни, Шарапов: главное в нашем деле — революционное правосознание! Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская! Вот эта сознательность и должна тебя вести, как компас, в защите справедливости и законов нашего общества!..

На лестнице было пусто и сумрачно, и от этого слова Жеглова звучали очень громко; гулко перекатывались они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жеглов говорит с трибуны перед полным залом, и я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жеглов решил дать пару напутственных советов.

Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки. Закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком.

Жеглов написал что-то в дежурном журнале своим четким прямым почерком, в котором каждая буковка стояла отдельно от других, будто

прорисовывал он ее тщательно тоненьким своим перышком «рондо», хотя на самом деле писал он очень быстро, без единой помарки, и исписанные им страницы не хотелось перепечатывать на машинке. И расписался — подписью слитной, наклонной, с массой кружков, крючков, изгибов и замкнутою плавным круглым росчерком, и мне показалась она похожей на свившуюся перед окопами «спираль Бруно».

— Ну, Петюня, прохлаждаешься? — протянул он, глядя на Соловьева, и я подумал, что Глебу Жеглову, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев вот так праздно сидит за столом, гоняя чаи с вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь за полезным делом — совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь Соловьев.

Рот у дежурного был набит до отказа, и он промычал в ответ что-то невразумительное. Жеглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать бестолковое ночное существование Соловьева.

— А откуда у тебя, Петюня, такой распрекрасный сахар? Нам такой на карточки не отоваривали! Давай, давай, колись: где взял сахар? — При

этом Жеглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез.

Соловьев наконец проглотил кусок, и от усердия у него слезы на глазах выступили:

— Чего ты привязался — откуда, откуда? От верблюда! Жене сестра из Коканда прислала посылку! Человек ты въедливый, Жеглов, как каустик!

Жеглов уже открывал один из ящиков его стола, приговаривая:

— Петюня, не въедливый я, а справедливый! Не всем так везет — и главный выигрыш получить, и золовку иметь в Коканде! Вот у нас с Шараповым родни — кум, сват и с Зацепы хват; и выигрываю я только в городки, поэтому мы с трудов праведных и чаю попить не можем. Так что ты уж будь человеком, не жадись и нам маленько сахарку отсыпь...

Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка, и, пока он был поглощен этим делом, понукаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сыпь, сыпь, не тряси руками, больше просыплешь на пол», Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половину и

засунул в карман.

Соловьев сердито сказал:

— Знаешь, Жеглов, это уже хамство! Мы насчет хлеба не договаривались...

— Мы насчет сахара тоже не договаривались, — засмеялся Жеглов. — Скаредный ты человек, Петюня, индивидуалист, нет в тебе коллективистской жилки. Нет, чтобы от счастья своего, дуриком привалившего, купить отделу штук сто батонов коммерческих! Комсомольская организация с тобой недоработала, надо будет им на это указать!

— Ты на себя лучше посмотри! — недовольно пробормотал Соловьев. — Вместо того чтобы спасибо сказать, оскорбил еще...

— Вот видишь, Петюня, и с чувством юмора у тебя временные трудности. Нет, чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами...

— А я тут что, на отдыхе, что ли? — спросил Петюня и улыбнулся, и я видел, что вся его сердитость уже прошла и что удальство и нахрапистость Жеглова ему даже чем-то нравятся — наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макаром, чтобы чужой хлеб располовинить и тобой же довольны

остались.

— У тебя, Петюня, работа умственная, на месте, а у нас работа физическая, целый день на ногах, так что нам паек должны были бы давать побольше. А засим мы тебя обнимаем и пишем письма — пока! Да, чуть не забыл: утром придет Иван Пасюк, скажи ему, чтобы никуда не отлучался, он мне понадобится...

В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом веснушчатом лице Соловьева плавает благодушная улыбка и покачивает он при этом слегка головой с боку на бок, словно хочет сказать: ну и прохвост, ну и молодец!..

На улице сразу прохватило мокрым, очень резким ветром, и мы шли к бульвару, наклоняясь вперед, чтобы ветром не сорвало кепки. На полдороге к Трубной площади нас догнал какой-то шальной ночной трамвай, пустой, гулкий, освещенный внутри неприятными дифтеритно-синими лампами. На ходу вскочили на подножку, и до самой Сретенки Жеглов лениво любезничал с молоденькой девчонкой-вагоновожатой.

Вошли ко мне, я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом — от двери до окна, от комода до кровати, словно рулеткой промерил, потом, не снимая плаща, устало сел на

стул и сказал довольно:

— Хоромы барские. Как есть хоромы. В десяти минутах ходу от работы. Ты не возражаешь, я у тебя поживу немного? А то мне таскаться на эту Башиловку проклятущую, в общежитие — душа из него вон, — просто мука смертная! Времени и так никогда нет, а тут, как дурак, полтора часа в день коту под хвост. Значитца, договорились?

— Договорились, — охотно согласился я. Жить вместе с Жегловым будет гораздо веселее, да и вообще Жеглов казался мне человеком, рядом с которым можно многому научиться.

— Ты как насчет того, чтобы подзаправиться перед сном? — спросил Жеглов. — У меня кишка кишке фиги показывает.

Я отправился в кухню ставить чайник, а Жеглов выложил на стол кулек с сахаром, краюху хлеба, банки с американским «ланчен мит». На днищах ярких жестяных коробочек были припаяны маленькие ключики. Жеглов крутил ключик, сматывая на него ленту жести быстро и в то же время осторожно, и, оттого что держал он банку перед глазами, мне казалось, что он заводит мудреные часы и следит внимательно, чтобы, не дай бог, не перекрутить пружину, иначе часы сломаются навсегда. Но Жеглов справился с пружиной

хорошо — звякнула крышка, и он выдавил на тарелку кусок неестественно красного консервированного мяса, которое видом и запахом не похоже было ни на какие наши консервы.

— Говорят, их американцы из китового мяса делают специально для нас. — Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот.

— Уж наверное, не из парной говядины, — мотнул головой Жеглов. — Они говядинку сами жрать здоровы. Ух и разжиреет на нашей беде мировой империализм! Нам кровь и страдания в войне, а им барыши в карман!

— Это как водится, — кивнул я, с наслаждением глотая очень вкусные консервы. — Мы им в июле в городке Обермергау передавали «студебеккеры», что по ленд-лизу за нами числились. Так они их требовали в полном порядке и комплекте, без гайки одной не примут. А потом они их на наших глазах прессом давили. Свинство!

— Во-во! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут, мать мне недавно отписала, как они там вкалывают, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько, понастроим своих машин, получше их «студеров». Будет еще такая пора, это я тебе, Шарапов, точно говорю: каждый

трудящийся сможет зайти в универмаг и купить себе лимузин. Ты-то сам в автомобилях смекаешь? Любишь это дело?

— Очень! Для меня машина — как существо живое, — сказал я.

— Ну, тогда будет тебе со временем машина, — пообещал твердо Жеглов и распорядился: — Давай волоки сюда чайник... Очень вкусная китятина, ничего не скажешь...

Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином, съели толстые ломти бутербродов. Жеглов встал, хрустко потянулся, сказал:

— Я на диване спать буду, не возражаешь?

Быстро разделись, улеглись, и я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматическим жестом вынул из кобуры пистолет — черный длинный «парабеллум» — и сунул его под подушку.

Уже в темноте, умащиваясь под одеялом, я сказал:

— А хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина...

— Это которого? Того болвана, что из ружья пальнул?

— Ну да! Как-то все у тебя там получилось

складно, находчиво, быстро. Понравилось мне! Вот бы так научиться!

— Научишься. Это все не дела — это семечки. Тебе надо главное освоить: со свидетелями работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное — работа со свидетелями.

— Почему? — Я приподнялся на локте.

— Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и делать там нечего. Но так редко получается. А главный человек в розыске — свидетель, потому что в самом тайном делишке всегда отыщется человечек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А твоя задача — эти сведения из него вытрясти...

— А почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?

— Потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает шесть правил Глеба Жеглова. Тебе уж, так и быть, скажу.

— Сделай милость. — Я заранее заулыбался, полагая, что он шутит.

— Запоминай навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило — это как «отче наш»: когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первейшее это условие, чтобы нравиться людям,

а оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, зря рабочую карточку получает. Запомнил?

— Запомнил. Вот только щербатый я слегка — это ничего?

— Ничего, даже лучше, от этого возникает ощущение простоватости. Теперь запомни второе правило Жеглова: умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. А как следует разговорить человека о нем самом, знаешь?

— Трудно сказать, — неуверенно пробормотал я.

— Вот это и есть третье правило: как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка и интересна.

— Ничего себе задачка — найти интересную тему для незнакомого человека!

— А для этого и существует четвертое правило: с первого мига проявляй к человеку искренний интерес — понимаешь, не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в него, понять его, узнать, чем живет, что собой представляет; и тут, конечно, надо напрячься до предела. Но, коли сможешь, он тебе все расскажет...

Голос Жеглова, мятый, сонный, постепенно

затухал, пока не стих совсем. Он заснул, так и не успев рассказать мне остальных правил. Спал он совершенно неслышно — не сопел, не ворочался, со сна не говорил, ни единая пружинка в стареньком диване под ним не скрипела, — и, погружаясь в дрему, я успел подумать, что так, наверное, спят — беззвучно и наверняка чутко — большие сильные звери...

* * *

РОЗНИЧНЫЕ
СКЛАДЫ МОСГОРТОПСНАБА ПОЛНЫ
ДРОВ
Москвичи могут получить топливо без спешки, без опасения, что его не хватит. Однако вполне естественно, что каждый покупатель дров не хочет откладывать это дело: наступают холода. Поэтому на складах сейчас царит оживление...

«Вечерняя Москва»

Первые дни работы в МУРе ошеломили меня количеством событий, людей, тем потоком человеческих горестей и бед, которые суждено мне отныне разбирать, устанавливать, решать и возмещать. Мои туманные представления о работе уголовного розыска были в один день уничтожены — романтики в охране справедливости и людской безопасности было совсем мало, а были изнурительный труд, бессилие незнания, неловкость от ощущения своей бесполезности, обузности для бригады. И еще опасение, что мне никогда не обрести бронебойной хитро-

сти и цепкости Жеглова, неспешной, но всегда неожиданной сметливости Пасюка, настырной энергичности Тараскина...

Но прошел еще один день, за ним — следующий, потом закончилась неделя без выходного, и эти мысли как-то сами по себе ушли: для них просто не оставалось времени — целый день на работе не было ни минуты свободной, а когда за полночь мы возвращались с Жегловым домой на Сретенку, то не оставалось сил даже чаю выпить — камнем падал я в глухой, вязкий, как нефть, сон без сновидений, чтобы вынырнуть из него полуоглушенным от глубокого забытья под душераздирающий треск старого будильника, подаренного мне Михал Михалычем.

Жеглов уже подружился со всеми обитателями квартиры. Шурка Баранова смотрела на него с восхищением, потому что он был не только «исключительно представительной внешности», но и сумел угомонить ее мужа — пьяницу и скандалиста Семена. В первый же раз, как только Семен напился и начал безобразничать, Жеглов вышел на шум в коридор, каким-то перехватывающемягким движением вывернул ему руку, плавно усадил в очень неудобной позе на пол и сказал негромко, но внятно — Семен-то его наверняка

понял:

— Еще раз хвост поднимешь — услышу я, или Шурка пожалуется, что ты ее лупил, — в тот же миг я тебя посажу. Ты, черт гугнивый, уже года полтора на свободе лишнего ходишь.

То ли тихий и злой голос Жеглова подействовал, то ли унизительность положения, в которое он так мгновенно и легко был приведен, — во всяком случае, Семен, даже напившись, воздерживался буянить.

Другим соседям Жеглов нравился за аккуратность и чистоплотность — по утрам он влезал в ванну и поливался из душа ледяной водой, оглушительно ухая, крякая и даже подвизгивая от удовольствия и холода. Потом он выходил на кухню и, пока заваривался кофе или вскипал чайник, ставил длинную стройную ногу на табурет и наводил окончательное солнечное сияние на свои хромовые сапоги. Он еще даже и рубашки на голубую майку не натягивал, а пистолет был уже в кобуре на поясе его галифе. И соседи косились на кобуру опасливо и уважительно. И вообще он им был сильно симпатичен: хоть и был он явно большой начальник, но все-таки простой и к ним, людям маленьким, вполне снисходительный и даже доступный — мог пошутить или из своей

необыкновенной жизни рассказать что-нибудь поучительное и интересное.

Один лишь Михал Михалыч держался с Жегловым как-то отчужденно, сталкиваясь с ним на кухне или в коридоре, бормотал:

— ...Люди, которые повстречали меня на своем пути...

Или что-нибудь совсем малопонятное:

— ...К звездам идут через тернии, но не мимо них...

Наверное, придумывал свои малоформатные шутки. Всем же остальным соседям Жеглов был по душе. Не было в нем зазнайства или какого-то особого воображения о себе — так и объясняли мне соседи о моем приятеле, и мне нравилось, что все так вышло.

А двадцать первого числа, собираясь утром на работу, Жеглов сказал:

— Ну, Володя, сегодня дела надо кончить пораньше...

— Почему? — удивился я, хотя и не возражал кончить дела пораньше.

— Сегодня «день чекиста» — получка. А для тебя она в МУРе первая, вот мы и обмоем тебя по всем правилам...

Но закончить в этот день дела пораньше нам не

удалось, и обмыть мою первую зарплату мы тоже не смогли, потому что, собственно говоря, и не получили ее. Тогда я даже не представлял, какое значение для всей моей жизни будет иметь этот пасмурный сентябрьский день, и уж тем паче не подозревал, какое он окажет влияние на наши взаимоотношения с Жегловым.

И произошло все потому, что убили в тот день Ларису Груздеву. Вернее, убили ее накануне, а нам только сообщили в этот день, и эксперт так и сказал:

— Смерть наступила часов восемнадцать-двадцать назад, то есть еще вчера вечером.

Когда мы вошли в комнату, то через плечо Жеглова я увидел лежащее на полу женское тело, и лежало оно неестественно прямо, вытянувшись, ногами к двери, а головы мне было не видать, голова, как в детских прятках, была под стулом, и одной рукой убитая держалась за ножку стула.

Глухо охнула у меня над ухом, зашлась криком девушка — сестра убитой. «Надя», — сказала она, протягивая Жеглову ладошку пять минут назад, когда мы поднялись уже по лестнице, чтобы вскрыть дверь, из-за которой со вчерашнего дня никто не откликался. Надя оттолкнула меня, рванулась в комнату, но Жеглов уже схватил ее

за руку:

— Нечего, нечего вам там делать сейчас! — И, даже не обернувшись, крикнул: — Гриша, побудь с женщиной на кухне!..

А та враз обессилела, обмякла и без сопротивления дала фотографу отвести себя на кухню. Ослабевшие ноги не держали ее, и она слепо, не глядя, осела на стул, и крик ее стих, и только булькающие судорожные рыдания раздавались сейчас в пустой и безмолвной квартире.

Из ее объяснений на лестнице я понял, что Надя живет с матерью, а здесь квартира ее сестры Ларисы и они договорились созвониться. Она звонила ей вчера весь вечер, никто не снимал трубку, и сегодня никто не отвечал, и она стала сильно беспокоиться, поэтому приехала сюда и с улицы увидела, что на кухне горит свет — а с чего ему днем гореть?..

Дверь вскрыли, вошли в прихожую, тесную, невразворот, и с порога я увидел голые молочно-белые ноги, вытянувшиеся поперек комнаты к дверям. Задрался шелковый голубой халатик. И мне было невыносимо стыдно смотреть на эти закоченевшие стройные ноги, словно убийца заставил меня невольно принять участие в каком-то недостойном действе, в противоесте-

ственном бессовестном разглядывании чужой, бессильной и беззащитной женской наготы посторонними мужиками, которым бы этого вовек не видеть, кабы убийца своим злодейством уже не совершил того ужасного, перед чем становятся бессмысленными и ненужными все существующие человеческие запреты, делающие людей в совокупности обществом, а не стадом диких животных.

Жеглов вошел в комнату, он на мгновение остановился около распростертого на полу тела, будто задумался о чем-то, затем гибко, легко опустился на колени, заглянул под стул, и со стороны казалось, что он согласился поиграть в эти ужасные прятки и скажет сейчас: «Вылезай, мы тебя увидели», — но Жеглов повернулся к нам и сказал эксперту:

— Пулевое ранение в голову. Приступайте, а мы пока оглядимся... Тараскин, понятых, быстро. А потом по всем соседям подряд — кто чего знает...

Мне казалось невозможным что-то делать в этой комнате — ходить здесь, осматривать обстановку, записывать и фотографировать, — пока убитая лежит обнаженной. Я наклонился, чтобы одернуть на ней халат, но Жеглов, стоявший, казалось, ко мне спиной, вдруг резко бросил, ни

к кому в отдельности не обращаясь, но я сразу понял, что он кричит это именно мне:

— Ничего руками не трогать! Не прикасаться ни к чему руками...

Я выпрямился, пожал плечами и, чтобы скрыть смущение, уставился на стол, накрытый к чаепитию. На чашке с чаем, чуть начатой, остался еле видный след губной помады, и вдруг резкой полнотой ощутил я неодолимый приступ тошноты. Я быстро вышел на кухню и стал пить холодную воду, подставив рот прямо под струю из крана. Вода брызгала в лицо, и тошнота ослабла, потом совсем прошла, осталось лишь небольшое головокружение и невыносимое чувство неловкости и вины. Я понимал, что приступ вызвал у меня вид мертвого тела, и сам в душе подивился этому: за долгие свои военные годы я повидал такого, что давно должно было приглушить чувствительность, тем более что особенно чувствительным я вроде сроду и не был. Но фронтовая смерть имела какой-то совсем другой облик. Это была смерть военных людей, ставшая за месяцы и годы по-своему привычной, несмотря на всегдашнюю неожиданность. Не задумываясь над этим особенно глубоко, я ощущал печальную, трагическую закономерность войны — гибель

многих людей. А здесь смерть была ужасной неправильностью, фактом, грубо вопиющим против закономерности мирной жизни; само по себе было в моих глазах парадоксом то, что, пережив такую бесконечную, такую смертоубийственную, кровопролитную войну, молодой, цветущий человек был вычеркнут из жизни самоуправным решением какого-то негодяя...

На кухне громко звучало радио — черная тарелка репродуктора тонко позванивала, резонируя с высоким голосом Нины Пантелеевой, старательно вытягивавшей верха «Тальяночки». Надя, прижимая платок к опухшему от слез лицу, протянула руку, чтобы повернуть регулятор репродуктора. Неожиданно для себя я взял девушку за руку:

— Не надо, оставьте, Наденька, пусть все будет... это... как было...

В кухню заглянул Жеглов:

— Надюша, мне вас надо расспросить кой о чем...

Девушка покорно кивнула.

— Чем занималась ваша сестра?

Надя судорожно вздохнула, она изо всех сил старалась не плакать, но из глаз снова полились слезы.

— Ларочка была очень талантливая... Она мечтала стать актрисой... Ей после школы поступить в театральное училище не удалось, это знаете, как трудно... Но она занималась все время, брала уроки...

— И не работала?

— Нет, работала. Она устроилась в драмтеатр костюмершей, у нее ведь вкус прекрасный... Ну, и училась каждую свободную минуту... Все роли наизусть знала...

Я вспомнил трофейный фильм, который недавно видел: зловредная зазнавшаяся актриса, пользуясь своим влиянием, не допускает талантливую соперницу на сцену. Но перекапризничала однажды и не пришла в театр. Режиссер вынужден был дать роль девушке, работающей в театре невесть кем — парикмахершей, что ли, — и та блестящей своей игрой покоряет всех: и труппу, и режиссера, и публику... Цветы, овации, злые слезы поверженной актрисы... Вот и эта бедняга мечтала, наверное, как однажды ее вызовут из костюмерной и попросят сыграть главную роль вместо заболевшей заслуженной артистки.

— А муж ее кто? — спросил Жеглов. Надя замялась:

— Видите ли... Они с мужем разошлись.

— Да? — вежливо переспросил Жеглов. — Почему?

— Как вам сказать... — пожала плечами Надя. — Женились по любви, три года жили душа в душу... а потом пошло как-то все вкривь и вкось.

— Ага, — кивнул Жеглов. — Так почему все-таки?

— Понимаете, сам он микробиолог, врач... Ну... не нравилось ему Ларочкино увлечение театром... то есть, по правде говоря, даже не совсем это...

— А что?

— Понимаете, театральная жизнь имеет свои законы... свою, ну, специфику, что ли... Спектакли кончаются поздно, часто ужины... цветы...

— Поклонники, — в тон ей сказал Жеглов. — Так, что ли?

— Ну, наверное... — неуверенно согласилась Надя. — Нет, вы не подумайте — ничего серьезного, но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта...

— М-да, ясно... — сказал Жеглов, а я прикинул, что даже легкий флирт мне лично тоже был бы не по душе.

— Ну вот, — продолжала девушка. — Начались ссоры, дошло до развода...

— Они развелись уже? — деловито спросил Жеглов.

— Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась, а Илья не настаивал, тем более... — Надя запнулась.

— Что «тем более»? — резко спросил Жеглов. — Вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас расспрашиваю. Мне-то лично все ихние дела ни к чему! Я хочу ясную картину иметь, чтобы поймать убийцу, понимаете?

— Понимаю, — растерянно сказала Надя. — Я ничего от вас не скрываю... Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларочке это было неприятно, в общем, хотя она его и разлюбила, и разошлись они...

Из комнаты выглянул Иван Пасюк, увидел Жеглова, подошел:

— Глеб Георгиевич, от таку бумаженцию в бухвете найшов, подывытесь. — И протянул Жеглову листок из записной книжки.

На листке торопливым почерком авторучкой было написано: «Лара! Почему не отвечаешь? Пора решить наконец наши вопросы. Неужели так некогда, или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою...» И неразборчивая подпись.

Жеглов еще раз прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет, кивнул Пасюку:

— Продолжайте. — И повернулся к Наде: — Так-так. Дальше.

— Да что дальше? Все, — вздохнула Надя.

— Вы кого-нибудь подозреваете? — спросил Жеглов.

— Нет, боже упаси! — воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. — Кого же я могу подозревать?

— Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича, — раздумчиво сказал Жеглов. — Ведь, если я правильно вас понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой... А?

— Что-о вы! — выдохнула с ужасом Наденька. — Илья Сергеевич хороший человек, он не способен на... такое!..

— Ну-у, разве так вот сразу скажешь, кто на что способен?.. Это вы еще в людях разбираетесь слабо... — протянул Жеглов, и я видел, как вцепились выпуклые коричневые глаза его в Наденькино лицо, как полыхнул в них огонек, уже раз виденный мною в Перовской слободке, когда брал Жеглов Шкандыбина, выстрелившего в соседа из ружья через окно... — У них, у Ларисы с Груздевым то есть, какие сложились отношения

в последнее время?

— Отношения известно какие... — сказала Наденька медленно. — Известно, какие отношения, когда люди разводятся.

— Ну вот видите! — сказал Жеглов. — Значитца, так и запишем: плохие отношения.

Но Наденька почему-то заупрямилась, не соглашаясь с выводом Жеглова.

— Конечно, их отношения хорошими не назовешь, — сказала она. — Но Ларочка еще совсем недавно при мне говорила Ире — это приятельница ее по театру, — что интеллигентные люди и расходятся по-интеллигентному: тихо, мирно и вежливо. Илья Сергеевич деньги Ларочке давал, продукты, квартиру оплачивал...

— А чья квартира? — сразу же спросил Жеглов.

— Квартира его была, Ильи Сергеевича. А когда разошлись, Илья Сергеевич решил, что Ларе неудобно к маме возвращаться, да и тесно там — мы с ней на двенадцати метрах живем...

— И что?..

— Но ему самому тоже деваться некуда, он пока в Лосинке комнатку с террасой у одной бабки снимает. Решили эту квартиру на две комнаты в общих разменять.

— Па-анятно... — протянул Жеглов, и я видел,

что какая-то мыслишка плотно засела у него в голове. Жеглов спросил Наденьку, где работает Груздев, и отправил за ним милиционера, наказав ничего Груздеву не сообщать, объяснить только, что какая-то в его доме произошла неприятность. Потом достал из планшетки записку, которую нашел Пасюк, показал ее Наденьке:

— Вам эта рука не знакома?

Наденька прочитала записку, помедлила немного, сказала:

— Это Илья Сергеевич писал...

Не глядя на записку, Жеглов сказал:

— «...Решай, иначе я сам все устрою...» Это он насчет чего, как думаете?

— Я думаю, насчет обмена. Илья Сергеевич нашел вариант, но Ларочке он не очень нравился, и она... ну, никак не могла решиться.

— А сама она не занималась обменом? — спросил Жеглов.

— Нет-нет... Вы не знали Ларочку... Она была такая непрактичная... — Наденька судорожно всхлипнула.

— А... м-м-м... скажите... — начал Жеглов медленно, и по лицу его, по сузившимся вдруг глазам я понял, что он напал на какую-то новую мысль. — Скажите, это был первый вариант обмена

или...

— Честно говоря, нет, не первый, — сказала Наденька просто. — Илья Сергеевич уже несколько комнат хороших находил, сами понимаете, на отдельную квартиру желающих много...

— Понятно... — протянул Жеглов и принялся заново разглядывать записку, он даже подальше от глаз ее отставил, как это делают дальнозоркие люди, хотя и дефектами зрения, безусловно, не страдал. — Угрожает он в этой записочке, как вы считаете?

— Да что вы... — начала Наденька, но в это время на лестничной клетке раздался топот, и Жеглов перебил ее:

— Вы не торопитесь, подумайте... Мы еще потолкуем попозже... А пока, я вас прошу, походите по квартире, осмотритесь, все ли вещи на месте, не пропало ли что — это очень важно...

Хлопнула входная дверь, и в квартире сразу стало многолюдно: приехал следователь прокуратуры Панков, а за его спиной маячил Тараскин, который привел понятых — дворничиху и пожилого бухгалтера из домоуправления.

— Мое почтение, Сергей Ипатьич, — сказал Жеглов Панкову, и в голосе его мне послышалась смесь почтительности и нахальства. Панков

спустил на кончик носа дужку очков и смотрел на нас поверх стекол, и от этого казалось, что он решил боднуть Жеглова и сейчас присматривается, как сделать это ловчее.

— Здравствуй, Жеглов, — сказал Панков, и в его приветствии тоже неуловимо смешались одобрение и усмешка, — видимо, они давно и хорошо знали друг друга. Потом он оглядел нас и сказал бодро: — Здоро́во, сыскари, добры молодцы!..

Следователь прокуратуры Панков был стар, тщедушен, и выражение лица у него было сонное. А может, мне так казалось из-за того, что глаза у него все время были прищурены под старомодными очками без оправы. Панков снял и аккуратно поставил в углу прихожей галоши, вовсю светившие своей алой байковой подкладкой. И большой черный зонт он раскрыл и приспособил сушиться на кухне. Потом вошел в комнату, мельком глянул на убитую, потер зябнущие ладони, что-то шепнул Жеглову и наконец распорядился:

— Благословясь, приступим. Слушай мою команду: не суетиться, руками ничего не хватать, обо всем любопытном информировать меня. Начинайте.

Жеглов повернулся ко мне:

— Ты, Шарапов, будешь писать протокол...

— Я?!!

— Конечно ты. Бери блокнот наизготовку, пиши быстро, но обязательно разборчиво. Привыкай...

> «...Осмотр производится в дневное время, — записывал я под диктовку Жеглова, — в пасмурную погоду, освещение естественное... комната размером 5х3,5 метра, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-запад... входная дверь и окна в комнате и на кухне к началу осмотра были заперты и видимых повреждений не имеют...»

Немного погодя вышли на кухню перекурить, и я спросил Жеглова, какой толк от старичка Панкова, который, отдав еще несколько распоряжений, на мой взгляд довольно пустяковых, уютно устроился в кресле и, казалось, отключился от всего, происходящего в квартире.

— Э, нет, друг ситный, — сказал Жеглов, — этот старичок борозды не испортит, старый розыскной волк. Он такие убийства разматывал, что тебе и не снилось. Одно — в Шестом проезде Рощинском мы вместе раскрывали, обоих нас потом поощрили: по путевке дали в дом отдыха... Да и закон требует, чтобы дела по убийству вела

прокуратура. Но это, так сказать, оформление, а розыск, вся оперативная работа все равно за нами остается.

Будто учуяв, что о нем речь, в кухню вошел Панков, положил перед Жегловым на газете продолговатый кусочек металла:

— Ну-с, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Какие будут суждения? — И вдруг засмеялся старческим перхающим смехом.

Жеглов достал из кармана лупу, взял у Панкова пинцет и, поворачивая в разные стороны, принялся рассматривать вещдок. Крутил он ее, вертел, присматривался, чуть ли не нюхал, я все ждал, что он ее на зуб попробует. Чего там рассматривать — пуля как пуля, обычная пистолетная пуля...

— Надо гильзу поискать, оно надежней будет... — сказал Жеглов.

Панков, ухмыляясь, заметил:

— Еще лучше было бы посмотреть само оружие.

Жеглов, поскрипывая щегольскими своими сапожками, прошелся по кухне, крепко потер обеими ладонями лоб и сообщил:

— Значитца, так, Сергей Ипатьич: пуля эта — 6,35, от «омеги» или «байярда».

Я от удивления раскрыл рот — каких уж только я пуль не навидался и, конечно, могу отличить винтовочную от револьверной. Но назвать систему оружия — это действительно номер! Как бы сочувствуя мне, Панков скромно спросил Жеглова:

— Из чего сие следует, сударь мой?

— Из пули, Сергей Ипатьич, — хладнокровно сказал Жеглов. — Шесть нарезов с левым направлением, почерк вполне заметный!

— Тогда как вы объясните это? — Панков достал из кармана аккуратный газетный пакетик, развернул его, вынул из ваты гильзу, небольшую, медно-желтую, с отчетливой вмятиной от бойка на донышке. — Гильза, судя по маркировке, наша, отечественная...

— А где была? — торопливо спросил Жеглов.

— Там, где ей положено, слева от тела; надо полагать, нормально выброшена отражателем.

— Хм, гильза наверняка отечественная. Ну что ж, запишем это в загадки... — Жеглов задумался. — Все равно надо оружие искать. Пошли...

Большая часть комнаты — по стенам — была уже осмотрена, оставался только главный узел — центр комнаты, тело и стол.

Жеглов спросил Надю, было ли в доме оружие.

Она покачала головой, молча пожала плечами; тогда Жеглов сказал Пасюку и Грише:

— Разделите между собой помещение и еще раз пройдитесь по всем укромным местам, поищите оружие и все, что к нему может иметь отношение. Быстро! — Потом повернулся ко мне: — Записывай!

«...Квартира чисто убрана, беспорядка ни в чем не наблюдается, по заявлению сестры убитой, предметы обстановки находятся на обычных местах...

...В центре комнаты стол, круглый, покрытый чистой белой скатертью...

...Вокруг стола четыре стула, № 1, 2, 3 и 4 (см. схему). Стулья № 2 и № 4 от стола отодвинуты каждый примерно на 50 см...

...В центре стола — банка с вареньем (по виду вишневым), фаянсовый чайник, нарезанный батон (на ощупь — вчерашний), столовый нож, половина плитки шоколада “Серебряный ярлык” в обертке...

...На столе против стула № 2 чашка с жидкостью, похожей на чай, наполненная на две трети. На краю чашки след

красного цвета, — вероятно, от губной помады... Рядом блюдце с вареньем и рюмка, до середины наполненная темно-красной жидкостью, — по-видимому, вином...

...На столе против стула № 4 чашка с жидкостью, похожей на чай, полная. Блюдце с вареньем... Рюмка, на дне которой темно-красная жидкость, — по-видимому, вино... Бутылка 0,5 л с надписью: “Азербайджанское вино. Кюрдамир”, почти полная, с темно-красной жидкостью, сходной по виду с вином в рюмках... На отдельном блюдце — половина плитки шоколада, надкусанная в одном месте... Хрустальная пепельница, в которой находятся три окурка папирос “Дели” с характерно смятыми концами гильз. Чайная ложка...»

К Жеглову подошла Надя, робко тронула его за руку:

— Извините... Вы просили вещи Ларисы посмотреть...

— Ну?

— Мне кажется... Я что-то не нахожу... У нее был

новый чемодан, большой, желтый, и его нигде не видно.

— Ага, понял, — кивнул Жеглов. — А вещи?

— В шкафу была ее шубка под котик... Платье красное из панбархата... Костюм из жатки, темно-синий, несколько кофточек. Я ничего этого не вижу...

— А во всех остальных местах смотрели? Может, еще где лежит?

Наденька залилась слезами:

— Нет нигде, я смотрела... И драгоценности ее пропали из шкатулки. Вот, посмотрите...

Она подвела Жеглова к буфету, открыла верхнюю створку, достала оттуда большую шкатулку сандалового дерева, инкрустированную буком, откинула крышку — на дне лежали дешевенькие на вид украшения, пуговицы, какие-то квитанции, бронзовая обезьянка.

— Какие именно здесь были драгоценности? — спросил Жеглов деловито.

— Часики золотые... серьги с бирюзой... ящерица...

— Какая ящерица? — переспросил Жеглов.

— Браслет такой, витой, в виде ящерицы с изумрудными глазками... Один глаз потерялся... — пыталась сосредоточиться девушка. — Кольца

она на руках носила...

Жеглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом — колец на пальцах не было. Надя с ужасом посмотрела на сестру, закрыла лицо руками и снова зашлась в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова:

— Ее ограбили!.. Ограбили... Убили, чтобы ограбить... Бедная моя...

Пасюк, стоя на стуле, перед книжным шкафом, сказал:

— Глеб Георгиевич, патроны... — И протянул небольшую синюю коробку Жеглову.

Рассмотрев коробку, Жеглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову — на коробке большими желто-красными буквами было написано: «БАЙЯРД». Панков открыл коробку — из решетчатой, похожей на пчелиные соты упаковки, как шипы, торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жеглова длилось недолго, и нарушил его как раз я.

— Пули-то от «байярда», это точно, — заметил я. — Но коробка полная. Все пули на месте — ни одного свободного гнезда...

— Ничего, — твердо сказал Жеглов. — Здесь уже, как говорится, «тепло», поищем — найдем.

Ты, Шарапов, запомни себе твердо: кто ищет — находит, в уныние не имей привычки вдаваться, понял?

Я кивнул, а Жеглов уже нашел мне дело:

— Вон, видишь, Иван достал из шкафа пачку бумаг? Разбери-ка их по-быстрому, — может, чего к делу относится.

Надя сказала торопливо:

— Это личные письма Ларисы, не стоит...

Но Жеглов перебил ее властно:

— Сейчас неважно, личные там или деловые, а посмотреть надо, — может, в них следок какой покажется. Читай, Шарапов, все подряд, потом для меня суммируешь...

Надя слабо махнула рукой, поднесла к глазам платок и снова горько заплакала, но Жеглов уже отвернулся от нее и стал заворачивать в бумагу патроны. Мне было как-то неловко оттого, что надо читать чужие письма, но все-таки Жеглов, наверное, прав: если не случайный какой грабитель залетел в эту уютную квартиру, чтобы убить и обобрать хозяйку, то корни всей этой истории могли уходить именно в личные дела Ларисы, а письма — это как-никак в личных делах лучший подсказчик.

Усевшись за письменный столик около окна,

я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых кроме писем были и телеграммы, и записки, и счета за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же: мать Ларисы, муж ее Груздев, какая-то женщина, видимо подруга, по имени Ира и некий Арнольд Зелентул, с которого и решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний в вечной, неутолимой и рыцарской, со ссылками на классиков, любви, — «помнишь, как у Шиллера?..» — и поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробегал их глазами, пока они мне не приелись, потому что накал Арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату... Мне как-то вчуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо — написано оно было больше года назад и заканчивалось жалобами на злую судьбу, которая никак не позволяет им с Ларисой соединиться в обозримом будущем и, следовательно, их дальнейшие встречи бесперспективны... Эх,

птички божьи! Отложил я письма Арнольда в сторону, взялся было за письма Ирины, но в комнату быстро вошел милиционер.

— Товарищ капитан, гражданина Груздева привезли. Можно войти? — обратился он к Жеглову.

Да, собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент смотрел не на его лицо, а именно на эту судорожно сжатую, белую, словно налившуюся гипсом, руку. Каждый сустав выступил на ней желтоватым пятном, и располосовали ее синие полоски вен, и в этой руке жил такой ужасный испуг, в недвижимости ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть Груздеву в глаза и очнулся, только услышав его голос:

— Что это такое?..

Все молчали, потому что вопрос не требовал ответа. С криком бросилась к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и утишить боль потери.

Груздев отцепил руку от двери, он словно отлеплял каждый палец по отдельности, и все движения его походили на замедленное кино, а рука совершила в воздухе плавный круг, слепо

нащупала голову Нади и бесчувственно, вяло стала гладить ее, а сухие обветренные губы шептали еле слышно:

— Вот... Наденька... какое... несчастье... случилось...

Не отрываясь, смотрел он на Ларису, и нам, конечно, было неведомо, о чем он думает — о том, как они встретились или как последний раз расстались, или как она впервые вошла в этот дом, или как случилось, что она лежит здесь наполовину голая, на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяйски распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителем, когда занавес уже поднят и страшная запутанная пьеса идет полным ходом. На его костистом некрасивом лице было разлито огромное испуганное удивление, но с каждой минутой недоумение исчезало, как влага с горячего асфальта, пока не запекся на лице неровными красными пятнами страх, только страх...

С того момента, как Груздев вошел, Жеглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых цепких глаз, и Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспокойно повертел головой, посмотрел на Жеглова и спросил:

— Что вы на меня так смотрите?

Жеглов пожал плечами:

— Странный вопрос... Обыкновенно смотрю.

— Не-ет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете... — Груздев покачал головой.

— Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться, — сказал Жеглов, и по тону его, по оттопырившейся нижней губе я понял, что он рассердился. — Скажите мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись?

— Дней десять назад.

— Где?

— Здесь.

— С какой целью?

— Мы разменяваем квартиру — я привез Ларисе планы нескольких вариантов...

Груздев говорил медленно, еле разлепляя сухие губы, и я не мог понять: он что, раздумывает так долго над ответами или все еще опомниться не может?

К разговору подключился Панков:

— Вы кого-нибудь подозреваете?

Груздев вскинул на него недобрый взгляд:

— Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет. — Он сказал это раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть

неприязни.

— Это конечно, — простецки улыбнулся Панков. — Но, возможно, есть человек, к которому стоит повнимательней присмотреться, вы как думаете?

— Таких людей вокруг Ларисы последнее время вилось предостаточно, — сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул. — Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится...

— Вы имеете в виду ее театральное окружение?.. — уточнил Жеглов и как бы мимоходом спросил: — У вас сейчас как с жилплощадью, нормально?

— Ненормально! — отрезал Груздев и с вызовом добавил: — Но к делу это отношения не имеет...

Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб.

— Как знать, как знать, — неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку, повертел ее в руках и спрятал обратно. — У вас оружие имеется?

Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул! Взволновался-то он наверняка, потому что снова полез за носовым платком, и я впервые увидел, что до синевы блед-

ный человек может одновременно покрываться испариной.

— Нет... — сказал Груздев медленно и протяжно. — Не может быть... Я как-то не подумал...

— О чем не подумали? — спросил Жеглов спокойно.

— Я совсем забыл о нем...

— Ну-ну... — поторопил Груздева Панков.

— Неужели это из него?.. У меня был наградной пистолет... — Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. — Я совсем забыл о нем...

Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову:

— Вы нашли?.. Это из него?..

— Покажите, куда вы его положили, — спокойно сказал Панков.

Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности. Трясущимися руками откинул крышку, тупо уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники.

— Его здесь нет... Я хранил его в шкатулке.

— А взяли когда? — осведомился Жеглов.

Груздев, словно не желая разговаривать с Жег-

ловым, ответил Панкову:

— Я не брал... Поверьте, я не знаю, где он!

Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете, так не знаете, поверим...» — а Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву:

— Вам вот этот предмет знаком?

— Да-а... — глядя куда-то вбок, сказал Груздев. — Знаком... знаком... Это мои патроны...

Трясущимися пальцами он положил в блюдце, стоявшее на буфете, окурок, достал из пачки-десяточки «Дели» папиросу, дунул в мундштук, примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает, мне было тяжело смотреть на него, я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки, и я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал в свой блокнот: «три окурка папирос “Дели”».

Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось, перехватило дыхание: мундштуки, наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев! Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно,

так что западали щеки и перекатывался кадык. «Это улика», — подумал я, и сразу же вдогонку пришла новая мысль: он ведь говорит, что здесь не был, — выходит, врет? Впрочем, может...

И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил:

— Гражданин Груздев, скажите... ваша жена курит? То есть курила?..

Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня, но мне это было сейчас безразлично, я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева:

— Папиросы она... курила? — И я неловко кивнул на тело Ларисы.

Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло:

— Не-ет... Она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил...

— Тогда как же вы объясните... — начал было я, но Жеглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо щелкнул пальцами, врастяжку сказал:

— Од-ну ми-нуточку!.. Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете?

Косо глянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну и живу, ну и что, вам какое дело?»

— Адресочек позвольте, — попросил Жеглов.

— Пожалуйста, — скривил губы Груздев. — Я надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет...

— Мы разберемся, — неопределенно пообещал Жеглов. — Запиши, Володя.

Груздев продиктовал адрес и, пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жеглову:

— Я просил бы не информировать квартирную хозяйку... Нам еще жить там... Вы должны с этим считаться.

— Я пока ничего обещать не могу, — сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. — Следствие покажет...

Груздев возразил злым, тонким голосом:

— Вы меня извините, я не специалист, но мне кажется... В общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет.

Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно:

— Ну почему же вашей персоны? Разбираемся... как положено.

— Да что вы мне голову морочите?! — закричал Груздев. — Что я, не вижу, что ли, вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны... окурки глядишь, в ход пойдут. — Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурок раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку.

Жеглов поднял окурок, аккуратно загасил его в блюдце.

— Да вы не нервничайте, товарищ Груздев, — сказал он мягко, почти задушевно. — Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать... горю. Но и вы нас поймите, мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указания дам. — Повернулся, пошел к дверям быстрой своей, пружинящей походкой и уже на выходе попросил Груздева: — Не серчайте, Илья Сергеич, лучше помогите товарищам с вещами разобраться — все ли на месте?

В коридоре, прижав меня к вешалке, Жеглов сказал быстро и зло:

— Ты вот что, орел, слушай внимательно. Значитца, с вопросами своими мудрыми воздержись пока. Твой номер шестнадцатый, понял? Помалкивай в трубочку...

— Да я... — вздыбился я на него.

— Помолчи, тебе говорят! — заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот. — Папиросы заметил — хвалю! Я их между прочим, как он только вошел, усек, но, обрати внимание, виду не подал. Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда: спрос, он в нашем деле до-орого сто́ит! Спрашивать вовремя надо, чтобы в самую десятку лупить, понял?

Я покачал головой, пожал плечами: не понял, мол.

— Ну, сейчас не время, я тебе потом объясню, это штука серьезная, — пообещал Жеглов. — Наблюдай пока, мотай на ус. Как там у вас в армии говорят: делай, как я! И все! И давай без партизанщины, понял?

Я кивнул; и чувствовал я себя как собака, перед носом которой подбросили кусок сахару и сами же его поймали и спрятали в карман: на какую вескую улику я вышел, сейчас бы как в атаке — раз-два, быстрота и натиск! Черт побери, оказывается, не так это просто. Жеглову, наверное, виднее...

— Есть, товарищ начальник, делать, как ты. Перехожу на прием.

Жеглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в жи-

вот и распорядился:

— Вон Тараскин какого-то суслика приволок, пошли расспросим...

Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого, какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет, приволок свидетеля очень интересного.

Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке, и впрямь похожий на суслика — маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, — рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей:

— Меня, эт-та, жена послала ведро вынести на помойку, н-ну... Выхожу я на парадную, аккурат Илья Сергеич по лестнице идут... Встренулись мы конечно, я с ими, эт-та... поздоровкался: здравствуйте, говорю, Илья Сергеич, н-ну, и он мне — здравствуй, мол, Федор Петрович... Было, граждане начальники, было...

— А потом что? — спросил Жеглов ласково.

— Эт-та... Известно чего... Я с ведром — на черный ход. А Илья, значит, Сергеич — в парадную, на улицу.

Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил

руки, будто собираясь всех обнять:

— Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно... — И соседа вежливо очень спросил: — Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно... — И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой Жеглов, польстил ему очень:

— Да господи, какой разговор, заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная!..

Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой.

— Ну вот, здесь поспокойней будет, — сказал Жеглов и обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так прервались на минутку: — Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы — черным ходом...

— Точно! — подтвердил сосед.

— Когда, вы говорите, дело-то было?

— А вчерась, к вечеру... Я аккурат после ночной проспался, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говорится...

Я почувствовал легкий озноб: похоже, что все врет Груздев, сейчас очную ставку ему с соседом

— и деваться будет некуда. Подобрался, еще более посерьезнел Жеглов, а Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жеглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно — все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно:

— Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов, не слыхали? — Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол: — Будем знакомы.

Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил:

— Липатниковы мы. Липатников, значит, Федор Петрович, очень приятно...

Не садясь, поставив по обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно:

— Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете... — Сосед покивал лохматой головой. — Значит, все должно быть точно, тютелька в тютельку...

— Все понятно, товарищ Жеглов, — сразу же уразумел сосед.

— Отсюда вопрос: вы не путаете, *вчера* дело

было? Или, может *на днях*?

— Да что вы, товарищ Жеглов! — обиделся сосед. — Мы люди тверезые, не шелапуты какие, чтобы, как говорится, нынче да анадысь перепутывать! Вчерась, как бог свят, вчерась!

— Так, хорошо, — утвердил Жеглов. — Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее: *времени сколько было*?

Сосед ответил быстро и не задумываясь:

— А вот это, товарищ Жеглов, не скажу — не знаю я, сколько было время. К вечеру — это точно, а время мне ни к чему. У нас в дому и часов-то нет, вон ходики сломались, а починить все не соберемся...

Старые ходики на стене действительно показывали два часа, маятника у них не было.

— А как же вы на работу ходите? — удивился Жеглов.

— Я не просплю, — заверил сосед. — Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет — как тут проспать?

Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку допотопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим густым голосом арию Кончака, подумал, снова посмотрел на репродуктор уже внимательней, сказал

недоверчиво:

— Что ж он у вас, круглосуточно действует?

— Ага, он мне не препятствует, я после ночной и сплю при ем, — заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы.

Глаза у Жеглова остро блеснули, он спросил быстро:

— Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?

Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова — странно, мол, в какую сторону разговор заехал, — и все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил:

— Матч был, футбольный. — И добавил для полной ясности заученное: — Трансляция со стадиона «Динамо».

До меня дошло наконец, куда гнет Жеглов, я на него просто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал:

— Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович? Какой тайм передавали?

Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой:

— Не-е... Я не занимаюсь, как говорится... Так просто, слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой... этта... передавали.

— Ну, может быть, вы хоть момент этот запомнили, про что говорилось, когда с ведром-то выходили? — спросил с надеждой Жеглов.

Сосед пожал плечами:

— Да он уже кончился, матч, значит. Да-а, кончился, я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром...

— А точно помните, что кончился? — снова заулыбался Жеглов.

— Точно.

— С картошкой вы долго возились?

— Кой там долго, она уже начищена была, только поставил, взял ведро...

— Значит, как матч кончился, вы минут через пять — десять с Ильей Сергеевичем и встретились?

Федор Петрович поднял глаза к потолку, задумчиво пошевелил губами:

— Так, должно...

Жеглов сузил глаза, снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина:

— Кто вчера играл, ну-ка?

— ЦДКА — «Динамо», — уверенно сказал Тараскин.

— Правильно, — одобрил Жеглов. — Счет 3:1

в пользу наших. Значитца, так: начало в семнадцать плюс сорок пять плюс минут пятнадцать перерыв — восемнадцать часов. Плюс сорок пять, плюс десять минут... Та-ак... Восемнадцать пятьдесят, максимум девятнадцать... Потом чаепитие и другие рассказы... Все сходится! Ты улавливаешь, Шарапов?

Я-то улавливал уже: около семи вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил...

Душевно, за ручку, распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и, чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком, под надзором Гриши Шесть-на-девять, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну

точку, сидел Груздев.

Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева:

— Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером, часов в семь?

Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул:

— Вчера вечером в семь я был дома. Я имею в виду — в Лосинке... — Помолчал и добавил: — Вы напрасно теряете время, это не я убил Ларису.

— Следствие располагает данными, — сказал железным голосом Глеб, — что вчера в семь часов вы были здесь!

— Следствие! — повторил с ненавистью Груздев. — Вам бы только засадить человека, а кого — неважно. Вместо того чтобы убийцу искать...

— Слушайте, Груздев, — перебил Панков. — Соседи видели вас, зачем отпираться?

— Они меня видели не в семь, а в четыре! — запальчиво крикнул Груздев.

— Но в начале разговора вы сказали, что уже десять дней здесь не были, — с готовностью напомнил Жеглов, и я видел, что он недоволен Панковым так же, как был недоволен мною, когда

я спрашивал Груздева про папиросы.

— Я этого не говорил, — сказал Груздев, и я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова. — Я сказал, что Ларису не видел дней десять...

— А вчера? — лениво поинтересовался Жеглов.

— И вчера я ее не видел, — нехотя ответил Груздев. — Я ее дома не застал.

— Все ясно, значитца... — Жеглов заложил руки за спину и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя.

Панков пошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню.

— Вас я тоже попрошу расписаться. — Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой.

— Я ваши акты подписывать не намерен, — угрюмо заявил он.

— Это как же понимать? — спросил Панков строго. — Вы ведь присутствовали при осмотре!

— Как хотите, так и понимайте, — ответил Груздев резко, подумал немного и добавил: — Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили...

Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой:

— Напрасно, напрасно вы себя так ставите...

Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов, он спросил непринужденно:

— Илья Сергеевич, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома?

— Конечно... — презрительно бросил Груздев, не оборачиваясь.

— Позвольте спросить — кто?

— Ну, если на то пошло, и жена моя, и квартирохозяйка.

— Понятно, — кивнул Жеглов. — Они на месте сейчас?

— Вероятно... Куда они денутся?..

— Чудненько... — Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище, полюбовался немного его неувядающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом. — Пасюк, сургуч, печатка имеются?

— А як же! — отозвался Иван.

— Добро. Надюша, вас я попрошу освободить, временно, конечно, вот этот чемодан — для вещественных доказательств.

Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи в шкаф, а Жеглов приказал мне:

— Сложишь все вещдоки. Упакуй только акку-

ратно и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтоб не пролилась. Да, не забудь письма — упакуй всю пачку, у себя разберемся...

— А бутылку на что? — удивился я.

— Бутылка — это след, — сказал Жеглов. — Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет. — И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно: — Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу.

Груздев по-прежнему молча смотрел в окно, и я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи так, будто заранее известно, что они имеются; наоборот, я бы начал умствовать, что раз люди разошлись, значит и ключей у него быть не должно.

Но Груздев молчал, и Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов без малейшей нетерпеливости снова сказал Груздеву:

— Ключики нам нужны, Илья Сергеевич. — И пояснил: — Квартиру придется временно опечатать.

Груздев резко повернулся:

— Ключей у меня нет. И быть не могло. Поста-

райтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины! Чужой, понимаете, чужой!

— Напрасно вы все-таки так... — неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову. — Ну да ладно, давайте заканчивать.

— Все на выход! — коротко приказал Жеглов. — Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку, 38. Уточнить еще кое-что...

На лестнице Жеглов поотстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко:

— Езжайте в Лосинку. По этому адресу произведите неотложный обыск — ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку — всю как есть изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допросите — где был он вчера, что делал, весь день до минуточки, ясно? И назад, рысью!..

* * *

В столице сейчас сто одиннадцать многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды — ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала десять и более детей.

«Московский большевик»

Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку, сказал:

— Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой, все ваши соображения о происшествии, перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально.

— Моя жизнь с Ларисой — это мое личное дело, — запальчиво сказал Груздев. — А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого на них доносы писать. А меня увольте, я не до-

носчик...

— Слушайте, Груздев, — устало сказал Жеглов. — Мне уже надоело. Что вы со мной все время препираетесь? Вы не доносчик, вы по делу *свидетель*. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, по закону *обязаны*. Так что давайте не будем... Пишите, что вам говорят...

Груздев сердито пожал плечами; всем своим видом он показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону:

— На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить?

— Озаглавьте: «Объяснение». И пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем... Пошли, Шарапов, — позвал Жеглов, и мы вышли в коридор.

— А зачем на имя генерала ты ему писать велел? — полюбопытствовал я.

— Для внушительности — это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось поостережется. Идем ко мне, перекусим.

Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы — пять

минут первого. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт» — в ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок, — достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел «отоварить» незапамятно давно — сегодня, а вернее, вчера перед обедом, собираясь отмечать «день чекиста». Своим разведческим, острым как бритва ножом с цветной наборной плексигласовой рукояткой я нарезал тонкими ломтями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился прямо царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами — так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпать. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил:

— Что насчет Груздева думаешь, а, Глеб?

— Его это работа, нет вопроса... — И, прожевав, добавил: — Этот субчик нетрудный, у меня не такие плясали. Один хмырь, помню, бандитское нападение инсценировал: приезжаем — жена убитая, он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит, в квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто,

ценности похищены. Стали разбираться, он убивается, сил нет: жизни, кричит, себя лишу без моей дорогой супруги! — Жеглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот, задумался.

— Ну-ну, а дальше?..

— А дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так, — Жеглов провел ребром ладони по горлу, — подозрительный, я ему напрямик и врубил: «Признавайтесь, за что вы убили дорогую супругу?» Ну, что с ним было — это передать тебе невозможно, куда он только на меня не жаловался, до Михаила Иваныча Калинина дошел.

— А ты что?

Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся:

— А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков пять он посидел без допроса, а я тем временем его любовницу расколол: она домишко купила, да непонятно, на какие шиши. Пришлось ей все ж таки признаться, что деньги — тридцать тысяч — любовник дал. А он-то плакался, что аккурат эти деньги подчистую грабители забрали, ни копейки ему не оставили.

Поднимаю я его из камеры на очную ставочку с любименькой. Да-а... Как он ее увидел, так сразу: «Отпустите меня с допроса, подумать надо...» Хорошо. Вызываю через день, не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы...

— Какой экспертизы? — не понял я.

— Там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся, «Телефункен», как сейчас помню, трофейный. И тип этот вовсю разорялся, что искали грабители в приемнике деньги, не нашли и со злости грохнули его об пол со всей силой. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник об пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены и работать он бы ни в жисть не стал. А приемник, между прочим, работает как миленький...

— Ага, он значит его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома...

— Точно. Я ему так и сказал, он на полусогнутых: «Жизнь мне сохраните, умоляю, вину искуплю...» Вот такие типы, значитца, имеют место, и ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ.

— А Груздев?

— Испекся, — небрежно махнул рукой Жеглов. — Покобенится — и в раскол, куда ему деваться?

Все улики налицо, а мужичишко он хлипкий, нервный...

Я поднялся:

— Пойду его проведаю — как он там?

— Ни в коем разе, — остановил Жеглов. — Ему сейчас до кондиции дойти надо, наедине, как говорится, со своей совестью. Но, между прочим, ты не думай, что все уже в порядке, такие дела непросто делаются, тут еще поработать придется...

— Есть, — охотно согласился я и попросил: — Ты обещал насчет следственных вопросов поподробней...

— А-а, — вспомнил Жеглов. — Это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь, ты еще пройдешь эту теорию на практике...

Я усмехнулся.

— Ну что ты, как медный самовар, светишься? — рассердился Жеглов. — Дело серьезное! Ты пойми, когда преступника допрашивают, он весь, как зверь, в напряжении, и страх в нем бушует: что следователь знает, что может доказать, про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение, страх этот — его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей: сначала про пустячки, то да се, мелочишку — тот

сказал, та видала, этот слыхал... Преступник уже видит, что ты в курсе дела и пришел не так просто, поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный...

— Ну, а он, представь себе, отпирается, — сказал я.

— И хорошо! И прекрасно! Он отпирается, а ты ему очняк — р-раз! Кладет его, допустим, подельщик на очной ставке...

— А он все равно отпирается... — подзадорил я его.

— А ты ему свидетеля — р-раз, экспертизку на стол — два! Вещдок какой-нибудь покрепче — три! И готов парнишечка, обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать, и к тому же с объяснением, почему врал доселе.

— Ну, допустим, — кивнул я. — Что потом?

— Потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один-единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься, головой качаешь: опять, мол, заливаешь ты, паря, мне тебя просто до невозможности жалко, что с тобою при твоей неискренней линии станется? Он говорит: «А что?» — а ты краешком, осторожненько, называ-

ешь, к примеру, Шестой Монетчиковский, где, как тебе известно, кражонка была, но доказательств ни на грош не имеется.

— Так он тебе навстречу и разбежался!

— А вот и разбежался! Я ведь про первый эпизод тоже его спрашивал с прохладцей, издалека. Он мне семь бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее, после чего и сознаваться пришлось, и оправдываться. Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и «чистосердечно» сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол, значитца, подписи и другие рассказы...

Зазвонил телефон — Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев.

— Нет пока, — сказал Жеглов. — Да вы не беспокойтесь, Сергей Ипатьич, развалится... — Положив трубку, Жеглов пошутил: — Спи спокойно, дорогой товарищ... Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше, бывало, пока сам обвиняемого не расколет, хоть ночь за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно...

— Ты не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы ты рассказал. Мне ведь по книжкам некогда учиться.

— Молодец, Шарапов! — похвалил Жеглов. — При твоей настырности будешь толковый орел-сыщик. Слушай. Значитца, раскололся наш клиент на второй эпизод, ты ему без промедления третий адресок шепчешь. Притом снова железный. А он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился, без доказательств, и охватывает его, конечное дело, досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые, христом-богом и ро́дной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал! Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь: и свидетеля-барыгу, и прохожего-очевидца, и подельщика на очной. И снова ему деваться некуда, и снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного нераскаявшегося врунанегодяя. «И на Якиманке, выходит, ты не был, и в Бабьегородском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается, и так далее, и тому подобное» — всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы

по почерку проходило...

— Так ведь он с перепугу и чего не было признает? — обеспокоился я. — В смысле — чужие дела себе припишет?

— Будь спок. — Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину. — Чужое вор в законе сроду на себя не возьмет... Я имею в виду, при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо! А он, когда его вот так, по-умному, обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за три года вперед! Учись, пока я жив! — И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману.

— Учусь, — сказал я серьезно. — Я этот метод вот как понял! А ты мне еще всякое рассказывай, я буду стараться...

В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выглянул — быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутые трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал:

— Ось протокол обыска... та допросы жинок.

— Нашли чего? — спросил с интересом Жеглов.

— Та ничего особенного... — ухмыльнулся Иван.

— А что женщины говорят?

— Жинка його казала, шо був он у хати аж с восемнадцати годин...

— А квартирная хозяйка?

Заговорил наконец Тараскин:

— Хозяйка показала, что с утра его не видела и вечером на веранде ихней было тихо. Так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела.

— Ясненько, — сказал Жеглов. — Значитца, не было его там.

— А жена?.. — спросил я.

— Наивный ты человек, Шарапов! — засмеялся Жеглов. — Когда же это жена мужу алиби не давала! Соображать надо...

Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов — почитать, а Жеглов походил немного по кабинету, посоображал, потом вспомнил:

— Да, так что вы там «ничего особенного»-то нашли?

Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положив его на стол рядом с протоколами.

Жеглов развернул газету.

В его руках холодно и тускло блеснул черной вороненой сталью «байярд»...

Это был пистолет «байярд»!

В комнате было невероятно накурено, дым болотным туманом стелился по углам; глаза слезились, и я, несмотря на холод — топить еще не начинали, — открыл окно.

Дождь прекратился, было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч, в чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом — да и какие это были, собственно говоря, отношения: «Бей фашистского зверя!» — и точка! А тут я сколько ни силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек, да еще к тому же врач, может убить женщину, свою, пусть бывшую, но жену, близкого человека, из-за какой-то паршивой жилплощади. И не в приступе злости или гнева, и не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры!

Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жеглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в Лосинке там же, где лежал и пистолет «байярд», в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства, на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И на мой взгляд, был еще важный момент — пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы; но когда я спросил Жеглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил:

— Понимаешь, Володя, неслыханных преступлений не бывает: каждый раз что-то подобное где-то когда-то с кем-то уже было. На том наш брат сыщик и стоит — на сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя...

— А ты уже расследовал такое? — спросил я.

— И не раз, и не два, — кивнул Жеглов. — К примеру, застал муж свою жену с любовником. Голова кругом, сердце наружу выпрыгивает, выхватил револьвер: бах! бах! — и два трупа.

Придет в себя, возрыдает и к нам бежит — казните, граждане, я только что жену убил! А бывает и по-другому, вот как нынче: обдумает человек все неторопливо, как сделать да как от себя отвести, а иной раз и как навести на другого. Приготовит все заранее, хладнокровно сделает — и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось, а вы, орлы-сыщики, ищите, носом землю ройте, но убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите!

— И вещи, выходит, он взял, чтобы мы решили, будто грабеж был? — догадался я.

— Точно! — одобрил Жеглов. — Правильно мыслишь. Они, шмотки-то, может, ему и ни к чему... Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему. Меня на эту мысль наводит пистолет его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери — от улики избавиться, — а этот, вишь, припрятал: значит, к вещам относится трепетно, жалеет их, понял?.. Да и кольцо у Ларисы на пальце, Надя говорит, цены необыкновенной, от бабки ей досталось...

Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съежился, зябко поводил плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый

оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе.

— Немного же вы написали за столько времени, — посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочка. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел — это как-то не нарочно даже получилось — на одиноком стуле посреди кабинета, так что даже облокотиться было не на что; и сказал Жеглов веско:

— Значитца, так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на откровенность: правды писать вы не захотели. — И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. — А напрасно. Дело-то совсем по-другому было, и враньем мы с вами только усугубляем, понятно?

— Да как вы смеете! — вскочил со стула Груздев. — Как вы смеете со мной так разговаривать? Я

вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я наслышан, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач! Я кандидат медицинских наук, если на то пошло! Я буду жаловаться! — Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения, он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него.

Жеглов сделал — даже не сделал, а скорее обозначил — неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева, и тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко, мешком, шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко и в голосе его послышалась угроза:

— Насчет жалоб, я уже слыхал, доводилось. А вот насчет жуликов — это верно. Ты не жулик. Ты убийца...

У меня перехватило дыхание — настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное: сейчас Жеглов будет *раскалывать* Груздева!

А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушало ее лишь хриплое дыхание Груздева да мерное поскрипывание стула под

ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и, когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его — Жеглов словно пришпилил Груздева к стулу...

— Ты долго готовился... — прервал наконец молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство — безмерное презрение. — Хитрый... Только на хитрых у нас, знаешь, воду возят...

— Да вы... Да что вы такое несете! — Груздев давился словами от возмущения, наконец они вырвались наружу в яростном крике: — Вы с ума сошли!

— Ну-ну, утихомирься... — жестко ухмыльнулся Жеглов. — Будь мужчиной: попался — имей смелость сознаться. Оно к тому же и полезно — в законе прямо сказано: чистосердечное признание смягчает вину...

В кодексе, который я читал вчера утром, формулировка была несколько иная, но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев:

— Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение... Я не верю... Вы со мной разговариваете,

будто я в самом деле убийца... — Голос его звучал хрипло, прерывисто, на глазах выступили слезы. — Но ведь, если вы *мне* не верите, то это как-то *доказать* надо?!

— А что тут еще доказывать? — легко сказал Жеглов. — Главное мы уже доказали, а мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия подтвердятся. Ну, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил, на месте...

— Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой! Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось! — сказал Груздев, и мне послышалась в его голосе вопросительная интонация. Я посмотрел на Жеглова, и он еле заметно подмигнул мне: «Чувствуешь, как прощупывает?» — а сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику:

— Я ведь сказал, это мелочь. Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное — определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает. Ну-ка глянем: выгодно вам это преступление?..

Груздев рванулся с места; на сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся:

— Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать! С вашей точки зрения получается, что детям выгодна смерть родителей, жене — мужа и так далее только потому, что все они наследники...

— Но у вас немного другой случай, — перебил Жеглов. — Наследником вы являетесь, а мужем — давно уже нет... — И приказал: — Садитесь! И внимательно слушайте, что я вам скажу. Для вашей же пользы...

Он снял ногу с перекладины стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу:

— Жить с прежней женой — Ларисой — вы больше не желаете...

Вы находите другую женщину — Галину Желтовскую, вашу ассистентку...

При этом повсюду, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату...

Но Ларисе некуда деваться — и вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных...

На самом деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне...

Да и квартира, в сущности, ваша — еще родительская...

А Лариса даже обмениваться не торопится...

Расходы растут: жизнь на две семьи до-орого стоит...

И вы принимаете решение...

Груздев закашлялся, а может, засмеялся — не понять было, — отер глаза носовым платком и сказал, зло скривив рот:

— Все это было бы смешно...

— Когда бы не было чистой правдой, — перебил Жеглов уверенно. — Вы принимаете решение избавиться от Ларисы да еще заработать на этом. Угрожающей запиской, вот этой, — Жеглов достал из планшета листок, обнаруженный при осмотре, и помахал им перед глазами Груздева, — вы заставляете ее пойти наконец навстречу вашим интересам... в обмене и еще кое в чем... Приходите к ней с вашим любимым вином, с шоколадом, пьете чай, беседуете и, улучив момент, стреляете... Потом, создав видимость ограбления, — похищены самые ценные вещи, даже кольца с рук! — тихо захлопываете дверь и убываете в Лосинку, где договариваетесь с Желтовской, что весь вечер были дома. Алиби!

Жеглов намертво вцепился своим тяжелым,

требовательным, пронзительным взглядом в глаза Груздева, и тот, не выдержав, отвернулся, сказал глухо:

— Вся эта дурацкая басня — плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне доказать... Я растерялся что-то... Но вы не думайте...

— Да вы, оказывается, упрямец... — посетовал Жеглов. — Ну что ж, придется с вами разговаривать шершавым языком... протокола, коли вы нормальных слов не понимаете. Шарапов, возьми-ка бланк постановления. Пиши...

Разгуливая по кабинету, Жеглов неторопливо продиктовал суть дела, анкетные данные Груздева, потом, остановившись около него и неотрывно глядя ему в глаза, перешел к доказательствам. Я старательно записывал: «...Помимо изложенного, изобличается: запиской угрожающего содержания (вещественное доказательство № 1); показаниями Надежды Колесовой, сестры потерпевшей; продуктами питания (вещественное доказательство № 2); окурками папирос “Дели”, обнаруженными на месте происшествия, которые курит и гр. Груздев (вещественное доказательство № 3); показаниями свидетеля Липатникова, видевшего Груздева выходящим

с места происшествия в период времени, когда была убита Груздева Лариса; показаниями свидетельницы Никодимовой, квартирохозяйки Груздева, опровергающими его алиби; пулей, выстреленной из оружия типа пистолета “байярд” (вещественное доказательство № 4), каковой пистолет, по признанию подозреваемого, хранился у жены...»

Жеглов остановился, крутанулся на каблуке, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги, протянул Груздеву:

— Ознакомьтесь, это протокол обыска у вас в Лосинке... Подпись Желтовской узнаете?

— Д-да, — выдавил из себя Груздев. — Это ее рука...

— Читайте, — сказал Жеглов и незаметно для Груздева достал из того же ящика «Байярд» и полис.

— Что за чертовщина?.. — всматриваясь в протокол, сипло сказал Груздев, у него совсем пропал голос. — Какой пистолет? Какой полис?..

Жеглов, не обращая на него внимания, сказал мне:

— Пиши дальше: «...и пистолетом “байярд”, обнаруженным при обыске у Груздева в Лосиноостровской (вещественное доказательство № 5);

страховым полисом на имя Ларисы Груздевой, оформленным за день до убийства, обнаруженным там же (вещественное доказательство № 6)...» — И, повернувшись к Груздеву, держа оружие на раскрытой ладони правой руки, а полис — пальцами левой, крикнул: — Вот такой пистолет! Вот такой полис! А? Узнаете?!

Лицо Груздева помертвело, он уронил голову на грудь, и я скорее догадался, чем услышал:

— Все... Боже мой!..

Жеглов сказал отрывисто и веско, словно гвозди вколотил:

— Я предупреждал... Доказательств, сами видите, на десятерых хватит! Рассказывайте!

Долгая, тягучая наступила пауза, и я с нетерпением ждал, когда нарушится эта ужасная тишина, когда Груздев заговорит наконец и *сам* объяснит, за что и как он убил Ларису. В том, что это сейчас произойдет, сомнений не было, все было ясно. Но Груздев молчал, и поэтому Жеглов поторопил его почти дружески:

— Время идет, Илья Сергеевич... Не тяни, чего там...

В кабинете по-прежнему было холодно, но Груздев расстегнул пальто, пуговицы на сорочке — воротничок душил его, на лбу выступила ис-

парина. Острый кадык несколько раз судорожно прыгнул вверх-вниз, вверх-вниз, он даже рот раскрыл, но выговорить не мог ни слова.

Жеглов сказал задушевно:

— Я понимаю... Это трудно... Но снимите груз с души — станет легче. Поверьте мне — я зна-аю...

— Вы знаете... — выдохнул наконец Груздев с тоской и ненавистью. — Боже мой, какая чудовищная провокация! — И вдруг, повернувшись почему-то ко мне, закричал, что было силы: — Я не убива-ал!! Не убива-ал я, поймите, изверги!..

Я съежился от этого крика, он давил меня, бил по ушам, хлестал по нервам, и я впал совершенно в панику, не представлял себе, что будет дальше. А Жеглов сказал спокойно:

— Ах так, провокация... Ну-ну... Хитер бобер... Пиши дальше, Шарапов: «...Принимая во внимание... изощренность... и особую тяжесть содеянного... а также... что, находясь на свободе... Груздев Илья Сергеевич... может помешать расследованию... либо скрыться... избрать мерой пресечения... способов уклонения от суда и следствия... *содержание под стражей*...»

Груздев сидел, ни на кого не глядя, ко всему безучастный, будто и не слышал слов Жеглова. Глеб взял у меня постановление, бегло прочитал

его и, не присаживаясь за стол, расписался своей удивительной подписью — слитной, наклонной, с массой кружков, закорючек, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. Помахал бумажкой в воздухе, чтобы чернила просохли, и сказал Пасюку:

— В камеру его...

* * *

Ленинград, 11 октября, ТАСС. В Ленинград из Свердловска прибыли два эшелона, в которых доставлены все экспонаты сокровищницы мирового искусства — Государственного Эрмитажа, эвакуированные в начале войны.

Следователь Панков позвонил ровно в десять и осведомился, как идут дела с Груздевым.

— Да куда он денется?.. — сказал Жеглов беззаботно и снова заверил Панкова, что все будет как надо.

Положил трубку, закурил, подумал, потом велел мне и Тараскину пойти проведать арестованного.

— В беседы всякие вы с ним не пускайтесь, — сказал он. — Напомните про суровую кару и зачитайте из Уголовного кодекса насчет смягчения оной при чистосердечном раскаянии. В общем, пощупайте, чем он дышит, но интереса особого не надо. Как, мол, хочешь, тебе отвечать...

Тараскин охотно оторвался от какой-то писанины — всякий раз, когда требовалось написать

даже пустяковый рапорт, он норовил сбагрить эту работу кому-нибудь другому, — и мы пошли к черной лестнице, ведущей во двор, где находится КПЗ. Еще в кабинете он начал рассказывать постоянному и верному своему слушателю Пасюку содержание новой картины, а по дороге решил приобщить и меня. Обгоняя меня на лестнице, он заглядывал мне в лицо и торопливо, словно боялся, что я остановлю его, излагал:

— А тут приходит Грибов, ну, этот... Шмага, в общем, и говорит: «Пошли, Гришка! Наше место, — говорит, — в буфете!» — Тараскин залился счастливым смехом, быстрые серые глазки его возбужденно блестели. — В буфете! Понял? И Дружников его обнимает, понимаешь, за талию, и они гордо выходят. А Тарасова — в обморок, но они все равно уходят и ноль внимания!..

Мы вышли во внутренний дворик, слабо освещенный вялым осенним солнцем, успевшим, однако, подсушить с утра лужи на асфальте, прошли мимо собачника, из которого доносились визг, лай, глухое басовитое рычание — собак, видно, кормили, потому что в другое время они ведут себя тише. Подошли к кирпичному подслеповатому — из-за того что окна наполовину были прикрыты жестяными «намордниками»

— зданию КПЗ.

— И чего же ты радуешься? — спросил я Колю.

— Как чего? — удивился он. — Тарасова-то думала, что он запрыгает от счастья, а они — на́ тебе — в буфэ-эт...

Лязгнула железными запорами тяжелая дверь, надзиратель проверил документы, пропустил внутрь. В караулке он отобрал пистолеты, положил их в сейф и провел нас на второй этаж, открыл одну из камер:

— Груздев! На выход!

Я впервые видел камеру изнутри и с любопытством оглядывал ее. Небольшая, довольно чистая комната с зарешеченным окном и двумя нарами — деревянными крашеными полатями. На одной из них лежал Груздев, повернувшись к нам спиной. Еще по дороге сюда я размышлял о том, с каким напряженным ожиданием вслушивается, должно быть, Груздев в каждый звук, в каждый шорох из коридора — не за ним ли идут, нет ли новостей с воли?..

На окрик надзирателя Груздев отозвался не сразу, зашевелился, медленно поднял голову и только потом повернулся к нам. И тут я понял, что он спал. Спал! Даже мне после вчерашнего далеко не сразу удалось уснуть, а уж насчет него-

то и сомнений никаких не было: где ж ему хоть глаза сомкнуть? И вот тебе — спит как сурок, будто ничего не случилось. Ну и нервы! От такого действительно всего можно ожидать...

— Собирайтесь, Груздев, на допрос, — повторил надзиратель, замкнул дверь камеры и проводил нас в следственный кабинет — узкую тесную каморку с подслеповатым оконцем, маленьким колченогим столиком и привинченными к полу стульями — это чтобы их нельзя было использовать как оружие, догадался я.

Вошел Груздев, неприветливо мазнул сонным взглядом по моему лицу, даже не кивнул. А на Тараскина он вообще внимания не обратил. Но я решил волю чувствам не давать: что ни говори, он сейчас все одно что военнопленный, считай — лежачий, так что надо быть повежливей. Я и сказал ему культурно:

— Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как вы себя чувствуете?

Он усмехнулся недобро, да я и сам понял, что глупость сморозил — какое уж тут самочувствие! А он сказал, скривив рот:

— Вашими молитвами. Ну-с, что скажете?

— Да вот спросить вас хотели: может, облегчите душу-то? Пора бы, вам же лучше станет...

Он посмотрел на меня — глазки маленькие, со сна припухшие, а тут совсем в щелочки превратились:

— Тоже мне, исповедник с наганом... — И скрипуче засмеялся.

Но не стал я на него обижаться, я ему просто разъяснил статью сорок восьмую — о чистосердечном раскаянии и так далее, — а он все слушал, не перебивал, пока я не закончил. Потом сказал и ладонью по столу постучал, будто припечатал:

— Вы, молодой человек, уясните себе наконец, что не на такого напали — каяться, в чем не виноват, во имя ваших милостей. Правда — она себя покажет. И лучше всего будет, если вы от меня отвяжетесь, и будете искать настоящего убийцу, а не того, кто к вам поближе оказался, для следствия поудобней, ясно? — Он подумал немного, потер ладонью лоб, будто соображал, не забыл ли чего. Видно, сообразил, потому что заулыбался даже, и говорит: — Я придумал, как самому себе помочь. Официально вам заявляю, что больше давать вам никаких показаний не буду, сюда напрасно не ходите. Может быть, хотя бы это побудит вас оглядеться окрест себя повнимательней. Все!..

И сколько я ему ни объяснял после этого, что

он себе же делает хуже, что на суде не обрадуются такому его неправильному поведению и так далее, и тому подобное, он даже бровью не повел, отвернулся от нас к окну, будто его не касается, и больше ни слова не произнес, как глухонемой.

Я бы еще, может, поразорялся, но Тараскину надоело, он зевнул пару раз и сказал:

— Ну ладно, Володь, чего там. Не хочет человек говорить — не надо. Пожалеет потом, да поздно будет. Как Дружников вон — не сказал матери сразу, что к чему, а потом какая некрасивая история получилась! Пошли...

И мы вернулись в Управление. Я пересказал Жеглову наш с Груздевым разговор, если, конечно, это можно назвать разговором. Думал, он ругаться будет, но Жеглов ругаться не стал, а наоборот, ухмыльнулся криво этак — он один, по-моему, только так и умеет — и сказал:

— Вольному воля, не в обиду Груздеву будь сказано. По нашим законам обвиняемый имеет право на защиту. Хочет молчать — его право, это ведь тоже способ защиты. — Наверное, на моем лице выразилось удивление, потому что Глеб пояснил: — Ты не удивляйся, орел, у нас ведь не только рукопашная. Приходится частенько, как бы это сказать, умом, понимаешь, хитростью

схватываться. И когда обвиняемый молчит, он как бы приглашает: валяйте вы свои карты на стол, а я свои приберегу, имею право не в очередь ходить, понял? Я ваши карты погляжу, а потом свои козыри обмозгую. Так что пусть молчит...

— А как же мы будем? — спросил я.

— А очень просто. У нас свое дело — будем с уликами работать. Панков сейчас приедет — даст указания. А Груздев пусть сидит себе, думает. Денечков пять его совсем трогать не надо — пусть поварится в собственном соку. Он всю свою жизнь за это время переберет, все свои прегрешения вспомнит! Да еще прикинет, в чем мог ошибиться, промашку дать, что мы еще вынюхали, что ему на стол выложим завтра. Это он сейчас от нервного шока спал, а вскорости спать перестанет, это уж будь спок...

Приехал Панков. Жеглов отрядил меня в его распоряжение, а сам умчался куда-то с Тараскиным.

Панков поставил в угол свои шикарные галоши, на гвоздь повесил зонтик и посмотрел на меня поверх стекол очков, и снова вид у него был такой, будто он прикидывает, боднуть меня посильнее или можно повременить.

Видимо, решил не бодать меня пока, потому что

пожевал усердно верхнюю губу и распорядился:

— Дайте мне протокол осмотра...

Я принес ему дело, раскрыл на первой странице, а Панков снял с переносицы и принялся тщательно протирать очки. Делал он это очень неспешно, чистеньким ветхим носовым платком, и я снова подумал, что очки у него какие-то совсем старинные, таких теперь и не носит никто: круглые, без оправы, с желтенькой пружинкой и шнурком. Нацепил он окуляры, рассеянно махнул мне рукой — рядом, мол, садись — и принялся читать протокол, делая маленьким золоченым карандашиком какие-то непонятные отметочки на полях. Дочитав, сказал:

— Классическое корыстное убийство. Обратите внимание, молодой человек: при эмоциональных преступлениях, то есть под воздействием сильных страстей, виновные откровенны. Напротив, при корыстных мотивах они зачастую отрицают вину до последней возможности. Вчера я уже говорил об этом нашему другу Глебу Георгиевичу, но он был несколько... э... самонадеян. Отсюда следует, что, не дожидаясь признания обвиняемого, мы должны доказать его вину при помощи улик, прямых, а также косвенных. Вы ведь только начинаете? — Он снял очки, и на переносице

от пружинки остался глубокий красный след. Я кивнул, а он, не глядя на меня, продолжил: — Это дело мне кажется достаточно хрестоматийным для того, чтобы вы могли получить первое глубокое впечатление об основных признаках работы, которой собираетесь посвятить себя...

— Сергей Ипатьич, а почему вы считаете это дело хрестоматийным?

— Да потому, что преступление совершено человеком неопытным и он оставил нам улики, достаточные для трех убийств. Нам остается только исследовать их, закрепить и законным порядком привязать, так сказать, к данному делу. И тогда можно его направлять в суд, даже если обвиняемый и не соизволит сознаться: улики обвинят его сами!

— А если улики не подтвердятся? — спросил я.

— Как это «не подтвердятся»? — удивился Панков. — Должны подтвердиться!.. Впрочем... э... не будем загадывать, мы же не на семинаре.

Но я человек дотошный и, несмотря на то что Жеглов уже не раз ругал меня за въедливость, все-таки переспросил:

— Хорошо, как все сойдется, а если нет? А Груздев не колется...

Панков покашлял, пожал узкими плечиками,

словно я бог весь какой глупый вопрос задал:

— Гм... Гм... Ну-у... если не сойдется... и обвиняемый отрицает вину... Суд тогда оправдает его.

— А как же убийство? — допытывался я. — Кто отвечать-то будет?

— Видите ли, молодой человек, наука считает, что не существует нераскрываемых преступлений... Так сказать, теоретически. Так что нам с вами надо поднатужиться...

— Так давайте поднатужимся, — сказал я, потому что и мне эта волынка уже начала надоедать. — Какие будут указания?

Панков, словно обрадовавшись, что я отстал от него со своими дурацкими вопросами, удовлетворенно покивал головой и сказал:

— Берите бумагу, ручку, пишите...

Ручки я не нашел, но в планшете у меня — я его с войны привез — был командирский карандаш, взял я его наизготовку, а Панков начал диктовать.

— Баллистическая экспертиза. Вопросы. Являются ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, частями одного патрона? Можно ли выстрелить этим патроном из пистолета «байярд», обнаруженного в Лосиноостровской? Выстрелена ли пуля из того же пистолета? Выбро-

шена ли гильза из того же пистолета? Пригоден ли к стрельбе тот же пистолет? Следственным и оперативным путем искать ответ на вопрос, почему преступник при наличии фирменных патронов «байярд» воспользовался патроном другой марки...

Я торопливо записывал, боясь упустить хоть одно слово, хотя мне и непонятно было, кому нужны эти тонкости, и без того очевидные. Но Панкову, думаю я, лучше известно, что надо делать.

— Медицинская экспертиза, — диктовал он. — Вопросы. Возможно более точное установление времени смерти... Стоматологически — изготовить слепок следа укуса на шоколаде для последующего сравнения с контрольными образцами... Получить таковой у обвиняемого Груздева... Далее. Исследовать групповую принадлежность слюны на окурках папирос «Дели»... Дактилоскопическая экспертиза. Проявить все обнаруженные отпечатки пальцев, сравнить с отпечатками потерпевшей, ее мужа, сестры на предмет идентификации... Комплексная химическая и органолептическая экспертиза. Выявить тождественность жидкости в бутылке с этикеткой «Азербайджанское вино. Кюрдамир» этому вину, установить наличие либо отсутствие ка-

ких-либо примесей в исследуемой жидкости, в положительном случае исследовать примеси...

Я так много и так быстро писать не привык — пальцы замлели, и я потряс ими. Панков пообещал:

— Скоро закончим. Пишите: графическая экспертиза. Установить, кем исполнена — не Груздевым ли? — записка угрожающего содержания. Для чего изъять образцы произвольного письма Груздева, контрольный текст свободного письма и текст, исполненный обвиняемым под диктовку... Дальше: следственным путем проверить содержание всех письменных документов, изъятых с места происшествия. Допросить сослуживцев потерпевшей и обвиняемого, его сожительницу. Оперативным и следственным путем — активные и неотложные меры розыска имущества потерпевшей, похищенного из ее дома... Все. — И Панков с облегчением, хотя и не без самодовольства, посмотрел на меня.

— Более или менее понятно, — сказал я. — Это мы будем исполнять?

— Со мной в контакте. Для начала я вынесу постановление об экспертизах, а вы свяжитесь с экспертами.

Оставив для нас целый список неотложных

«оперативных и следственных мероприятий», Панков положил в футлярчик очки, надел свои резиновые броненосцы, взял зонтик, отбыл; и почти сразу же пришел Жеглов, чем-то весьма довольный. Но расспрашивать его я не стал: захочет — сам расскажет, а показал ему панковский списочек.

— Солидно, — хмыкнул Жеглов. — Но все правильно. Черт старый, следственные дела мог бы и себе оставить, нам оперативных выше головы хватает. Да ладно уж, у них дел по тридцать на одного следователя в производстве. Если мы станем дожидаться, пока он сам сделает... Э-эх, ладно. Пошли питаться?

Питаться — это хорошо! Я питаться в любой момент был готов, прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался, — говорят, аппетит отбивает, но у кого, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно, мы все там сытые были, куда уж, а от баловства; привычка это у них такая. Эх, сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал, все ж не так голодно. Да чего там, где она, та резинка, да и харчи наши фронтовые

вспоминать не хочется...

— Есть, товарищ начальник, питаться. Разрешите идти?

Не успел Жеглов рта раскрыть, в дверь постучали. Вошел генерал, летчик, плащ на руках. И орденов тьма-тьмущая, — у летчиков-то их всю жизнь больше всех было! — и Звезда Героя. Мы оба по стойке «смирно»:

— Здравия желаем, товарищ генерал!

А он сказал:

— Вольно. Это МУР?

— Так точно, товарищ генерал, — сказал Глеб и представился: — Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Жеглов!

— Очень приятно, — улыбнулся генерал. — Моя фамилия Ляховский.

— А-а, как же, как же, товарищ генерал... — тоже заулыбался Глеб, а я сразу вспомнил, что он мне на дежурстве рассказывал, да не дорассказал про украденную у генерала «эмку». — Нашли вашу голубушку, уж постарались как положено...

— Точно. Все в полном порядочке. А я-то расстроился — привык к ней, и вообще обидно: из-под носа увели, мерзавцы. Но доблестная милиция оказалась на высоте...

— Иначе невозможно, товарищ генерал, — гор-

до сказал Жеглов. — Неужели дадим распоясаться преступному элементу в нашей славной столице? Да еще машины у наших замечательных героев воровать? Никогда!

Ляховский подошел, взял Жеглова за руку, сказал с чувством:

— Вот я и зашел — дай, думаю, лично поблагодарю товарищей. Молодцы.

— Правильно, Александр Васильевич! — одобрил Жеглов. — А то у нас работают ребята как звери, а благодарности сроду не дождешься. Конечно, мы не за «спасибо» работаем, но слово доброе, а уж от такого человека, как вы, особенно дорого.

Генерал добродушно улыбался, и было видно, что слова Глеба ему приятны. А тот уже совсем обжился:

— Александр Васильевич, нам ничего такого — ни письма в газету, ни разных там других подобных вещей — не нужно. А вот зашли — и это нам исключительно радостно и приятно...

В лице Ляховского появились сразу и озабоченность и облегчение:

— Слушайте, да ведь это мысль — насчет газеты! Мне самому как-то в голову не пришло. У вас своя газета?

— Да, «На боевом посту», здесь же и находится.

— Прекрасно. Просто прекрасная мысль. Вы меня извините, я не расслышал — ваша как фамилия?

— Жеглов, капитан милиции, — скромно сказал Глеб.

— А ваша? — повернулся генерал ко мне.

— Старший лейтенант Шарапов, товарищ генерал-майор, — по-уставному ответил я и добавил: — Только, разрешите доложить, я к этому делу ни малейшего отношения не имею...

— Ясно, — кивнул генерал, что-то записал в маленькую книжечку в алюминиевой обложке, попрощался с нами за руку и ушел.

— Глеб, ты что? — спросил я. — Мы-то здесь при чем? Ведь машину, как я понимаю, ребята из розыскного отделения ОРУДа нашли, нет?

Жеглов удивленно посмотрел на меня:

— Ну и что? Как это «мы здесь при чем»? Что ж, по-твоему, ребята из ОРУДа посторонние нам? Ты эти закидоны брось, Шарапов, мы одно дело делаем. Нас хвалят, — значит, их хвалят. Их ругают, — значит, нас ругают. И я не знаю, где ты привык, Владимир, вот так выставляться — на разведчика даже и не похоже...

Мне как-то совестно стало, но потом я вспом-

нил про газету и сказал:

— Вот напишет он в газету, что ты его «эмку» нашел, тогда покрутишься...

— Кабы ты чуток умнее был, Шарапов, то знал бы, что фамилии оперативных работников газета не оглашает. Напечатают заметку, вырежут и направят кому следует. А Жеглов, коли надо будет, пригласит на комсомольское собрание героя-летчика Ляховского — это всем полезно и интересно. Уразумел?

Все это он произнес уже по дороге в столовую, и мне оставалось только подивиться находчивости Жеглова и его быстромыслию. Я ему так и сказал и добавил, что у нас в разведке очень не хватало такого парня, как он. А Глеб засмеялся, ему мои слова понравились, он обнял меня по-дружески за плечи и сказал:

— Ладно уж, мыслитель! Давай подзаправимся — и марш к экспертам, нам с груздевским делом телиться нечего, закончим его по-быстрому и пора всерьез «кошками» заняться, что-то надоедать они мне стали...

* * *

ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В продукции артели «Метпромсоюз» видное место занимают врезные дверные замки, инструменты, металлоизделия, алюминиевая посуда. Освоены стулья, шкафы, пружинные матрасы. Среди новинок, которые появятся еще в текущем году, — металлические детские сани, трехколесные велосипеды, электропроигрыватели, шашки и домино из пластмассы.

«Труд»

На другое утро, едва мы вошли в дежурную часть, Соловьев бросил телефонную трубку на рычаг и крикнул:

— По коням, ребята! «Черная кошка» опять магазин взяла...

И пока наш старый верный «фердинанд» катил в сторону Савеловского вокзала, я думал о том, что у Жеглова наверняка есть дар предчувствия — только вчера перед вечером он говорил со

мной о «кошках». Сейчас он сидел впереди у окна, нахохлившийся, сердитый, мрачно смотрел на нас. Тараскин спросил у Гриши:

— А почему картина называется «Безвинно виноватая»?..

Гриша захохотал, а Жеглов сказал сердито:

— Вот если я еще раз узнаю, что ты сторублевку от жены в ствол пистолета заначиваешь, я тебя сделаю по вине виноватым...

— А как быть, Глеб Георгиевич? — взмолился Коля. — Ей бы с нюхом-то ее у нас работать! В прошлый раз в кобуре спрятал — нашла! А пистолет трогать она все-таки опасается...

Я устроился на задней скамейке и куском проволоки силился прикрепить подметку — ботинок вовсю просил каши. Проволока, к сожалению, была сталистая — она пружинила, вылезала из шва и держала неважно. Но я надеялся дотянуть хоть так до вечера, а дома уже разобраться с подметкой всерьез...

Это был, собственно говоря, не магазин, а склад: мелкооптовая продбаза на Башиловке, недалеко от милицейского общежития. Старый двухэтажный кирпичный дом без окон, длинный навес для машин и подвод, небольшой грязный двор, огороженный для блезиру хлипким забором. Во

дворе, около забранной жестью двери, ведущей в склад, толпились люди в телогрейках поверх белых халатов, их сердито расспрашивал о чем-то небольшого роста мужчина в кожаном пальто и комсоставской фуражке. По тому, как почтительно ему отвечали, я сообразил, что сытый кожаный дядя и есть какое-то высокое продовольственное начальство. Рядом с дверью стоял участковый с безучастным, скучающим лицом — охранял место происшествия.

— Сторож где? — спросил Жеглов участкового, и тот кивнул на древнего дедка с зеленой от махорки бородой. Жеглов подозвал его, и дед, шамкая, непрерывно сморкаясь из-под руки, начал длинно и путано объяснять, что шел дождь, что он укрылся от него под навесом — с фасада, — что он недослышит по старости — «вот они, жулики, знать, сзаду и подобрались». Ни того, как вошли в склад воры, ни как вышли, дед не слышал, по-видимому, крепко спал и покражу обнаружил, когда рассвело и он увидел вырванный вместе с петлями навесной амбарный замок.

Пасюк остался осматривать дверь и замок, остальные в сопровождении директора прошли внутрь базы. Еще на двух дверях были взломаны замки: вскрыли винно-бакалейную и мясную

секции. Сначала осмотрели мясную, внутри которой от холодильных установок был декабрьский мороз.

На перевернутом ящике сидел совершенно окоченевший котенок; маленький, черный, он разевал красный треугольный рот и жалобно мяукал.

Директор сказал растерянно:

— Вот он — их бандитский знак...

Глупость, конечно: ну какой там знак — обычный маленький котишка! Но оттого, что подбросили этот жалкий мяукающий комочек бандиты, все смотрели на него с удивлением, интересом, а некоторые — просто со страхом, будто был этот несчастный котенок ядовитым.

Жеглов поднял его за шкирку и вглядывался в него, будто прикидывал, нельзя ли получить от него какие-нибудь сведения. Но кот только мяукал, судорожно поводя растопыренными лапками.

— А не мог кто-нибудь из сотрудников его здесь оставить? — спросил Глеб.

— Что вы, товарищ начальник! — взмахнул блестящими кожаными рукавами директор. — Санинспекция запрещает, да и некому тут...

Жеглов сунул котенка Тараскину, Коля спрятал

его за пазуху, и кот сразу затих.

— Тогда считать мы стали раны... — сказал Жеглов. — Давайте смотрите, что взяли...

Завсекцией, здоровенный красноносый мужик с медвежьими глазками, оглядываясь по сторонам, бормотал:

— Так, вроде все на месте... Ага... Ага... Вторая камера и была отпертая, нет в ей ничего... Ага... — И вдруг голос его упал; он повернулся к директору, и на лице его был испуг: — Вартан Иваныч, меланж!

— Что «меланж»? — раздраженно спросил директор — Украли?!

— Украли... — тихо сказал завсекцией и пояснил нам: — Банка здесь была, двадцатикилограммовая, к праздникам держали...

— Меланж — это что? — спросил Жеглов.

— Яичный порошок, — торопливо сказал директор. — Высшего качества, импортный... Ай-ай-ай, для госпиталя приготовили, а они, сволочи...

— Консервов нет, — объявил завсекцией. — Три ящика американских, с ключами...

— Мясо? — коротко спросил директор.

— Не, бекон, мясо уже распределили...

— Ящики большие? — спросил Жеглов. — Тяжелые?

— Метровые, — буркнул завсекцией. — В ширину по полметра будут. Примерно, конечно. А вес брутто я вам точно сейчас скажу... — Он достал из кармана пачку накладных, пошелестел ими. — Вот... Двенадцать дюжин банок... так... нетто... Вот, брутто — семьдесят два кило, без ящика...

— Понятно, — кивнул Жеглов. — Остальные в сохранности?

— Да вроде... — неуверенно протянул завсекцией. — Инвентаризацию надо делать...

В винно-бакалейной секции преступники взяли ящик наливки «Спотыкач», коробку шоколада «Серебряный ярлык», ящик сахарина — тридцать пять килограммов, пять пачек папирос «Герцеговина Флор».

— А почему вы думаете, что пять пачек? — спросил Жеглов молоденькую заведующую, испуганно глядевшую на оперативников.

— Я не думаю, я точно... — сказала она уверенно. — В одной вязке — двадцать пачек. Всего вязок было три, две вон лежат, а одна была начатая, я лично десять пачек в Наркомат заготовок отпустила. Значит, десять еще оставалось, а в наличии — видите? — только пять.

— Так-так... — Жеглов походил по секции, обратился ко мне: — Ну, орел, какие есть сооб-

ражения?

Мне сделалось неловко, потому что никаких особых соображений не было и я уже пару раз ловил себя на пустом мечтании, что если бы можно было залететь на место происшествия в тот момент, когда там жулики шуруют, вот тут бы я себя показал, я бы им, сволочам, устроил! Но поскольку все это было несерьезно, я для солидности покашлял в кулак:

— Я так полагаю, что жуликов человек пять было: каждый себе взял по пачке «Герцеговины». А больше брать не стали, потому — баловство и руки товаром, понимаешь, заняты... Так? — И поскольку Жеглов ничего не говорил, сам себе ответил: — Я полагаю, так. Теперь: им тут ночевать некогда, а ящики тяжелые, вдвоем еле унесешь... сколько их, мест, значит, постой... Три да одно — четыре, да еще три — семь мест, семь ходок, значит, если вдвоем. А сюда ходить, что ни говори, — риск, в любой момент могут застукать. Значит, вчетвером — всего три-четыре ходки... Надо во дворе следы искать, они от тяжести должны быть глубокие, да пролом в заборе — там, где добро вынесли...

Когда, выйдя во двор, мы обнаружили близ забора четыре пары явственных следов, а в кон-

це их цепочки три доски, выбитые из забора, а потом аккуратно вставленные обратно, Жеглов сказал, усмехаясь:

— Следопыт! Везет тебе — вон какая погода стоит сырая, земля каждый отпечаток сохраняет. Только вот с асфальтом как будем?..

Действительно, с асфальтовым тротуаром за забором оказалось сложнее: был он грязен, безнадежно затоптан сотнями с утра прошедших здесь людей, и о том, куда двинулись отсюда воры, судить было трудно. Впрочем, мы все сошлись на одном, наиболее вероятном: жулики прямо к пролому в заборе подогнали машину, быстро погрузили похищенное и скрылись.

Пока эксперт гипсовал следы во дворе, Жеглов в кабинете директора базы провел небольшое собрание.

— Значитца, так, товарищи, — сказал он коротко и ясно. — О том, как вы охраняете народное добро, об этом будет отдельный разговор, и виновные ответят по всей строгости. Я тут прикинул — взяли у вас товаров тысяч на восемьдесят. По рыночным ценам, конечно. Это раз. Дальше: организуйте комиссию, чтобы снять остатки и навести учет — все ли похищенное зафиксировали и так далее. Без обид и, как говорится, без

личностей хочу предупредить: не дай вам бог — кому-нибудь из матерьяльщиков — вздумать примазать чего-нито к похищенному: воры, они ведь все как есть покажут, когда возьмем мы их...

И столько было несокрушимой уверенности у Жеглова в том, что он возьмет воров, будто за угол выйдет и из соседнего дома дворника приведет, что кладовщики враз и согласно закивали, прижимая к сердцу руки: мол, дело ясное, всем понятное и как же может быть иначе?

А он продолжал свою речь:

— Это, значитца, два. И третье: нынче же обеспечьте охрану социалистической собственности должным образом, а то вас вчерашние гости по новой оглоушат! Все...

Я приехал в Управление около шести часов и сразу же направился в столовую. Я уже заметил, что все последнее время испытываю неутихающее чувство голода — даже не голода, а какой-то хронической несытости. Наверное, мой здоровый организм бунтовал против скудного городского пайка, привыкнув к доброму армейскому приварку, который к тому же разведчики ухитрялись усиливать и разнообразить за счет «боевой подвижности и тактического маневра по тылам

врага», как выражался старшина Форманюк.

Над окошком кассы клочок бумаги доводил до сведения сотрудников: «Имеются в продаже белковые дрожжи (суфле) в качестве дополнительного бескарточного блюда». Я охотно выбил чек на три порции суфле, рассудив, что после долгого пребывания на воздухе полезно поддержать гаснущие силы любыми средствами, и пошел в зал. У раздачи назревал скандал: красный от возмущения Пасюк, держа на огромной ладони тарелку, допрашивал молоденькую веснушчатую повариху:

— Шо це таке за суп, перший раз бачу — холодная вода с рисом та сухохфруктамы? Як его исты?!

— Да вы поймите, — оправдывалась курносая, — это заграничное ресторанное блюдо, очень вкусное и полезное, — фруктовый суп!

— Та плювать мени на заграныцю, я ее усю ногами пройшов! Якой то суп, як вин сладкий, то не суп, а компот! А з рыса гарна каша, а не компот, тю... Борщ мени давайте! — И Пасюк решительно сунул девушке тарелку.

— Вот народ несознательный, — посетовала повариха, но спорить не стала и налила Пасюку полную до краев тарелку борща; и он пошел,

довольный, за столик, а несознательный народ вокруг, досыта насмеявшись, стал просить девушку выдавать борщ на первое, а новомодный суп — на третье.

Мне удалось получить у нее оба супа, у другой раздатчицы я взял гуляш и три стакана суфле — густой серой жидкости с фиолетовым оттенком, не слишком аппетитной на вид, — и пристроился на освободившееся место у окна, рядом с Пасюком, который, покончив с борщом, сообщил мне последние новости. По заданию Жеглова он побывал на работе у Ларисы Груздевой, в драмтеатре, и узнал, что за день до убийства она уволилась. В костюмерной она говорила, что собирается для начала отдохнуть на юге.

— А где именно, с кем? — поинтересовался я.

— Вона казала, що у Крым поидет, чи как... Або з кем — невидомо. Кажуть ти костюмеры, шо дуже гарная була вона баба, добра та несварлива. Принесла, кажуть, на прощание торт, та була дуже в гарном настроении...

Я обсосал мослы, которые назывались гуляшом, подумал вслух:

— Странно... Надя ничего насчет ее увольнения и поездки на юг не говорила. Надо бы ее переспросить — не могла же она не знать о таких

планах Ларисы?

— Должна була знаты, — согласился Пасюк. — Тем более шо у тот же день Лариса сняла со сберкнижки уси свои гро́ши...

— Какие гро́ши? — удивился я. — У нее разве были деньги?

— Булы, — подтвердил Пасюк. — Жеглов по телефону разузнав, иде воны булы, в якой касси, а я поехав. Кассирша справку дала — от, бачь...

Пасюк вынул из кармана гимнастерки сложенный вчетверо листок — справку сберкассы. Счет Ларисы был заведен в тридцать девятом году, постепенно пополнялся и достиг к двадцатому октября восьми тысяч пятисот рублей, которые в этот день были получены полностью.

— Сразу все деньги сняла?.. — удивился я.

— От и кассирша мени казала, шо просыла ее счет нэ закрывать, хоть пьять червонцив оставить... Алэ Груздева отказалась...

Попробовал суфле — это было довольно вкусно, и я с удовольствием выпил все три стакана. Пасюк дождался меня, и мы поднялись в кабинет. Пасюк устроился за столом писать рапорт о проделанной работе, а я, сытый и вполне удовлетворенный сегодняшним обедом, который был одновременно и ужином, принялся расхаживать

по кабинету, размышляя о новостях, добытых Иваном. Мне казалось, что они имеют какую-то связь с происшедшими событиями, но уловить эту связь я пока не мог...

* * *

НУЖЕН УКСУС — БЕРИ «КАБУЛЬ»! Странные порядки существуют в продмаге № 3 (Старопетровский пр.). Если потребителю нужен уксус, то его можно купить только в комплекте с соусом «кабуль». Витаминная паста продается с таким же количеством фруктово-овощного повидла (по карточкам). На протесты потребителей, завмаг отвечает: «У нас такой порядок. Не нравится — не берите!»

Из письма в редакцию

К вечеру движение и суета в коридорах Управления усилились. Я уже начал ощущать внутренние ритмы своего непростого учреждения и поэтому сообразил, что готовится очередная городская операция. Жеглов в таких случаях объяснял: «Изменилась оперативная обстановка в городе». Его самого с полчаса назад вызвали к руководству, и я видел, как по длинному коридору, ведущему к кабинету начальника МУРа, потянулись начальники отделов, бригад и опергрупп.

Тараскин сидел за большим столом, писал какие-то запросы. То ли бумага была дрянная, то ли перо царапало, а скорее всего, с письменностью у Коли было не слава богу, но строки на листе расплывались, задирались буквы, помарки и кляксы росли, пока, чертыхаясь, Коля не взял новую страничку и не принялся писать запрос заново.

Иван Пасюк читал учебник истории. Время от времени он, поднимая голову и раздумчиво чмокая сухими губами, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Елки палки, це ж надо — Столетняя война! Це ж надо — сто лет воевать! С глузду зъихать можно...

Пасюк учился в шестом классе вечерней школы, учился безнадежно плохо, и его грозились перевести обратно в пятый класс. По литературе учительница уже отказалась аттестовать его в первой четверти, потому что в домашнем сочинении «Почему мы любим Гринева и ненавидим Швабрина?» Пасюк написал: «Я не люблю Гринева, потому что он бестолковый барчук, и не скажу, что ненавижу Швабрина, потому как он хотя бы вместе с Пугачевым стоял против ненавистного царизма». Жеглов, узнав об этом сочинении, хохотал до слез и сказал, что Пасюка правильно

выгонят из школы — если ты такой умный, то ходи в Академию наук, а не в шестой класс...

Шесть-на-девять рассказывал мне какую-то невероятную историю, о том, как его безумно любила известная укротительница зверей, но ее отбил у него поляк фокусник, обращавшийся к дрессировщице не иначе как «наипенькнейшая паненка»... Врал Гриша безыскусно, но вдохновенно, и, глядя сейчас на его толстые очки, запотевшие от возбуждения, вздымающуюся цыплячью грудь и широкие взмахи тощих рук, я не сомневался, что фотограф и сам верит в эту небывалую любовь с укротительницей. Гриша наверняка бы еще многое припомнил из их замечательного романа, но пришел ухмыляющийся Жеглов и скомандовал:

— Подъем, братва! Общегородская операция... Начальство распорядилось проверить опергруппами — при поддержке территориальной милиции — все неблагополучные места, где имеет обыкновение собираться преступный элемент, «безопределенщики» и девицы сомнительного поведения.

Жеглов похохатывал своим звонким баритончиком и мотал головой, будто его кто-то щекотал.

— Ничего смешного не бачу, — сказал Пасюк. — Опэрация як опэрация. Нормальная прочистка...

— Это-то точно, но вот другое смешно, — веселился Жеглов. — Поп из церкви у Покровки, епископ Филимон, вчера двух девок домой пригласил, уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал, только надергались они сливянки. Поп, естественно, так жрать наливку не может, как эти девицы, и заснул. А они махнули у него наперсный крест золотой и подорвали оттуда когти...

— Что же это, выходит, из-за попа какого-то блудного весь сыр-бор загорелся? — возмущенно вздыбился за столом Тараскин, которому уже до смерти надоела писанина.

Жеглов резко оборвал смех, будто швейной машинкой губы сострочил. Посмотрел на Тараскина сверху вниз, потом, избочась, словно разглядеть хотел, откуда этот фрукт тропический здесь взялся, сказал не спеша и каждое словечко, как семечко, через губу сплевывал:

— А по-вашему, товарищ Тараскин, выходит, что если он не токарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране и правозащита не гарантирована?

— Пусть с бабами срамными не валандается,

— мрачно сказал Коля.

— Твоя забота, Тараскин, преступление раскрывать, а не за моральным обликом епископов следить. А уж синод ихний пусть разбирается по части блуда... Мы же с тобой должны разыскать вещь, имеющую огромную художественную ценность, понял? Они завтра этот византийский крест сплавят барыгам, а те его в лом перемнут, им наши культурные ценности до лампочки.

Мне было не очень понятно, чего это так Глеб сердцем ударяется об украденный епископский крест, но я уже научился улавливать оттенки жегловских интонаций, особенно когда тот «воспитывал» опергруппу, и мне показалось, что весь этот разговор — просто так. Еще утром я видел в дежурной части попа — дряблого тряпочного мужичишку с постным благостным лицом, без признаков возраста или особых примет. И мне показалось неправдоподобным, чтобы такой невзрачный человек еще интересовался женщинами.

А сейчас, слушая Жеглова, я понял, что уж конечно не из-за неудачных похождений попа руководство назначило общегородскую операцию. Видимо, по чьей-то разработке ищут какого-то преступника, связанного с женщинами, а

информировать аппарат шире считают нецелесообразным. А уж заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест.

И окончательно убедился я в своем предположении, когда Жеглов сообщил приметы — приметы трех женщин. Взглянул я на Пасюка и по его спокойному и невыразительному лицу понял, что тот думает так же, как я. Тараскин еще бурчал что-то себе под нос, но его уже поволок за собой увлеченный азартом предстоящей облавы Шесть-на-девять...

В коммерческом ресторане «Нарва» было намечено закончить наши бесполезные вечерние странствия — попадалась все больше мелочь, шушера. Мы подошли к дверям, и швейцар с красным костистым лицом закричал сердито, так, что жилы веревками надулись на висках:

— Заняты все места! И не ломитесь, граждане! Имейте совесть и честь!

Жеглов засмеялся:

— Вот как раз у тебя и займем маленько! Открывай, мы из МУРа...

Опали жилы на висках, и засветился масляной улыбкой, душой возрадовался, желто оскалился швейцар, будто папа родной забежал на огонек, стопку дернуть, о дорогом поговорить:

— Заходите, товарищи, заходите, для вас местечко мигом сорганизуем...

Тараскин гордо сказал:

— Наше место давно без вас сорганизовано!

Жеглов покосился на него, хмыкнул, сказал негромко и веско:

— Дверь на замок, никого не выпускать — проверка документов. Ты, Шарапов, стой у дверей...

Плотной литой группой ввалились они в зал. Жеглов махнул рукой оркестру, наяривавшему модную «Розамунду», и музыканты послушались его сразу, как хорошего дирижера. Еще мгновение глухо бубнил и бился о потолок ресторанный волглый шум и в углу сильно хмельной мордач орал блажным голосом: «О-о, Розамунда!..»

— Граждане, прошу прощения, — сказал Жеглов. — Простая формальность — приготовьте свои документы и сидите спокойненько на своих местах...

Он быстро обходил столики небольшого ресторана и, внимательно прочитав документы, тщательно осматривал владельцев паспортов и удостоверений; и взгляд его был так плотен и тяжел, что даже мне со стороны казалось, будто Жеглов ощупывает лица людей. И чувствовали они себя под его взглядом, наверное, неуютно,

потому что, получив назад документ, многие облегченно вздыхали и говорили «спасибо».

Тем, у кого документов не было, Жеглов вежливо и бесповоротно твердо предлагал отходить в сторону, где их ждал безмолвный и несокрушимый Пасюк. Все они возмущались и доказывали Пасюку, что задерживать их не имеют права. Пасюк кивал головой согласно:

— Совершенно верно. Абсолютно справедливо. Але документы трэба носить с собой.

Я так увлекся этим зрелищем, что подошел к дверям в зал и не сразу услышал, как позади скрипнула входная дверь. Мгновенно я обернулся и увидел, что костистый швейцар тихонько задвигает вновь щеколду, а дверь в дамский туалет еще приоткрыта. Я крикнул громко:

— Тараскин, на мое место! — оттолкнул швейцара и выскочил на Самотеку. Впереди меня через Садовое кольцо бежала женщина. Я рванул за ней, но у скоса тротуара зацепился левым ботинком за камень, и проклятая подошва, которая все эти дни дышала на ладан, с треском отлетела. Бежать с оторванной подметкой было очень неловко, но я ведь все равно бежал гораздо быстрее женщины — смешно и говорить, непонятно, на что она рассчитывает!

— Гражданка, остановитесь! — крикнул я сердито, но она побежала еще быстрее, и судя по скорости, это была совсем молодая и очень здоровая женщина.

Из музыкальной детской школы на углу высыпала целая толпа детворы с родителями. Я почему-то подумал о том, что дети занимаются в три смены — до позднего вечера, — и эта совершенно неуместная сейчас мысль меня разозлила. Девица, которая и так была плохо видна в темноте, врезалась в толпу людей со скрипичными футлярами и папками. Но мои глаза уже привыкли к сумраку, и я разглядел ее светлую косынку и еще увидел, что она схватила за руку какого-то пацана, взяла у него нотную папку и чинно зашагала рядом. Проволакивая за собой совсем отлетающую подошву, я догнал их и схватил ее за плечо:

— Эй, мадам, вас касается! Я вам кричу!

— Мне? — подняла она белесые, подкрашенные карандашом брови. — А чего надо?

Мальчишка с футляром, обалдевший от происходящего, онемело смотрел на нас.

— Отдайте ребенку папку и следуйте за мной! — строго сказал я.

Девица посмотрела на меня с прищуром, види-

мо соображая, что открутиться не удастся и номер ее не выгорел, хрипло засмеялась и сказала:

— Вот же суки, консерваторию кончить не дадут!.. — сунула папку в руки мальчику и пошла вместе со мной.

Я ввел ее в вестибюль ресторана, держа за руку, и грозно придвинулся к швейцару, пятившемуся к своей тумбочке у входа в туалет:

— Вы почему выпустили отсюда эту женщину?

— Так я... значит... думал... я не понял... решил, что с вами... — млел и блеял старик, и лысая хрящеватая голова его, как китайский фонарик, меняла постепенно цвета от блекло-серого до воспаленно-багрового. В это время вышел из зала Жеглов и, как ни в чем не бывало, сказал:

— Молодец, Шарапов, хорошо бегаешь. Маленько внимательности еще — цены тебе не будет. Ба! Да это же знакомые мне лица! — воскликнул он, широко разводя руки, словно хотел обняться с задержанной девицей, но обниматься и не подумал, а сказал жестко: — Я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют, ты все такая же попрыгунья-стрекоза. Считай, что лето красное ты уже отпела, пора тебя за сто первый километр выселять...

Я только сейчас как следует рассмотрел Маню:

хорошенькое круглое личико с круглыми же кукольными глазами, губы накрашены сердечком, и завитые желтые локоны уложены в модную сеточку с мушками. Под круглым зеленым глазом светился наливной глянцевитый фингал, переливающийся, словно елочная игрушка.

Жеглов обернулся в зал и скомандовал:

— Пасюк, Тараскин, усаживайте беспаспортных в автобус! — Потом повернулся ко мне: — Вот, Володя, довелось тебе поручкаться с Манькой Облигацией — дамой, приятной во всех отношениях. Только работать не хочет, а наоборот, ведет антиобщественный образ жизни...

— А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтобы про мой образ жизни на людях рассуждать?! — бешено крикнула Манька Облигация и выругалась матом так, что я, глядя на эти губы сердечком, выбросившие в один миг залп выражений, не всякому артиллерийскому ездовому посильных, просто ахнул от неожиданности.

Жеглов рассмеялся и сказал:

— Ох, Маня, Маня, ты мне так молодого человека совсем испортишь...

Он огляделся, нашел взглядом швейцара, тулившегося в тени около раздевалки, кивнул ему:

— Я о тебе, старик, чуть не позабыл в суматохе.

— Подошел к его тумбочке, бесцеремонно открыл шкафчик и стал выгребать оттуда обеими руками пачки американских сигарет «Кэмел», запечатанные маленькие бутылочки одеколона, заграничные презервативы, похабные открыточки. — Да-а, у тебя тут целый склад. Магазин для кобелирующих личностей. Все, собирайся, старик, поедешь с нами...

Около нашего «фердинанда» Манька Облигация поскользнулась, я подхватил ее под руку и, подсаживая в машину, наткнулся рукой на браслет, плотно охватывавший запястье. В тусклом свете внутри машины было его не разглядеть как следует, но мне показалось, что браслет по форме сделан в виде змеи.

Жеглов встал на подножку, огляделся, махнул рукой:

— Трогай, Копырин. Наш паровоз, вперед лети...

Задержанные возбужденно переговаривались. Манька глянула на них с полным пренебрежением:

— Эй вы, фраера битые, чего трясетесь? — Захохотала и запела непристойную песню.

Копырин прислушался к словам, оторопело покачал головой и задумчиво сказал:

— Странный народ эти шлюхи — ни дома им не надо, ни семьи, ни покоя, ни достатка, а надобен им один срам!

Я пересел к Жеглову на переднее сиденье и негромко сказал:

— Мне кажется, что на руке у Маньки браслет в виде змеи.

— Да? — заинтересовался Жеглов и нагнулся к девице: — Маня, а не скажешь мне по старой дружбе, с кем это ты так красиво отдыхала?

— А тебе что? Неужто меня ревнуешь? Так ты только скажи, я тебе все время буду верная. Ты парень хоть куда! Губы у тебя толстые, а зад поджарый, — значит, в любви ты горячий...

— Про нас с тобой мы еще поговорим, а покамест ты мне про кавалера скажи. Может, я его знаю?

Манька засмеялась:

— Ты-то, может, и знаешь, а я вот имени-отчества его спросить не успела...

— А чего же ты побежала тогда?

— Так я только выходить из уборной стала, как и вы в дверь насунулись. Ну, думаю, пусть пройдут — мне с тобой лишний раз здоровкаться мало радости.

— А чего же ты со мной поздороваться не хо-

тела? — И добро, почти ласково, взяв ее за руку, погладил по рукаву Жеглов и, словно забыв, оставил ее ладонь в своей руке, только чуток, совсем еле-еле, потянул на себя — и вылезло из рукава запястье.

Даже здесь, в полумраке, я отчетливо разглядел червленую желтую ящерку с мерцающим зеленым глазком.

— Больно надо! Ты же обещал меня еще в прошлый раз упечь? — удивилась Манька очевидной глупости жегловского вопроса.

Жеглов отпустил ее руку и встал.

— Да, Маня, это ты, пожалуй, права. На сей раз я тебя точно упеку...

Толпой ввалились в дежурную часть, и Манька привычно направилась вслед за остальными задержанными к барьеру, но Жеглов остановил ее:

— Маня, с тобой у нас разговор особый, идем пошепчемся. — А дежурному крикнул: — Соловьев, проверишь этих пятерых, если в порядке — пусть гуляют. Швейцара не отпускай, мы с ним еще потолкуем про разные всякости. Рапорт тебе мои ребята принесут...

Махнул рукой мне — давай, мол, за мной, — вместе с Манькой мы поднялись на притихший и опустевший второй этаж, пришли в кабинет,

не спеша расселись, и Жеглов сказал невзначай, будто случайно на глаза попалось:

— Красивый, Маня, у тебя браслетик...

— Еще бы! Вещь старинная, цены немалой!

— Сколько платила?

Манька подумала немного, глянула Жеглову в лицо своими кукольными нежными глазками:

— Не покупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина...

— Ну-у? — удивился Жеглов. — Маня, ты же в прошлый раз говорила, что матери своей и не помнишь?

Манька сморгнула начерненными длинными ресницами, а глаза остались неподвижными, пустыми, без выражения:

— И чего из этого? Не отказываюсь! Память мамочкину папа мне передал, погибший на фронте, и сказал, уезжая на войну: «Береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой». И сам тоже погиб, и осталась я сироткой — одна-единственная, как перст, на всем белом свете. И ни от кого нет мне помощи или поддержки, а только вы стараетесь меня побольнее обидеть, совсем жуткой сделать жизнь мою, и без того задрипанную...

Жеглов поморщился:

— Маня, не жми из меня слезу! Про маму твою ничего не скажу — не знаю, а папашку твоего геройского видеть доводилось. На фронте он, правда, не воевал, а шниффер был знаменитый, сейфы громил, как косточки из компота.

— Выдумываете вы на нашу семью, — сказала горько Маня. — Грех это, дуролом ты хлебаный... — И снова круто заматерилась.

— Ну ладно, — сказал Жеглов. — Надоело мне с тобой препираться.

Маня открыла сумочку, достала оттуда кусок сахару и очень ловко бросила его с ладони в рот, перекатила розовым кошачьим языком за щеку и так, похожая на резинового хомячка в витрине «Детского мира» на Кировской, сидела против оперативников, со вкусом посасывая сахар и глядя на них прозрачными глазами. Жеглов устроился рядом с ней, наклонив чуть набок голову, и со стороны они казались мне похожими на раскрашенную открытку с двумя влюбленными и надписью: «Люблю свою любку, как голубь голубку». И совсем нежно, как настоящий влюбленный, Жеглов сказал Мане:

— Плохи твои дела, девочка. Крепко ты вляпалась...

И Маня спокойно, без всякой сердитости ска-

зала:

— Это почему еще? — И бросила в рот новый кусок сахару и при этом отвернулась слегка, словно стеснялась своей любви к сладкому.

— Браслетик твой, вещицу дорогую, старинную... третьего дня с убитой женщины сняли.

Жеглов встал со стула, прошел к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нем бумажки, и лицо у него было такое, будто он сообщил Маньке, что сейчас дождик на дворе — штука пустяковая и всем известная, — и никакого ответа от нее он не ждет, да и не интересуют его ни в малой мере ее слова.

А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечевкой отрывающуюся подметку, но и с бечевкой она не держалась; я показал Жеглову ботинок и сказал:

— Наверное, выкинуть придется. Сапоги возьму на каждый день...

— А ты съезди на склад — тебе по арматурному списку полагается две пары кожаных подметок в год.

— Где склад-то находится?

— На Шелепихе, — сказал Жеглов и объяснил, как туда лучше добраться. — Заодно получишь зимнее обмундирование.

Мы поговорили еще о каких-то пустяках, потом Жеглов встал, потянулся и сказал Маньке:

— Ну, подруга, собирайся, переночуешь до утра в КПЗ, а завтра мы тебя передадим в прокуратуру...

— Это зачем еще? — спросила она, перестав на мгновение сосать сахар.

— Маня, ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы, уголовный розыск, в общем-то пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела — об убийствах — расследует прокуратура.

— По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрасстрельную статью? — сообразила Маня.

— А что же тебе за него — талоны на усиленное питание? Угрохали вы человека, теперь пыхтеть всерьез за это придется.

— Не бери на понт, мусор, — неуверенно сказала Маня, и я понял, что Жеглов уже сломал ее.

— Маня, что за ужасные у тебя выражения? — пожал плечами Жеглов. — Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты все это в прокуратуре говори, нам — до фонаря...

— Как до фонаря?! — возмутилась Маня. — Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь,

что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела...

— Знаю, — кивнул Жеглов. — Было. Но время идет — все меняется. А кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает, может, на самом деле убила ты женщину, а браслетик ее — на руку. Как говорят среди вашего брата, я за тебя мазу держать не стану.

— Да это мне Валька Копченый вчера подарил! — закричала Манька. — Что мне у него, ордер из Ювелирторга спрашивать, что ли? Откуда мне знать, где он браслет взял?..

— Перестань, Маня, это не разговор. Ну, допустим, мог бы я за тебя заступиться. И что я скажу? Маньке Облигации, по ее словам, уголовник Валька Копченый подарил браслет? Ну кто это слушать станет? Сама подумай, пустая болтовня...

— А что же мне делать? — спросила Манька, тараща круглые бестолковые глаза.

— Ха! Что делать! Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек и что ты гражданка, а не черт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бисяев подарил тебе этот

браслет...

— Да-а, написать... — протянула она. — Он меня потом за это письмо будет бить до потери пульса!

— Ты напиши, а я уж обеспечу, чтобы пульс твой он оставил в покое. Ему в этом кабинете обижать тебя будет затруднительно.

— Ему-то затруднительно, а дружки его? Они как узнают, что я его завалила, так сразу меня на ножи поставят...

— Поставят на ножи — это как пить дать, — согласился Жеглов. — Правда, они тебя могут поставить на ножи, если ты его и не завалишь. Это в том случае, если ты по-прежнему будешь шляться по их хазам и малинам, по вокзалам и ресторанам. Тебе работать надо — смотреть на тебя срамотно: молодая здоровая девка ведет себя черт те как! Паскудство сплошное...

— Ты меня не совести и не агитируй! Не хуже тебя и не меньше твоего понимаю...

— Вот и, видать, допонималась. Ну ладно, мне домой пора. Ты будешь писать заявление, как я тебе сказал?

Манька подумала и твердо кивнула:

— Буду! Чего мне за них отвечать? Он меня чуть под тюрьму не подвел, а я тут за него пыхти!..

Она удобно устроилась за столом Жеглова, глубокомысленно глядела в лист бумаги перед собой и, начав писать, вытянула губы трубочкой, словно ловила кусок сахару, который должен был прыгнуть со строки.

Жеглов подошел ко мне и сказал тихонько:

— Дуй в дежурную часть, приведи двух понятых — будем оформлять изъятие браслета... И найди Пасюка и Тараскина — пусть они едут на квартиру брать Копченого...

* * *

Рим, 30. ТАСС.
По сообщениям печати со склада в городе Комо похищены находившиеся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем.

Валентина Бисяева, по кличке Копченый, доставить ночью в МУР не удалось — у себя дома он не был две недели, и Пасюк с Тараскиным, объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем.

Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька Облигация, уже начавшая томиться от одиночества — ее пугало, что все никак не привозят Копченого, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив ее тем самым от обвинения в убийстве и грабеже; вот Манька и сказала утром Жеглову:

— А вы бы съездили в Парк культуры, он там часто ошивается, в бильярд катает...

Жеглов, взявший уже старые розыскные дела на Копченого, чтобы наметить план поиска, под-

нял на нее взгляд и сказал задумчиво:

— Вот это дельная мысль, Маня. Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание!

— Чихала я на твое сознание! Он там закопался промеж картежников, как клоп в ковре, а я за него отдувайся! Мне тоже нет резона за чужие дела здеся париться!

Жеглов выписал из дел несколько адресов и имен, дал листочек Пасюку и велел им с Тараскиным объехать кандидатов.

— Вызывайте Копырина и жарьте на «фердинанде». А мы с Шараповым и Гришей на место прокатимся. Часа через два вернемся, ты с дороги позвони — какие там вести...

Пока мы катили в вагоне, шли через Крымский мост и по набережной, срезая наискосок выставку трофейной фашистской техники, Шесть-на-девять рассказывал о том, как он замечательно играл раньше на бильярде — «ну, если по честному, просто жил с этого заработка»... Рассказ был очень длинный, запутанный, и краем уха я слышал, что оторвала его от этой игры любимая женщина-лилипутка, которая жила на Новослободской и имела постоянную прописку.

— А на кой тебе была лилипутка? — лениво, с ухмылкой спрашивал Жеглов.

— Так она, собственно, была не лилипутка, а такая ма-а-а-ленькая женщина и сложена была как богиня...

Я смотрел на разбитые немецкие машины, и меня не покидало удивление, что эти уродливые неповоротливые обгоревшие груды металла в аляповатой пятнистой раскраске, бессильные и отвратительные, еще полгода назад могли меня убить.

И не стало для меня больше ничего — ни этого серого, мягкого осеннего дня, которым мы шли ловить рецидивиста Копченого, ни дремлющего полуоблетевшего парка и свинцовой неподвижной воды в реке, по которой бежал белоснежный речной трамвай с голубой надписью на узкой рубке «МОЛОКОВ». А был апрельский вечер в берлинском районе Панков, где мы лежали под эстакадой городской железной дороги и в тыл к нам неожиданно прорвались «пантера» и два тупорылых бронетранспортера с эсэсовцами и огнем своим смели нас с гранитной эстакады, как метлой. Я тогда сразу понял, что они прорываются к Шенхаузераллее, там у немцев еще было мощное опорное укрепление. И если проскочат, то с ходу ударят в тыл нашей еще не развернувшейся противотанковой батарее и «пантера»

передавит за минуту все орудия вместе с прислугой. Вместе с якутом Митрофаном Захаровым мы быстро поползли по обе стороны эстакады к перекрестку навстречу танку — он ведь, проклятый, уже разворачивался, готовясь нырнуть в переулок. Хлестко, с дробным грохотом ударила над нашими головами по рельсам очередь из крупнокалиберного пулемета, и я невольно припал к шпалам, а когда поднял голову, увидел, что из витрины разбитого магазинчика на углу выскочил Парахин, тихий немолодой солдат, вологодский конюх, вечно озабоченный человечек с бледным отечным лицом. И бежал он наискосок, через улицу, прямо к танку, и в руке у него не было автомата, а держал он только связку, и я сообразил, что Парахину больше автомат не понадобится — он знал это и бежал, чуть пригнувшись, клонясь вперед от страха и ожидания страшного удара, но бежал, ни на миг не задерживаясь, дерганой нервной рысцой, и была в Парахине, тщедушном и сгорбленном, решимость и готовность умереть такая, что я уже не сомневался: «пантера» не налетит сзади на батарейцев, не примнет стволы к лафетам, не намотает человеческое мясо на гусеницы.

С бронетранспортера заметили Парахина, и

пулемет развернулся к нему злым острым рыльцем, плюнул огнем, и пули, казалось, подкинули в воздух солдата, и в последнем этом мучительном парении он бросил связку в упор в ведущее колесо гусеницы...

— ...Шарапов, пошли! Чего ты тут застрял — танка, что ли, не видел? — услышал я крик Гриши. В самом деле, танка, что ли, я не видел? И побежал догонять.

В бильярдной, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жеглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне:

— Вон там, в углу, за четвертым столом — Копченый...

Матерчатые квадратные абажуры нависали над зелеными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара, парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. Я рассмотрел чистое смуглое лицо, «политический зачес», худые руки и значок ГТО на лацкане. В светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком ГТО фальцетом выкрикивал перед ударами:

— От двух бортов в угол!.. Чужого режу в угол

направо, своего в середину!.. Клопштосс!

Узбек проиграл, заплатил и стал снова расставлять шары, но Жеглов заявил непререкаемо:

— Одну минуточку! Проигравший выбывает. Теперь моя очередь...

Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся:

— Мое почтение, гражданин начальник. Что это вы, катать начали?

— А что же делать? Если гора не идет к Магомету...

— Никак, я вам понадобился?

— Понадобился — партнера хорошего ищу...

— Так вы бы мне свистнули — я бы сам к вам пришел.

— Тебе, пожалуй, досвистишься. — Жеглов смотрел с прищуром. — С тобой как в детской считалочке: Валька — дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует...

— Спички я сроду не воровал, — серьезно сказал Копченый.

— Это я знаю, — кивнул Жеглов. — Ты ведь наверняка правила бильярдной нарушаешь: игра на деньги? А-а?

— Так это только дети на шелобаны играют, а настоящие игроки — на интерес, — засмеялся

Копченый. — По полкосой скатаем?

Жеглов брезгливо оттопырил нижнюю губу:

— Это ты с Жегловым хочешь по полсотенке играть? Сморкач!

— А по скольку? — заинтересовался Копченый.

— По тысяче.

— По куску? Идет, — охотно согласился вор.

Наверное, его в принципе согревала перспектива ободрать на бильярде знаменитого Жеглова — эта легенда годами передавалась бы блатными как образец уголовной доблести.

— Ты прежде, чем на тысячу примазывать, покажи мне — есть она у тебя или ты со мной в долг играть собираешься?

Копченый обиделся:

— Что же я, порядка не знаю? — И выволок из кармана пачку денег.

— Тогда ладно. Разбивай.

— Пирамиду или американку?

— Пирамиду.

Жеглов взял кусок мела, аккуратно натер набойку кия, плавными круговыми движениями намелил его и вытянул перед собой, примерил на глазок прямизну, потом повернулся к Грише и сказал:

— Иди к директору бильярдной, там есть те-

лефон, позвони к нам в контору и скажи, чтобы Пасюк с Тараскиным ехали сюда, как только объявятся. Встретишь их у входа...

— Вы бы, гражданин Жеглов, скинули пиджачок, а то вам не с руки играть-то будет. Или вы за пушку свою опасаетесь? — вежливо спросил Копченый.

— Не учи ученого, — дипломатично отозвался Жеглов. — И о пушке моей не заботься. Давай начинай...

Копченый не ударил шаром в пирамиду, а толкнул его о борт, шар плавно откатился и еле-еле растолкал укладку. Жеглов присел, глазом прикинул линию к средней лузе и бархатным неощутимым толчком направил туда шестерку.

— С почином вас, Глеб Георгиевич, — сказал Копченый. — Мне надо было у вас фору попросить...

— А мне безразлично, просил бы ты али нет, — я по пятницам не подаю. — Жеглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперек стола с левой руки и, вкатив крученый шар, довольно засмеялся: — Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен...

Я завороженно смотрел, как свой шар, крестовик, оттянулся обратно к Жеглову, на свободную

сторону стола, так, чтобы ему бить было удобнее. Но третий удар не вышел — желтый колобок шара прокатился по ослепительной зелени сукна, ткнулся в жерло лузы и вылетел обратно.

Копченый нырнул в освещенный квадрат над бильярдом и почти лег на стол, стараясь достать дальний шар — такой соблазнительно прямой перед узким устьицем лузы.

— Ноги с бильярда! — скомандовал Жеглов. — Ты в валенках сюда ходи, не видно будет, что у тебя копыта над полом висят!

Копченый сполз со стола и заново стал умащиваться удобнее и уже совсем было пристроился ударить, когда Жеглов негромко сказал у него над ухом:

— Ты где взял браслетик?

Вздрогнул Копченый, рука сорвалась, кий скользнул по шару — тот мимо лузы прокатился, тюкнулся о борт и замер.

— Какой браслетик?

— Что ж ты киксуешь? Я тебе покиксую! Туза в угол направо! — заказал Жеглов, очень мягко вкатил шар и пояснил: — Золотой браслетик в виде ящерицы червленой с одним изумрудным глазом.

— Понятия не имею, о чем вы говорите, на-

чальник! — ответил Копченый, светя своими голубыми доверчивыми глазами; и, встреть я его здесь случайно, голову дал бы наотрез, что это не вор «жуковатый», а студент-заочник, отличник, скромный производственник и спортсмен-общественник.

— Понятия, значит, не имеешь?.. — протянул Жеглов. — Ну, тогда поедем мы сейчас к нам, и я с тобой вот так поговорю! — И он вдруг чудовищной силы ударом с треском загнал шар в середину. — Вот какой у меня с тобой сейчас разговор произойдет! — приговаривал Жеглов, скользя мягко в своих сияющих сапогах вокруг стола и нанося новый ужасный удар, от которого зазвенела и затряслась луза. — Десятку в угол! Поговорю я с тобой вот так, сердечно, вразумительно, чтобы до тебя дошел мой вопрос — до ума, до сердца, до печенок, до почек и всего остального твоего гнилого ливера! Поиграешь со мной — сразу сообразишь, что это тебе не Маньку Облигацию до потери пульса лупить... Абриколь семеркой налево!

Семерка сильно ткнулась в борт, отлетев, ударилась о другой шар и юркнула в лузу. Копченый побледнел, сильнее заострилось его тонкое лицо, вспотевшей ладонью он гладил свою роскошную

шевелюру.

— Гражданин Жеглов, я чего-то не пойму, про что вы толкуете...

Жеглов остановился, передохнул, сочувственно поглядел на Копченого, покачал сокрушенно головой:

— Не понимаешь?

— Честное вам благородное слово даю — не понимаю!

— Слушай, Копченый, а может быть, ты не виноват? Это, наверное, про тебя в учебнике судебной психиатрии написано: «Идиотия — самая сильная степень врожденного слабоумия»? Ты что, не того? — И покрутил пальцем у виска.

Удары у Копченого были волглые, мятые, шары катились как попало, зато перед каждым его ударом Жеглов задавал очередной вопрос, что никак не придавало Копченому собранности и меткости.

— Да ты не киксуй, твое дело хана! — зло усмехнулся Жеглов. — У меня в последнем шаре — партия...

Он подошел к Копченому, словно нечаянно наступил ему на ногу своим хромовым сапогом и, близко наклонившись, сказал:

— Ты же ведь чердачник, Копченый, а не мок-

рушник, поэтому, пока не поздно, колись — где взял золотой браслет? И если ты надумаешь мне забивать баки, то про наш предстоящий разговор я тебе все объяснил...

Так они разговаривали негромко, наклонившись друг к другу, словно два приятеля-партнера, сделавшие перекур после трудной и неинтересной партии; и с соседнего стола игроки, кабы было у них время и желание, могли бы залюбоваться на таких дружков, которые и в перерыве шепчутся — оторваться не могут.

Они стояли на противоположной от меня стороне стола, и я не все слышал, долетали до меня только обрывки фраз. Я видел только, как Копченый прижимал к груди руки, таращил свои ясные глаза, даже рукавом слезу смахнул и для убедительности перекрестился. И слова, как брызги, вылетали из горячей каши их разговора:

— ...В карты... бура и очко... Котька Кирпич... денег не... у Модистки... не знаю его... вор в законе... Костя — щипач... век свободы не видать...

Что отвечал Жеглов, я не слышал, пока тот не повернулся ко мне и не сказал с кривой ухмылкой:

— Божится, гад, что выиграл браслет в карты у Кирпича. Что будем делать, Шарапов? Идеи

есть?

— Есть, — кивнул я. — Надо Кирпича брать.

— Замечательно остроумная идея! Главное, что неожиданная! — Потом спросил Копченого: — Слушай, Бисяев, а где «работает» Кирпич?

— Он в троллейбусах щиплет — на «втором», на «четверке», на «букашке»...

Жеглов стоял в глубокой задумчивости, раскачиваясь медленно с пятки на мысок. Появился Шесть-на-девять, за ним шли Пасюк и Тараскин.

— «Фердинанд» здесь? — спросил Жеглов.

— Да, мы на нем прикатили, — ответил Пасюк.

— Это хорошо, хорошо, хорошо, — бормотал Жеглов, явно думая о чем-то другом, потом неожиданно сказал Бисяеву: — Слушай, Валентин, а ты не хочешь со мной покататься на троллейбусе?

— Зачем это еще?

— Ну, может, встретим Кирпича, — познакомишь, дружбу сведем, — блеснул белым оскалом Жеглов.

— Вы уж меня совсем за ссученного держите! — обиделся Копченый. — Чтобы я блатного кореша уголовке сдал — да ни в жисть!

— А ты его уже и так сдал, — радостно засмеялся Жеглов. — Эх ты, босота! Я ведь Кирпича не сегодня завтра прихвачу и обязательно подробно

расскажу, как я тебя на испуг взял, словно сявку сопливого расколол...

Копченый горько, со слезой вздохнул:

— Эх, гражданин Жеглов, злой вы человек! Я вам рассказал по совести, можно сказать, как своему, а вы мне вот как ответили...

— Не ври, не ври! С каких это пор Жеглов уголовникам своим человеком стал? Душил я вас всю жизнь по мере сил и впредь душить буду — до полного искоренения! А рассказал ты мне, потому что знаешь — за браслетом мокрое дело висит. И я с тебя подозрения пока не снимаю, буду с тобой дальше работать, коли ты мне помочь не хочешь. Поваляйся пока на нарах, про жизнь подумай...

Копченый гордо поднял голову:

— Ничего, жизнь, она покажет... — Залез в карман, достал деньги, отсчитал тысячу рублей и протянул Жеглову: — Проигрыш получите, а в остальном сочтемся... со временем.

Копченый стоял, протягивая Жеглову деньги, а тот, подбоченясь, все перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо, и от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяния просит.

Выждав долгую паузу, будто закрепив ею их

положение, Жеглов хрипло засмеялся:

— Я вижу, ты и впрямь без ума, Копченый! Ты что же, думал, Жеглов возьмет твои поганые воровские деньги? Ну о чем мне с тобой разговаривать в таком случае? — Жеглов обернулся к Пасюку: — Иван, у него полный карман денег — оформите актом изъятия за нарушение правил игры в бильярдной. А самого окуните пока в КПЗ, я приеду — разберемся...

Когда оперативники увезли Копченого, Жеглов сказал мне:

— Глупостями мы с тобой занимаемся! Ерунда и пустая трата времени!..

— Почему?

— Потому, что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими ничтожествами возиться!

— Но ведь браслет...

— Что «браслет»? Пойми, тебе это трудно пока усвоить: щипач, карманник — это самая высокая уголовная квалификация, она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдет. Они с собой на кражи даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой! Поэтому заранее можно сказать: Кирпич никакого отношения

к убийству Ларисы Груздевой не имеет...

— А браслет как к нему попал?

— Но откуда тебе известно, что браслет не пропал *до* убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменять на сливочное масло, его могли у нее украсть, — может быть, тот же Кирпич!

— Тогда мы должны постараться найти его — Кирпича, значит!

— Но для удовлетворения твоего любопытства нам придется потратить черт знает сколько времени — это ведь я только Копченому так лихо пообещал найти завтра Кирпича. А кабы это было так просто, мы бы их давно уже всех переловили!

Я помолчал, подумал, потом сказал медленно:

— Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку все равно на грош. Если ты не возражаешь, я сам попробую найти Кирпича...

Жеглов разозлился:

— Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях, так это упрямства. Упрямство — первый признак тупости! А человек на нашей работе должен быть гибок, он должен уметь применяться к обстоятельствам, событиям, людям! Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми работаем, а упрямство в работе с людьми

— последнее дело...

— Это не упрямство, — сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. — Но ты вот сам говоришь, что мы с людьми работаем, и я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса...

— Это какого же человека мы лишаем последнего шанса?

— Груздева.

— А ты что, не веришь, что это он убил жену? — удивился Жеглов.

— Не знаю я, как ответить. Вроде бы он, кроме него некому. Но этот браслетик — его шанс на справедливость.

— Как прикажешь понимать тебя?

— А так: если он убил жену и унес из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. Лично мне этот Груздев — неприятный человек, но он же не уголовник, не Копченый и не Кирпич, чтобы назавтра пропить и прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать этого карманника и узнать, как попал к нему браслет.

— Я бы мог привести сто возражений на твои слова, но допустим, что ты прав. И вот ты нашел Кирпича — дальше что?

— Допрошу его — откуда взял браслет?

— И если он тебе скажет, то прекрасно. А если он облокотится на тебя? И пошлет подальше?

— Как это?! — возмутился я. — А показания Валентина Бисяева?

— А Валентину Бисяеву Кирпич просто плюнет в рожу и скажет, что впервые видит его. Дальше что?

— Дальше? — задумался я. Дальше действительно ничего не получалось, но, как говорится, печенкой я ощущал, что и после этого тупика должен существовать какой-то следующий ход, приближающий меня к правде, но догадаться сам я не мог, потому что знание этого хода зависело не от моей сообразительности или находчивости, а определялось точными законами игры, мне еще неведомыми и называющимися оперативным мастерством.

И еще я понимал, что Жеглов должен знать такой ход, я был просто уверен в этом. Но Жеглов не считал его целесообразным, делать не хотел, и мне оставалось поблагодарить его за то, что он не запрещал мне самому подумать над ним. Так мы и разъехались по своим делам, недовольные друг другом, и на прощание я лишь спросил:

— Глеб, а кто занимается в МУРе карманни-

ками?

Жеглов засмеялся:

— О, это могучая фигура — майор Мурашко! Зайди к нему, посоветуйся, — может, что дельное тебе скажет...

Майор Кондрат Филимонович Мурашко выслушал меня с сочувствием и пониманием. Но конкретной помощи не обещал.

— Мы с реальными делами не управляемся, где уж нам Кирпича искать по хлипкому подозрению, — разводил он маленькими сухонькими руками. И весь он был седенький, чистенький, невзрачный, в тщательно заштопанной сатиновой рубашке с белесыми пятнами на локтях. — И работа у нас стала сильно бестолковая...

— Это почему же?

— Да как вам объяснить, молодой человек, вы же у нас в МУРе личность новая, старые дела вам неведомы...

— А вы расскажите — станут ведомы! — плотнее уселся я на стуле.

— Вот работаю я на этом месте двадцать два года — на моих глазах, считайте, все этапы борьбы с преступностью проходили. Так что перед войной мы с полным основанием говорили, что организованная преступность у нас совершенно

разгромлена. Дотла вывели шнифферов, ликвидировали сонников, клюквенников следа не осталось...

— Что такое клюквенники?

— А это воришки, которые церкви грабили. Ух, лютые ребята были!.. Значит, в основном покончили с прихватчиками. А вот с моей публикой, со щипачами, — никак; тут штука тонкая, настоящий щипач — всегда воровской аристократ, специалист высшей квалификации...

— Забавно, — покачал я головой. — Я раньше думал, что карманники — это самые ничтожные воришки, низший сорт...

— Ошибочка! — Кондрат Филимонович вздернул острый птичий носик. — Вот подумайте сами, какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка, — какая! — глазом дабы не моргнуть и у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить все из карманов! А он при этом — ни сном, ни духом.

— А почему же вы говорите, что работа сейчас стала бестолковая?

— Потому что совесть меня ест. Война, голод, безотцовщина, сиротство горькое — подались в карманники люди, которым подчас просто есть

охота. Вот они-то главным образом и попадают к нам, и так их много, что делами руки завалены — настоящих щипачей ловить нет времени...

— Как же это так получается?

— Так и получается — людей у меня совсем мало, и тех-то уголовщина в лицо наперечет знает...

— Так это же хорошо?! — удивился я. — Хорошо, что в лицо знают?

— Чего ж хорошего? Вот патрулирует свою зону сотрудник в троллейбусе, заскочил туда щипач. Он первую остановку вообще ничего не делает, а только осматривается. Пригляделся, увидел нашего сотрудника, раскланивается с ним чинно — здрасьте, Петр Иваныч — и на следующей остановке выскочил...

— И вы их отпускаете?

— А что прикажете делать? Иногда задерживаем на полдня, беседу проводим — он несколько дней после такой встречи таится. А потом снова вылазит на охоту.

— А у вас есть фотография Кирпича?

— Конечно. Это Константин Сапрыкин, двадцатого года рождения, трижды судим, пять месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы

за сто первый километр, но, по имеющимся у меня данным, он регулярно обитает в городе...

— Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище?

Майор Мурашко пожал щуплыми плечиками:

— Трудно сказать. Может быть, потому, что у него голова такая — прямоугольная. Длинная, бруском... — Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. — Вот он, полюбуйтесь на красавца...

По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова бруском: просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазами, полностью смазанными с лица тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курносый нос с широкими ноздрями... Напоследок Мурашко пообещал:

— Я своим ребятам скажу. Коли попадется кому Кирпич, к вам доставим...

Когда я вернулся в отдел, Жеглов встретил меня весело:

— Ну, как успехи, сыскной орел?

— Да успехов пока никаких. Я с Мурашко разговаривал...

— И что тебе рассказал наш Акакий Акакиевич? — засмеялся Жеглов, и, видимо, ему самому

понравилась эта шутка, потому что он повторил:
— Майор милиции Акакий Акакиевич...

А мне шутка не понравилась, и я сказал, глядя в сторону:

— Мне он не показался Акакием Акакиевичем. Он человек порядочный. И за дело болеет. По-моему, он хороший человек...

И совершенно неожиданно вдруг подал голос Пасюк:

— Я с Акакием Акакиевичем не знався, но Мурашко свое дело добре робыть. Я знаю, што его щипачи як биса боятся, хочь он и есть такой чоловик малэнький. Это ты, Глеб Георгиевич, с него зря смеешься...

— Если он так замечательно робит, что же ты к нему не пойдешь в бригаду? — спросил Жеглов, поглядев на Пасюка искоса.

— Бо у мене пальцы товстые! — протянул к нам свою огромную ладонь Пасюк. — Мне шо самому в щипачи, шо ловить их — невможно, бо я ловкости не маю.

Мы с Жегловым расхохотались.

— А у тебя какие пальцы? — спросил Жеглов.

— Щипать не смогу, а вот насчет поймать — есть идея, — сказал я, улыбаясь.

— Давай обсудим, — кивнул Жеглов.

— Я Сапрыкина хорошо запомнил по фотоснимку. Мне надо поездить на его маршрутах и постараться поймать за руку во время карманной кражи — тогда нам легче будет заставить его разговориться по части браслета Груздевой...

Жеглов задумчиво смотрел на меня, лицо его было спокойно и строго, и ничего я не мог по нему определить: нравится ли ему мой план, или считает он его полнейшей ерундой и глупистикой, или, может быть, планчик ничего, его надо только додумать до конца? Ничего нельзя было прочитать на лице Жеглова во время бесконечной паузы, к концу которой я уже начал ерзать на стуле, пока вдруг не перехватил взгляд подмигивающего мне одобрительно Пасюка, и понял я этот взгляд так, что надо сильнее напирать на Жеглова. Но Жеглов сам разверз уста и сказал коротко, негромко, четко:

— Молодец, догадался...

И не больно уж какая великая была эта догадка, не решала она никаких серьезных проблем, да и неизвестно, как еще удастся ее реализовать, но я вдруг испытал чувство большой победы, ощущение своей нужности в этом сложном деле и полезности в свершении громадной церемонии правосудия — и это чувство затопило меня

полностью.

Жеглов, будто угадав, о чем я думаю, сказал:

— Завтрашний день я выделю тебе — покатаемся на гортранспорте вместе. Глядишь, чем-нибудь смогу и пригодиться...

И я совершенно искренне, от всей души, ответил:

— Спасибо тебе, Глеб. Я просто уверен, что с тобой мы его поймаем!

Жеглов встал, церемонно поклонился:

— Благодарю за доверие. Значит, считаешь, что и я чего-то умею?

Может быть, показалось это мне, а может, было и на самом деле, но послышалась мне в голосе Жеглова досада. Или раздражение...

* * *

В Москве минувшей ночью минимальная температура была -2 градуса. Сегодня в два часа дня +6. Завтра в Москве, по сведениям Центрального института прогнозов, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура ночью -3 — -5, днем +5 — +8 градусов.

Сводка погоды

Утром, перед тем как отправляться в долгое путешествие на троллейбусах, Жеглов еще раз вызвал из камеры Бисяева. Вид у того был помятый, невыспавшийся и голодный.

— Ну что, не нравится житуха у нас? — спросил Жеглов.

— А чего же тут у вас может нравиться? — ощерился Бисяев. — Не санаторий для малокровных...

— Но, скажу тебе по чести, ты мне здесь нравишься...

— Да-а? — неуверенно вякнул Бисяев.

— Очень ты мне тут нравишься. Смотрю я на твои руки и диву даюсь!

— И что же вы в руках моих нашли такого интересного? — спросил Бисяев, бессознательно пряча ладони в карманы.

— Не профессор ты, не писатель, не врач, одним словом — мурло неграмотное. А ручки у тебя нежные, белые, гладкие, пальчики холеные, ладошки без морщин, и ни одной жилочки не надуто. А почему? — Бисяев промолчал. — Молчишь? А я тебе скажу — ты сроду своими руками ничего путного не делал. Вот прожил ты почти три десятка лет на земле и все время чего-то жрал, крепко пил, сладко спал, а целый народ в это время на тебя горбил, кормил тебя, обувал и ублажал. И воевал, пока ты со своей грыжей липовой в тылу гужевался. От этого ручки у тебя гладкие, не намозоленные, трудом не натертые, силой мужской не налитые...

— Воспитываете? — тряхнул шелковистой шевелюрой Бисяев. — Так это зря — поздно.

— Поздно?! — удивился Жеглов. — Как это поздно? Уж на этот раз я постараюсь изо всех сил, чтобы дали тебе в руки кайло, лопату или топор-колун с пилой. Пора тебе на лесоповал ехать или канал какой-нибудь строить. Ты здесь, в шумном городе, зажился сильно...

— У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже

не шахтерские! — криво улыбаясь, выкрикнул Бисяев и сам испугался.

Жеглов вылез из-за стола, подошел к нему вплотную и, снова раскачиваясь с пятки на мысок, сказал, глядя ему прямо в глаза:

— Это ты правду сказал, Копченый. А вся правда состоит в том, что я, сильный и умный молодой мужик, трачу свою жизнь на то, чтобы освободить наш народ от таких смрадных гадов, как ты! И хотя у меня руки не в мозолях, но коли я за год десяток твоих дружков перехватаю, то уже людям больше своей зарплаты сэкономил. А я, по счастью, за год вас много больше ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ, и помни, Копченый: ты меня теперь рассердил всерьез!

— А что, а что, уже и пошутить нельзя? — завертелся Бисяев. — Ну чего в шутейном разговоре не скажешь? Вы пошутили, я тоже посмеялся — а вы к сердцу принимать...

— Я с тобой не шутил, — отрезал Жеглов. — Ты мне ответь лучше — думал ты над моими вопросами о Константине Сапрыкине?

— А кто это? — совершенно искренне удивился Бисяев.

— Константин Сапрыкин — это твой дружок, по кличке Кирпич.

— Да? А я и не знал, что он Сапрыкин. И не дружок он мне — так, знакомец просто; знаю, что зовут его все Кирпичом...

— Ну и народ же вы странный, шпана! — покачал головой Жеглов. — Вы как собаки-жучки: ни имени, ни роду, а только какие-то поганые клички. Так что можешь сказать про Кирпича? Про Сапрыкина то есть?

— Ей-богу, не знаю я. Он где-то в Ащеуловом переулке живет, там у него хаза...

Больше ничего толкового мы от Бисяева не добились и отправились в город.

— Ну что, Шарапов, есть у нас три троллейбусных маршрута. Какой выберем? Или в орла-орешку сгадаем?

Я обстоятельно подумал, потом предложил:

— Давай поедем на «девятке» по Сретенке. Поездим часа два, пересядем на «букашку».

— Почему?

— Кирпич в Ащеуловом переулке живет, — значит, ему ближе всего со Сретенки начинать свою охоту. Или доедет до Колхозной площади и оттуда подастся на Садовое кольцо.

— Не-ет. У своего дома он воровать не будет. А вот от Колхозной — пожалуй. Поехали...

Мы проезжали на троллейбусе одну остановку,

внимательно вглядываясь в пассажиров, на следующей сходили и пересаживались в очередную машину. Первый час это занятие было мне даже любопытно, на втором я почувствовал, что стал уставать, через три у меня уже все гудело в голове от шума троллейбусов, толкотни пассажиров, запаха горелой резины и завывающего гула мотора, треска переключаемого педалью реостата, беспрерывного мелькания тысяч лиц, в которые надо было внимательно вглядываться — в каждое в отдельности. И четвертый час, и пятый крутили мы километры по Москве. Скользили за окнами улицы, отчаянно фанфарили легковушки, стало смеркаться, подтекал неспешный осенний вечер, снова заморосил дождь, а конца и краю этой бесконечной езде в никуда не было видно.

У меня кружилась голова, и смертельно хотелось есть, но, глядя на невозмутимое лицо Жеглова, которого, казалось, ничуть не утомил сегодняшний день, я стеснялся попросить отбоя.

А Жеглов методично переходил из троллейбуса в троллейбус, и мне даже стало казаться, что это решил он так проучить меня за то, что сунулся поперед батьки в пекло.

Жеглов только усмехался:

— Радуйся, что у нас проездные билеты литер

«Б», а то бы весь твой оклад содержания сегодня ухнул...

В половине седьмого мы вошли в троллейбус «10» на Смоленской площади, и я сильно толкнул в бок Жеглова — в проходе стоял высокий крепкий парень с безглазым лицом и лошадиной челюстью. Он держался рукой за поручень и дремал, сжимаемый со всех сторон пассажирами.

— Гражданин, передайте за проезд, — громко сказал Жеглов, протягивая мне монету и беззвучно шепнул: — Дурило, ты меня от счастья чуть из троллейбуса не выкинул. Пробирайся вперед и встань к нему спиной в трех шагах...

— А как же...

— Никак. Выполняй!..

Я стал продираться через плотно забитый проход и, когда обогнул в толкучке Сапрыкина, понял, кого он пасет: рядом стояла полная, хорошо одетая женщина с большой кожаной сумкой. Булькала, глухо гомонила, перекатываясь в троллейбусном чреве, людская каша, пассажиры сопели, толкались, передавали по цепочке деньги и возвращали назад билеты со сдачей, яростно вспыхнул и так же мгновенно погас скандал из-за чьей-то отдавленной ноги, от кого-то нестерпимо разило чесноком, жаркое слитое дыхание

полусотни людей оседало густой пузырчатой испариной на стеклах, загорелся неяркий салонный свет, человек в пенсне и с портфелем, удобно облокотившись на мою спину, читал «Вечерку», кондукторша монотонно выкрикивала:

— Следующая остановка — Новинский!.. Следующая — площадь Восстания!.. Следующая — Спиридоньевский переулок!..

Я помирал от любопытства, мне не терпелось узнать, что там происходит, сзади, за моей спиной. Но я уже усвоил понятие оперативной целесообразности, и коли Жеглов поставил меня впереди Кирпича и спиной к нему, значит так надо и моя святая обязанность — неуклонно выполнять распоряжение.

Непонятно было, чего ждет Кирпич, но то, что он стоял на месте, рядом с женщиной в коричневом пальто, убеждало меня в правильности догадки.

— Следующая — Маяковская... Следующая — Лихов переулок...

И тут неожиданно раздался голос Жеглова, тонкий, звенящий от напряжения:

— Ну-ка стой! Стой, я тебе говорю! Гражданка, взгляните на свою сумку!

Я мгновенно развернулся и принял вырыва-

ющегося из цепких жегловских рук Кирпича, тряхнул его за плечи и заорал, будто мы в казаки-разбойники играли:

— Не дергайся, ты взят!

И Кирпич сразу послушался меня, перестал рваться и сказал громко, удивленно и растерянно:

— Граждане!.. Товарищи!.. Помогите!.. Посмотрите, что эти два бандита среди бела дня с человеком вытворяют!..

На мгновение в троллейбусе воцарилась глухая тишина, только бубнили с гудом и шелестом о мостовую колеса, а в следующий миг тишина эта раскололась невероятным гамом и криками. Пассажиры впереди и сзади вообще ничего не видели и, карабкаясь по спинам остальных, гомонили безостановочно:

— Что там?..

— Кто?..

— Вора поймали!

— Где?

— Грабят двое!

— Кого?

— И женщина с ними — вон какая приличная с виду!

— Да нет, это вор вон тот, лохматый!..

— Держите!..

— Пусть остановят машину!..

— Кто свидетели?

— Ножом пырнули...

А Кирпич, набирая высоту, заорал гугниво и протяжно:

— Посмотрите, товарищи, как фронтовику руки крутят! Когда я кровь проливал под Берлином, где вы, гады тыловые, отсиживались? Держите их — они преступники!..

Я видел, как он в сердцах бросил монету на пол, она ударилась в мою ногу и исчезла где-то внизу, на деревянном реечном полу машины.

Тут очнулась наконец от оцепенения женщина. Она подняла над головой свою тяжелую сумку и пронзительно закричала:

— Смотрите, порезал, а потом кошелек со всеми карточками вынул! Тут у меня на всю семью карточки были! Да что же это?..

Вор, припадочно бившийся у меня в руках, кричал ей:

— Гражданочка, дорогая! Это ведь они у вас слямзили кошелек и на меня спихивают, внимание отвлекают! Вы посмотрите вокруг себя, они, наверное, кошелек ваш сбросили! Их обыскать надо!..

Троллейбус распирало от страстей и криков, как перекачанный воздушный шар. Один Жеглов невозмутимо улыбался. И я неожиданно вспомнил майора Мурашко и подумал, что он не Акакий Акакиевич, это точно! Работенка у них — хуже некуда, с бандитами и то, наверное, приятнее иметь дело.

Пассажиры, как по команде, уплотнились, раздался маленький круг вокруг потерпевшей, она огляделась, и вдруг какой-то мальчишка крикнул:

— Тетя, вон кошелек на полу валяется...

Кошелек, который Кирпич даже не успел расстегнуть, но зато управился сбросить, валялся на полу. От досады Жеглов закусил губу — все дело срывалось; и закричал он громко и властно:

— Тихо, товарищи! Мы работники МУРа, задержали на ваших глазах рецидивиста-карманника. Прошу расступиться и дать нам вывести его из троллейбуса. Свидетелей и потерпевшую гражданку просим пройти в 17-е отделение милиции — это тут рядом, в Колобовском переулке...

Повернулся к Кирпичу и сквозь зубы сказал:

— Подними кошелек, Сапрыкин. Подними, или ты пожалеешь по-настоящему!

Кирпич засмеялся мне прямо в лицо, подмиг-

нул и тихо сказал:

— Приятель-то у тебя дурачок! Чтобы я сам себе с пола срок поднял! — И снова блажно заголосил: — Товарищи, вы на их провокации не поддавайтесь!.. Они вам говорят, что я вытащил кошелек, а ведь сама гражданочка в это не верит!.. Не видел же этого никто!.. Им самое главное — галочку в плане поставить, человека в тюрьму посадить!.. Да и чем мне было сумку резать — хоть обыщите меня, ничего у меня нет такого, врут они все!..

И только сейчас мне пришло в голову, что монета, которую бросил на пол Кирпич, это «писка» — пятак, заостренный с одной стороны, как бритва. Положение вдобавок осложнялось тем, что никто из пассажиров действительно не видел, да и не мог видеть, как вор вспорол сумку, — на то он и настоящий щипач.

Я стал судорожно оглядываться на полу вокруг себя в поисках монеты, попросил соседей, мальчишка ползал по проходу и под сиденьями — писки нигде не было. И когда наконец мы вывалились из троллейбуса на «Лиховом переулке», то сопровождала нас только обворованная женщина.

Жеглов нес в руке кошелек-ридикюль, а я держал Кирпича за рукав. Вор не скрывал радости:

— Нет-нет, начальнички, не выгорит это делишко у вас, никак не выгорит. Вы для суда никакие не свидетели, баба хипеж подняла, уже когда вы меня пригребли, кошель у вас на лапе, писку в жизни вы у меня не найдете — так что делишко ваше табак. Вам еще начальство холку намылит за такую топорную работу. Нет, не придумали вы еще методов против Коти Сапрыкина...

Жеглов мрачно молчал всю дорогу и, когда уже показалось отделение милиции, сказал ему тусклым невыразительным голосом:

— Есть против тебя, Кирпич, методы. Есть, ты зря волнуешься...

У забухшей от сырости тяжелой двери отделения Жеглов остановился, пропустил вперед Сапрыкина:

— Открывай, у нищих слуг нет...

Сапрыкин дернул дверь, она не поддалась, тогда он уцепился за нее обеими руками и с усилием потянул на себя.

В этот момент Жеглов бросился на него.

Пока обе руки Сапрыкина были заняты, Жеглов перехватил его поперек корпуса и одним махом засунул ему за пазуху ридикюль и, держа его в объятиях, как сыромятной ушивкой, крикнул сдавленно:

— Шарапов, дверь!..

Я мгновенно распахнул дверь, и Жеглов потащил бешено бьющегося у него в руках, визжащего и воющего Сапрыкина по коридору прямо в дежурную часть. Оттуда уже бежали навстречу милиционеры, а Жеглов кричал им:

— Пока я держу его, доставьте сюда понятых! Мигом! У него краденый ридикюль за пазухой! Быстрее...

Четверо посторонних людей, не считая дежурных милиционеров, видели, как у Кирпича достали из-за пазухи ридикюль, и, конечно, никто не поверил его диким воплям о том, что мильтон проклятый, опер-сволочуга засунул ему кошелек под пальто перед самыми дверями милиции. Онемевшая от всего случившегося женщина-потерпевшая ничего вразумительного выговорить не сумела, только подтвердила, что кошелек действительно ее.

— Значитца, срок ты уже имеешь, — заверил Кирпича улыбающийся Жеглов. — А ты еще, простофиля, посмеивался надо мной. Знаешь поговорочку — не буди лихо, пока оно тихо. Теперь будет второе отделение концерта по заявкам граждан... — Он набрал номер: — Майор Мурашко? Кондрат Филимоныч, приветствует

тебя Жеглов. Мы тут с Шараповым подсобили тебе маленько. Ну да, Кирпича взяли. А как же! Конечно, с поличным! Я вот что звоню — у тебя же наверняка висит за ним тьма всяких подвигов, ты подошли своего человека в семнадцатое, мы тут отдыхаем все вместе, пусть с ним от души разберутся. Да вы навесьте ему все, что есть у вас: жалко, что ли, пусть ему в суде врежут на всю катушку! Чего с ним чикаться! Привет...

Сапрыкин, сбычившись, смотрел в стену, полностью обратившись в слух, и не видел того, что заметил я: Жеглов набрал только пять цифр! Он ни с кем не разговаривал, он говорил в немую трубку!

— Ну как, Сапрыкин, придумали мы для тебя методы? — спросил Жеглов, положив на рычаг трубку.

— Вижу я, что придумывать ты мастак! — сказал сквозь зубы Сапрыкин, весь звеня от ненависти.

— Ты зубами-то не скрипи на меня, — спокойно ответил Жеглов. — Хоть до корней их сотри, мне на твое скрипение тьфу — и растереть! Ты в моих руках сейчас как саман: захочу — так оставлю, захочу — стенку тобой отштукатурю!

— С тебя станется...

— Правильно понимаешь. Поэтому предлагаю

тебе серьезный разговор: или ты прешь по-прежнему, как бык на ворота, и тогда майор Мурашко с тобой разберется до отказу...

— Кондрат Филимоныч таких паскудных штук сроду не проделывал, — сказал Кирпич.

— Это точно. Поэтому он шантрапу вроде тебя ловит, а я — убийц и бандитов. Но дело свое он знает и полный срок тебе намотает, особенно когда ты сидишь с поличняком в этой камере. Усвоил?

— Допустим.

— Тут и допускать нечего — все понятно. А есть второй вариант...

— Это какой же вариант? — опасливо спросил Сапрыкин, ожидая от Жеглова подвоха.

— Ты мне рассказываешь про одну вещичку — как, когда, при каких обстоятельствах и где она попала к тебе, — и я сам, без Мурашко, оформляю твое дело, получаешь за свою кражонку два года и летишь в «дом родной» белым лебедем. Понял? — внушительно спросил Жеглов.

— Понял. А про какую вещичку? — недоверчиво вперился в него Сапрыкин.

— Вот про эту, — достал Жеглов из кармана золотой браслет в виде ящерицы.

Сапрыкин посмотрел, поднял взгляд на Жегло-

ва, покачал головой:

— Ну скажу я. А откуда мне знать, что ты меня снова не нажаришь?

— Что же мне, креститься, что ли? Я ведь в бога не верю, на мне креста нет. По-блатному могу забожиться, хотя для меня эта клятва силы не имеет...

— А можешь?

— Ха! — Жеглов положил одну руку на сердце, другую на лоб и скороговоркой произнес:

Гадом буду по-тамбовски,
Сукой стану по-ростовски,
С харей битою по-псковски,
Век свободки не видать!..

И белозубо, обворожительно засмеялся, и Сапрыкин улыбнулся, и никому бы и в голову не могло прийти, загляни он сюда случайно, что полчаса назад один из них волок другого, визжащего и отбивающегося, прямо в тюрьму!

— Так верить можно? Не нажаришь? — снова спросил Кирпич.

— Ну, слушай, ты меня просто обижаешь! — развел руками Жеглов. — Я никогда не вру. А что касается кошелька, то мы-то с тобой знаем, что это ты его увел, а я просто обошел некоторые

лишние процессуальные формальности. Ты из-за этого мне должен доверять еще больше...

— Ну, значит, так: браслет этот чистый, его Копченый не воровал. Он его у меня в карты выиграл. В полкуска я его на кон поставил...

— А ты его где взял?

— Тоже в картишки — несколько дней назад у Верки Модистки банчишко метнули. Вот я его у Фокса и выиграл...

— А что, у Фокса денег, что ли, не было? — спросил Жеглов невозмутимо, и я обрадовался: по тону Жеглова было ясно, что Фокса этого самого он хорошо знает.

— Да что ты, у него денег всегда полон карман! Он зажиточный...

— Зачем же на браслет играл?

— Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас в законе за лишние вопросы язык могут отрезать.

— А сам как думаешь?

— Чего там думать, зажуковали где-то браслет, — пожал плечами Сапрыкин, и его длинное лицо с махонькими щелями-глазками было неподвижно, как кусок сырой глины.

— Ну а тебе-то для чего ворованный браслет?

Сапрыкин пошевелил тяжелыми губами, дрогнул мохнатой бровью:

— Так, между прочим, я его не купил — выиграл. И тоже не собирался держать. Думал толкнуть, да не пофартило, я его и спустил дурачку Копченому. А он что, загремел уже?

Жеглов пропустил его вопрос мимо ушей, спросил невзначай:

— Фокс у Верки по-прежнему ошивается?

— Не знаю, не думаю. Чего ему там делать! Сдал товар и отвалил!

— Ну уж! Верка разве сейчас берет? — удивился Жеглов. Я взглянул на него и ощутил тонкий холодок под ложечкой: по лихорадочному блеску его глаз, пружинистой стянутости догадался наконец, что Жеглов понятия не имеет ни о какой Верке, ни о каком Фоксе и бредет сейчас впотьмах, на ощупь, тихонько выставляя впереди ладошки своих осторожных вопросов.

— А чего ей не брать! Не от себя же она — для марвихеров старается, за долю малую. Ей ведь двух пацанят кормить чем-то надо...

— Так-то оно так, — облегченно вздохнул Жеглов. — Скупщики краденого подкинут ей на житьишко, она и довольна — процент за хранение ей полагается. Да бог с ней, несчастная она баба!

И я от души удивился, как искренне, горько,

сердобольно пожалел Жеглов неведомую ему содержательницу хазы.

— Так ты что, больше Фокса не видел? — спросил Жеглов.

— Откуда? Мы с ним дошли до дома, где он у бабы живет, и я отвалил.

— Скажи-ка, Сапрыкин, ты как думаешь — Фокс в законе или он приблатненный? — спросил Жеглов так, будто после десяти встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог и вот теперь надумал посоветоваться с таким опытным человеком, как Кирпич.

— Даже не знаю, как тебе сказать. По замашкам он вроде фраера, но он не фраер, это я точно знаю. Ему человека подколоть — как тебе высморкаться. Нет, он у нас в авторитете, — покачал длинной квадратной головой Сапрыкин.

— А не мог Фокс окраску сменить? — задумчиво предположил Жеглов.

— Да у нас, по-моему, никто и не знает, чем он занимается. Сроду я не упомню такого разговора. Он на хазах почти не бывает — в одиночку, как хороший матерый волчище, работает. Появится иногда, товар сбросит — только его и видели...

Жеглов встал, прошелся по тесной комнатке, потянулся.

— Эх, чего-то утомился я сегодня! — Он снял трубку и набрал номер: — Кондрат Филимонович? Жеглов снова беспокоит. Я вызов пока отменяю, мы тут сами с Сапрыкиным разобрались. Нет, он себя прилично ведет. Ну и мы соответствуем. Привет...

Жеглов брякнул трубку и сказал Кирпичу:

— Жеглов — хозяин своего слова. Все будет, как мы договорились. Лады?

— Лады! — довольно кивнул Кирпич.

— Вот только я сейчас возьму здесь машину, и мы на минутку подскочим, ты мне покажешь дом, где остался Фокс в прошлый раз...

— Погоди, погоди! Мы об этом не договаривались, — задыбился Кирпич, но Жеглов уже натянул плащ и совал ему в руки шапку.

— Давай, давай! Запомни мой совет — никогда не останавливайся на полдороге. Поехали, поехали, я ведь и сам знаю, куда ехать, но с тобой оно быстрее будет. — И, приговаривая все это, Жеглов теснил его к двери, мягко и неостановимо подталкивал перед собой, и все время ручейком лилась его успокаивающе-усыпляющая речь, парализуя волю Кирпича, который сейчас медленно пытался сообразить, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего, но времени на эти размыш-

ления Жеглов ему не давал, и, прежде чем вор смог принять какое-то решение, они уже сидели в милицейской «эмке» и призывно-ожидательно рокотал заведенный мотор, и тогда Сапрыкин махнул рукой:

— Поехали на Божедомку. Дом семь...

Они осмотрели быстро маленький двухэтажный дом, вернулись назад, уже в МУР, на Петровку, 38, и там Жеглов так же стремительно выколотил из Кирпича адрес Верки Модистки...

Без четверти девять Жеглов отправил Сапрыкина с конвоем и велел опергруппе загружаться в «фердинанд».

— Поедем в Марьину рощу, к Верке Модистке, — сказал он коротко, и никому в голову даже не пришло возразить, что время позднее, что сегодня суббота, что все устали за неделю, как ломовые лошади, что всем хочется поесть и вытянуться на постели в блаженном бесчувствии часиков на восемь-девять. Или хотя бы на семь.

Все расселись по своим привычным местам на скользких холодных скамейках автобуса, Жеглов с подножки осмотрел группу, как всегда проверяя, все ли в сборе, махнул рукой Копырину, тот щелкнул своим никелированным рычагом-костылем, и «фердинанд» с громом и скрежетом

покатился.

Жеглов сел рядом со мной на скамейку, и было непонятно, дремлет он или о чем-то своем раздумывает.

Шесть-на-девять устроился с Пасюком и рассказывал ему, что точно знает: изобретатели открыли прибор, который выглядит вроде обычного радиоприемника, но в него вмонтирован экран — ма-а-ленький, вроде блюдца, но на этом экране можно увидеть передаваемое из «Урана» кино. Или концерт идет в Колонном зале, а на блюдце все видно. И даже, может быть, слышно.

Пасюк мотал от удовольствия головой, приговаривал:

— От бисова дытына! Ну и брешет! Як не слово — брехня! Ой, Хгрышка!..

И снова повторял с восторгом:

— Ой брехун Хгрышка! Колы чемпионат такой зробят, так будешь ты брехун на всинький свит!

Шесть-на-девять кипятился, доказывая ему, что все рассказанное — правда, а он сам, Пасюк то есть, невежественный человек, не способный понять технический прогресс.

Жеглов спросил меня, медленно, как будто между прочим:

— Ты чего молчишь? Устал? Или чем недово-

лен?

Я поерзал, ответил уклончиво:

— Да как тебе сказать... Сам не знаю...

— А ты спроси себя — и узнаешь!

Я помолчал мгновение, собрался с духом и тяжело, будто языком камни ворочал, сказал:

— Недоволен я... Не к лицу нам... Как ты с Кирпичом...

— Что-о? — безмерно удивился Жеглов. — Что ты сказал?

— Я сказал... — окрепшим голосом произнес я, перешагнув первую, самую невыносимую ступень выдачи неприятной правды в глаза. — Я сказал, что мы, работники МУРа, не можем действовать шельмовскими методами!

Жеглов так удивился, что даже не осерчал. Он озадаченно спросил:

— Ты что, белены объелся? О чем ты говоришь?

— Я говорю про кошелек, который ты засунул Кирпичу за пазуху.

— А-а-а! — протянул Жеглов, и когда он заговорил, то удивился я, потому что в один миг горло Жеглова превратилось в изложницу, изливающую не слова, а искрящуюся от накала сталь: — Ты верно заметил, особенно если учесть твое

право говорить от имени всех работников МУРа. Это ведь ты вместе с нами, работниками МУРа, вынимал из петли мать троих детей, которая повесилась оттого, что такой вот Кирпич украл все карточки и деньги. Это ты на обысках находил у них миллионы, когда весь народ надрывался для фронта. Это тебе они в спину стреляли по ночам на улицах! Это через тебя они вогнали нож прямо в сердце Векшину!

Ну и я уже налился свинцово-тяжелой злой кровью:

— Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался, а четыре года по окопам на передовой просидел, да по минным полям, да через проволочные заграждения!.. И стреляли в меня, и ножи совали — не хуже, чем в тебя! И, может, оперативной смекалки я начисто не имею, но хорошо знаю — у нас на фронте этому быстро учились, — что такое честь офицера!

Ребята на задних скамейках притихли и прислушивались к нашему напряженному разговору. Жеглов вскочил и, балансируя на ходу в трясущемся и качающемся автобусе, резко наклонился ко мне:

— А чем же это я, по-твоему, честь офицерскую замарал? Ты скажи ребятам — у меня от них

секретов нет!

— Ты не имел права совать ему кошелек за пазуху!

— Так ведь не поздно, давай вернемся в семнадцатое, сделаем оба заявление, что кошелька он никакого не резал из сумки, а взял я его с пола и засунул ему за пазуху! Извинимся, вернее, я один извинюсь перед милым парнем Котей Сапрыкиным и отпустим его!

— Да о чем речь — кошелек он украл! Я разве спорю? Но мы не можем унижаться до вранья — пускай оно формальное и, по существу, ничего не меняет!

— Меняет! — заорал Жеглов. — Меняет! Потому что без моего вранья ворюга и рецидивист Кирпич сейчас сидел бы не в камере, а мы дрыхли бы по своим квартирам! Я наврал! Я наврал! Я засунул ему за пазуху кошель! Но я для кого это делаю? Для себя? Для брата? Для свата? Я для всего народа, я для справедливости человеческой работаю! Попускать вору — наполовину соучаствовать ему! И раз Кирпич вор — ему место в тюрьме, а каким способом я его туда загоню, людям безразлично! Им важно только, чтобы вор был в тюрьме, вот что их интересует. И если хочешь, давай остановим «фердинанд», выйдем

и спросим у ста прохожих: что им симпатичнее — твоя правда или мое вранье? И тогда ты узнаешь, прав я был или нет...

Глядя в сторону, я сказал:

— А ты как думаешь, суд — он тоже от имени всех этих людей на улице? Или он от себя только работает?

— У нас суд, между прочим, народным называется. И что ты хочешь сказать?

— То, что он хоть от имени всех людей на улице действует, но засунутый за пазуху кошелек не принял бы. И Кирпича отпустил бы...

— И это, по-твоему, правильно?

Я думал долго, потом медленно сказал:

— Наверное, правильно. Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии, как только нам с тобой понадобится, то это не закон тогда станет, а кистень! Да, кистень...

Все замолчали, и молчание это нарушалось только гулом и тарахтением старого изношенного мотора, пока вдруг Коля Тараскин не сказал со смешком:

— А мне, честное слово, нравится, как Жеглов этого ворюгу уконтрапупил...

Пасюк взглянул на него с усмешкой, погладил громадной ладонью по голове, жалеючи сказал:

— Як дытына свого ума немае, то с псом Панаской размовляе...

И ничего больше не сказал. Шесть-на-девять стал объяснять насчет презумпции невиновности. А Копырин притормозил, щелкнул рычагом:

— Все, спорщики, приехали. Идите, там вас помирят...

Дом стоял в Седьмом проезде Марьиной рощи, немного на отшибе от остальных бараков. Был он мал, стар и перекошен. Свет горел только в одном окне. Жеглов велел Пасюку обойти дом кругом, присмотреться, нет ли черного хода, запасных выходов и нельзя ли выпрыгнуть из окна.

А мы стояли, притаившись в тени облетевшего кустарника. Пасюк, сопя, обошел дом, заглянул осторожно в окна, махнул нам рукой. Жеглов постучал в дверь резко и громко, никто не откликался, потом шелестящий женский голос спросил:

— Это ты, Коля?

— Да, отворяй, — невнятно буркнул Жеглов, и долго еще за дверью раздавался шум разбираемых запоров. Потом дверь распахнулась, и женщина, придерживая в ковшике ладони коп-

тилку, испуганно сказала:

— Ой, кто это?

— Милиция. Мы из МУРа. Вот ордер на обыск...

Мы вошли в дом и словно окунулись в бадью стоялого жаркого воздуха — пахло кислой капустой, жаренными на комбижире картофельными оладьями, старым рассохшимся деревом, прогорелым керосином и мышами. Я заглянул за ситцевую занавеску, там спали в одной кровати два мальчика лет пяти-семи, повернулся к оперативникам, шумно двигавшим по комнате стулья, сказал вполголоса:

— Не галдите, ребята спят...

Жеглов усмехнулся, кивнул мне, усаживаясь плотно за стол:

— Давай, командир, распоряжайся!

Я взял лежащий на буфетике паспорт, раскрыл его, прочитал, взглянул в лицо хозяйке:

— Моторина Вера Степановна?

— Я самая... — От волнения она комкала и расправляла фартук, терла его в руках, и от беспорядочности этих движений казалось, будто она непрерывно стирает его в невидимом корыте.

— У вас будет произведен обыск, — сказал я ей нетвердым голосом и добавил: — Деньги, ценности, оружие предлагаю выдать добровольно...

— Какое же мое оружие? — спросила Моторина. — Все ценности мои на лежанке вон сопят. А кроме этого, нет ничего у меня. Карточки продуктовые да денег сорок рублей.

— Тогда сейчас пригласят понятых, и мы приступим к обыску, — предупредил я.

— Ищите! — развела она руками. — Чего найдете — ваше.

— А вы не удивляетесь, что обыск у вас делают, гражданочка дорогая? — спросил Жеглов, облокотившись на стол и положив голову на сжатые кулаки.

— Чего ж удивляться! Не от себя небось среди ночи в мою хибару поехали. Раз ищете, значит вам надо...

— А с чего вы живете? С каких средств, спрашиваю, существуете? — Жеглов, прищурясь, смотрел на нее в упор.

— Портниха я, дают мне перешивать вещички, — вздохнула она глубоко. — Там перехвачу, сям перезайму — так и перебиваемся...

— Кто дает перешивать? Соседи? Знакомые? Имена сообщить можешь?

— Разные люди, — замялась Моторина. — Всех разве упомнишь...

— А-а-а! — протянул Жеглов. — Не упомнишь!

Тогда я напомню, коли память у тебя ослабла: у воров ты берешь вещички, перешиваешь, а барыги-марвихеры их забирают и, пользуясь нуждой всеобщей, продают на рынках да в скупках. Так вот вы все и живете на людской беде и нужде...

— Ну да, — кивнула согласно Моторина. — Вон я как на чужой беде забогатела, мне самой много — хочешь, с тобой поделюсь...

— А ты меня не жалоби, — мотнул головой Жеглов. — Ишь, устроила — клуб для воровских игр и развлечений...

Он широко взмахнул рукой, как бы приглашая всех полюбоваться на патефон с набором пластинок и гитару с пышным бантом на стене.

— Тебя, видать, разжалобишь, — сказала Моторина и, повернувшись ко мне, предложила: — Вы, гражданин, ищите, чего вам надо. А хотите — спросите, может, я сама скажу, коли знаю, чтобы и время вам не терять...

— К вам когда приходил Фокс? — наугад спросил я.

— Фокс? Дня два тому или три...

— А зачем приходил? Что делал?

— Ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Вот он забрал шубу и ушел...

— Какие вещи? — посунулся я к ней.

— Чемодан, — спокойно сказала Моторина. Зашла за занавеску и вынесла оттуда кожаный желтый чемодан с ремнем посредине — точно по описанию чемодан Ларисы Груздевой.

— А какую, вы говорите, шубу он взял?

— Так я разве присматривалась? Черная меховая шуба, под котик она, кажется. Сложил ее в наволочку и унес.

В чемодане оказались чернобурка, платье из панбархата, темно-синий вязаный костюм, две шерстяные женские кофты — почти все вещи, похищенные из квартиры Ларисы. Это была неслыханная удача, в нее было трудно поверить. Оставалось только понять, как эти вещи от Груздева попали к неведомому Фоксу. Если бы его удалось задержать, все встало бы тогда на свои места.

— А как попал к вам Фокс? — спросил я.

— Его привел как-то несколько месяцев назад Петя Ручечник. Сказал, что знакомец его, в Москву он в командировки часто наезжает, а с гостиницами плохо, просил приютить. Он мне платил помаленьку...

— Фокс в последний раз как выглядел?

Моторина с удивлением взглянула на меня,

неторопливо объяснила:

— Приличный человек, одет в военное, только без погон. Очень культурный мужчина: слова плохого не скажет или чтобы с глупостями какими приставал — никогда. Но ночевал он редко — все больше принесет вещи, а потом забирает. Нет, ничего плохого про него не скажу — приличный мужчина...

— Скажите, Вера Степановна, — начал я, мучительно подбирая слова. — Вот как бы вы определили, вы же видели здесь жуликов, отличить можете... Фокс этот — преступник или нет?

— Не думаю, — рассудительно сказала Моторина. — Он научной работой занимается...

И вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль, но, прежде чем я открыл рот, Жеглов выхватил из планшета фотографию Груздева — в фас и профиль — и протянул Мотори ной:

— Ну-ка, Вера, глянь — он?

Моторина долго крутила в руках фотоснимок, внимательно присматривалась, потом сказала нетвердо:

— Нет, не он вроде бы. Этот постарше. И нос у этого длинный... И не такой симпатичный...

— Что значит «вроде бы»? — рассердился Жеглов. — Ты же его не один раз видела, неужели не

запомнила?

— А что мне в него всматриваться? Не замуж ведь! Но все ж таки этот — на карточке — не тот. Фокс — он вроде тебя, — сказала она Жеглову. — Высокий, весь такой ладный, быстрый. Брови у него вразлет, а волосы курчавые, черные...

— Про чемодан что сказал? Когда придет? — спросил я.

— На днях обещал заглянуть — перед отъездом домой. Тогда, сказал, и вещи свои заберу...

Пока оперативники заканчивали обыск, я поинтересовался у Жеглова:

— Глеб, а кто такой Петя Ручечник?

— Ворюга отъявленный. Сволочь, пробы негде ставить...

— Разыскать его трудно?

— Черт его знает — неизвестно, где искать.

— А какие к нему подходы существуют?

— Не знаю. Это думать надо. Через баб его можно попробовать достать. Но он и с ними не откровенничает. — Жеглов встал и повернулся к Мотириной: — У вас останутся два наших сотрудника. Теперь они будут вашими жильцами!

— Зачем? — удивилась она.

— Затем, что в доме вашем остается засада. Вам из дома до снятия засады выходить не раз-

решается...

— А сколько же ваша засада сидеть тут у меня будет?..

— Пока Фокс не заявится...

Еще не было одиннадцати, когда мы торопливо вывалились на улицу. Шагая к автобусу по немыслимым колдобинам Седьмого проезда, я с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, который казался еще слаще после духовитой атмосферы Веркиного дома, и размышлял о том, какое все-таки чудо — личный сыск, когда в огромном многомиллионном городе не растворился, не исчез в людском скопище тонюсенький ручеек следов, начавшийся в квартире Груздевых, ушедший под землю, забивший нежданным ключиком во второсортном ресторанчике «Нарва», сделавший столько прихотливых извивов и вышедший на ровное место в Седьмом проезде Марьиной рощи. Один лишь вопрос имеется: судя по всему, этот Фокс — тертый калач и, какой бы он ни был окраски, он из преступного мира. А Груздев все-таки врач, кандидат наук, человек почтенной специальности, и совершенно непонятно, что его может связывать с уголовником. Правда, я уже слышал о таком: Груздев мог нанять Фокса или как-нибудь иначе заставить его

принять участие в преступлении, но, честно говоря, подобный вариант представлялся мне более похожим на рассказы Гриши Шесть-на-девять.

Дошли до автобуса, молча расселись по своим местам, Копырин лязгнул дверным рычагом, и «фердинанд» тронулся. На улицах было пустынно, и ехали быстро — промелькнул детский парк, заброшенное кладбище, выехали на Трифоновскую, потом на Октябрьскую. На площади Коммуны Тараскин вдруг сказал радостно:

— Гля, с театра-то камуфляж сымают, а?

Театр Красной Армии был хорошо освещен — на стройных его колоннах висели малярские люльки. Омерзительные зеленые разводы, маскировавшие театр при воздушных налетах под немыслимые, ненастоящие деревья, теперь тщательно закрашивали, и к огромным колоннам возвращалась их прежняя строгая красота...

Жеглов сказал мне:

— Значитца, так, Володя. Мы сейчас в Управление: надо Верку по учетам проверить, чемодан с вещичками посмотрим внимательно. А вы с Тараскиным едете дальше, на Божедомку, выявляете женщину, о которой говорил Кирпич. Сделаешь быстро установочку на нее, оглядишься — и к ней. Только осторожно: если тот орелик у

нее, можете на пулю нарваться. А дальше — по обстоятельствам. Жду!

Автобус по Каретному подкатил к воротам дежурного по городу, ребята выскочили на улицу, а мы с Тараскиным поехали на Божедомку.

«Фердинанд» мы оставили за квартал до седьмого дома и пошли по тротуару неторопливой, фланирующей походкой, чтобы не привлекать внимания — так, два немного загулявших приятеля. Освещение было тусклое, фонари на редких столбах светили словно нехотя, и разбойно посвистывал в подворотнях пронизывающий, едкий октябрьский ветерок. Под номером семь оказалось, собственно говоря, не один, а целых три дома, и на каждом из них была табличка: «Дом 7, строение 1», «Дом 7, строение 2», «Дом 7, строение 3». Домишки неважные, ветхие, скособоченные, обшитые почерневшими трухлявыми досками. Кирпич указал «строение 2», но списка жильцов в подъезде не было, да и что от него толку, когда нам неизвестна фамилия знакомой Фокса? Надо было искать дворника.

— Эх, за участковым следовало заехать! — шепотом пожалел Тараскин, и я не успел согласиться, как из двора вышел человек в подшитых валенках, зимней шапке-ушанке, с огромной железной

бляхой на фартуке — дворник. Попыхивая невероятных размеров «козьей ногой», он подошел к нам, подозрительно присмотрелся и спросил неожиданно тонким, скрипучим голосом:

— Ай ищете кого, гражданин? Вам какой дом надобен?..

Я торопливо достал из кармана гимнастерки свое новенькое удостоверение и с удовольствием — предъявлять его приходилось впервые — показал дворнику. И сказал вполголоса:

— Нам управляющий седьмого дома нужен. Срочно!

Дворник пыхнул цигаркой, окутавшись таким клубом едкого дыма, словно дымзавесу химики протянули, и сказал вполголоса, будто огромную тайну нам доверил:

— Воронов Борис Николаевич. Они тут же, при домправлении проживают. Спят, должно...

— Веди! — скомандовал Тараскин, и мы двинулись вслед за дворником к домоуправу, который, как вскоре выяснилось, не спал, а сидел в конторе с большой кружкой чая в единственной руке и читал «Пещеру Лейхствейса», засаленную и растрепанную.

Мы полистали домовую книгу, такую же древнюю, как «Пещера», только для нас в данный

момент более интересную. В строении № 2 проживало четыре семьи. Муж и жена Файнштейн, оба рождения 1873 года. Суетовы — Марья Фоминична, 1903 года рождения, и ее сыновья-близнецы, тридцать пятого года рождения. Фамилия Суетова Ивана Николаевича, 1900 года, была прочеркнута, и сбоку красными чернилами написано: «Погиб на фронте Отеч. войны 17 дек. 1941 года». Курнаковым досталось два таких прочерка, а значились женщины, — видимо, свекровь и сноха, Курнакова Зиновия, 1890 года, и Курнакова Раиса, 1920 года. Завершался список квартиросъемщиков «строения 2» Соболевской Ингрид Карловной, 1915 года рождения. Курнаковы и Соболевская жили на втором этаже, поэтому я сразу же и попросил управляющего:

— Борис Николаевич, опишите нам коротенько жильцов второго этажа...

— Пожалуйста. — Воронов, прижав коробок ладонью к столу, очень ловко чиркнул по нему спичкой, закурил. — Соболевская — женщина интеллигентная, певицей работает, разъезжает часто. Ведет себя скромно, квартплату вносит своевременно...

— До войны еще замуж вышла, — вмешался дворник. — Переехала к мужу, да, как война на-

чалась, он погиб в ополчении. Она и вернулась... Приличная жилица, себя соблюдает, не то что Катька Мокрухина из двадцать седьмой, спокою от нее ни днем ни ночью нет...

— Постой, Спиридон, что из тебя, как из рваного мешка, сыплется! — сказал домоуправ, и дворник обиженно замолчал. — Теперь Курнаковы. Зиновия Васильевна на фабрике работает, ткачиха, а невестка, Рая, та дома по хозяйству — больная она, после контузии видит плохо, ей лицо повредило... А так люди хорошие, простые...

Мы с Тараскиным переглянулись — выбирать было не из чего, — попрощались с домоуправом, позвали с собой дворника и вышли. На втором этаже слабо светилось из-за тюлевой занавески одно окно. Дворник показал на него, бормотнул:

— Соболевская...

— Слушай, друг! — Я положил ему руку на плечо. — Ты не видал, часом, парень к ней ходит, довольно молодой...

Спиридон почесал затылок, сказал неуверенно:

— Хто ее знает... Ходют, конечно, люди... Ходют. И молодые ходют. А какой он из себя?

В спешке у Кирпича не взяли подробного словесного портрета Фокса, да и тактически было

неправильно показывать Кирпичу, что ищем мы и сами не знаем кого, и теперь, кроме скупой Веркиной характеристики: «Ладный, брови вразлет, высокий, черный», я ничего о Фоксе и сказать не мог. Так я и объяснил:

— Высокий, ладный такой, брови вразлет, волосы черные...

— Вроде заходил наподобие... — сказал задумчиво дворник, и было видно, что он говорит это скорее из желания сделать приятное работникам милиции, беспокоящимся в такую поздноту. И совершенно бездумно повторил: — Высокий, ладный...

— В военной форме, только без погон, — вспомнил я.

— Так ведь сейчас все в военной форме без погон ходют, — резонно возразил дворник. — Это я тут слыхал, как один сговаривался по телефону с другим спознаться: я, говорит, буду в галошах и в пиджаке.

— И то верно, — согласился Тараскин и сказал мне: — Хватит небось рассусоливать, пошли к ней, там видно будет...

Мы вошли в подъезд, темный, пропахший старым крашеным деревом, кошками, щами и оладьями из картофельной кожуры, которые

все называли тошнотиками. Наверх вела старая перекосившаяся лестница, и от одного только взгляда на нее, казалось, поднимался невероятный скрип. Между этажами горела маленькая пыльная лампочка — уныло, вполнакала, еле-еле самое себя освещала.

— Вы меня здесь подождите, — шепнул я и двинулся наверх неслышным плывущим шагом, от которого уже начал на гражданке отвыкать; приник к двери Соболевской. За дверью было совершенно тихо, и я стал прикидывать, под каким предлогом лучше всего стучаться в квартиру.

С одной стороны, Кирпич мог наврать, показать вовсе и не тот дом, и в этом случае мы сейчас поднимем неповинного человека, одинокую женщину. Невелика радость ей посреди ночи двери открывать кому бы то ни было. С другой стороны, если адрес правильный, Фокс может сейчас быть здесь, а поскольку он мальчишечка серьезный, то и бабахнет за милую душу. Жеглов не зря предупреждал. Конечно, был бы здесь Жеглов, он бы что-нибудь придумал...

В общем, какие фортели ни перебирай, а входить надо. И если Фокс там, наш приход должен выглядеть понатуральней, а всякие там «примите телеграмму» и все такое прочее сразу наведет

его на подозрение.

Я опять спустился, быстро отдал распоряжения:

— Тараскин, ты давай под окна на всякий случай — вдруг сиганет, здесь невысоко, так что ты его встретишь. А ты, дед Спиридон, со мной. Она тебя знает?

— Знает, — буркнул дворник.

— Скажешь ей, что с тобой милиция — проверка документов. Извинись.

Дворник кивнул, и мы пошли наверх. Стучать в дверь пришлось довольно долго, наконец сонный испуганный женский голос спросил:

— Кто там?

— Это я, дворник, Спиридон Иваныч, — сказал дед, прокашлявшись. — Вы уж извините, гражданочка Соболевская, отворите на минутку...

Дверь приоткрылась — видимо на цепочке. Соболевскую в темном коридоре не видно было, но она, наверное, разглядела дворника и сказала уже спокойнее, но с раздражением:

— Что приключилось, Спиридон Иваныч?

— Да вот из милиции, проверка документов, вы уж отворите, — сказал виновато дворник, и Соболевская, сняв цепочку, открыла дверь, зажгла свет в прихожей.

Я поздоровался и сразу же, бормотнув «извините», прошелся по квартире — ни в комнатах, а было их две, ни в крохотной кухоньке, ни в таком же крохотном туалете никого не было. Только убедившись в этом, я вернулся в прихожую, сказал хозяйке:

— Извините, пожалуйста, гражданочка. Служба! — И, разведя руками, пояснил: — Время трудное, паспортный режим приходится соблюдать.

Соболевская хмуро, без всякого сочувствия, кивнула. На ней был толстый махровый халат, голова низко — по самые брови — плотно завязана шелковой косынкой, лицо покрыто таким густым слоем белого крема, что черты толком разглядеть невозможно. Я помялся немного, попросил:

— Мне бы поговорить с вами хотелось. Можно?

Соболевская пожала плечами:

— Н-ну... Если это необходимо... Извините за такой вид... Лицо — мой профессиональный инструмент... Прошу в гостиную.

Мы прошли в гостиную — небольшую, на мой взгляд, богато обставленную комнатку, очень не похожую на ужасный внешний вид «строения 2». Многое мне здесь понравилось и удивило: красивый пушистый ковер, лежавший на полу, в то время как многие охотно повесили бы такой

ковер на стену, кабы достали, — жалко мне было ногами топтать такую добрую вещь, — и стоящая на полу лампа в виде узкой длинной китайской вазы с огромным темно-красным пушистым абажуром, и коротконогий столик с хрустальной пепельницей и ворохом красивых заграничных журналов, и низкие мягкие кресла. Я так засмотрелся на все это, что чуть не забыл о цели своего прихода, но хозяйка, даже не предложив сесть, сухо напомнила:

— Так я слушаю вас...

Я взглянул на дворника, который столбом замер в прихожей. В предстоящем разговоре он был человеком лишним, и я сказал:

— Спасибо, Спиридон Иваныч, за службу. Свободен!

Дворник ушел, а я осторожно присел на краешек кресла — умаялся за день! — и приготовился спрашивать, не в лоб, конечно, а осторожно, с подходцем. Соболевская, скривив губы, закурила длинную пахучую папиросу и тоже села.

— Ходят последнее время по разным домам разные люди... — начал я весьма неопределенно, поскольку и сам еще не представлял, как выстроить план атаки, и все слова, подходящие и уместные мысли испарились, и снова я с зави-

стью вспомнил о Жеглове — он-то не растерялся бы, — но, поскольку Жеглов находился совсем в другом месте, мысленно махнул я рукой и пустился во все тяжкие: — Под видом, значит, государственных этих... служащих, жульничают, ну и... В порядке, так сказать, предупреждения... К вам приходил кто за последнее время?

— Только мои хорошие знакомые, — твердо сказала Соболевская и этим ответом напрочь отсекла возможность развития темы о каких-то неизвестных проходимцах. И тогда я плюнул на все подходы и спросил прямо:

— А четыре дня назад вечером к вам приходил... Кто такой?

Зажав длинный мундштук папиросы двумя пальцами и красиво отставив мизинец, Соболевская глубоко затянулась, выпустила узкую струю пахнущего медом дыма, не спеша, растягивая слова, сказала:

— А-а... Во-от вы о чем... Н-ну что ж... Этого человека я действительно мало знаю... — И надолго замолчала.

Я добыл из кармана измочаленную пачку «Норда», размял папироску, чиркнув трофейной зажигалкой, тоже закурил. Молчание затягивалось, но молчать — не разговаривать, молчать

я могу всерьез и подолгу, и поэтому я спокойно потягивал дымок, аккуратно скидывал пепел в ладонь, пока весь табачок не прогорел и жженой бумагой не запахло; тогда я поднялся, отряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую.

— Не скрою, я хотела бы знать его лучше, — сказала она так, будто никакой паузы вовсе и не было. И огорченно развела руками: — К сожалению, у меня это не получилось...

Она опять молчала, глубоко вздыхала, думала о чем-то, должно быть, невеселом или неприятном, потому что глаза ее сначала увлажнились, а потом зло сощурились, она с силой раздавила окурок в пепельнице и сказала:

— Это мой любовник. Бывший. Мы познакомились полгода назад случайно, и мне показалось, что... А-а!.. — Она закурила новую папиросу. — В общем, у нас ничего не получилось и мы разошлись. Фокс — так его зовут. Вернее, зовут его Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии...

— Работает?.. — осведомился я деловито.

— Секрет! Он скрывал, где работает, где живет... У него сплошные секреты!

— Да?

— Как-то раз он дал мне понять, что имеет отношение к СМЕРЖу.

— К СМЕРШу, — поправил я.

— Может быть, — равнодушно сказала Соболевская. — Я в этом не разбираюсь. И не в этом дело. Я не знаю, что он там по вашей линии наколбасил, но я ему... не верила. И всегда думала, что он плохо кончит...

— Это почему же?

— Н-ну... не знаю, поймете ли вы меня... Он, как бы это вам сказать... необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность, о нет! Хотя он и красивый парень. Но я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок. Смел. Силен. Не то что остальная мужская братия...

Я даже поежился — столько презрения к «остальной мужской братии» прозвучало в ее голосе, — и с неожиданным сочувствием подумал, что немало, верно, довелось ей горького хлебнуть в жизни, раз она так заостряется. Но что-то мы отвлеклись, и я напомнил:

— Насчет того, что он плохо кончит...

— А! У него всех этих качеств — *слишком*. Таким людям трудно удержаться в границах дозволенного.

— Понял, — кивнул я. — И давно вы разо-

шлись?

— Три месяца назад. И больше не виделись, кроме того раза, о котором вы спросили.

— А что случилось? Пришел он зачем?

— Всего-навсего за бритвенным прибором.

Я подумал и спросил вроде бы в шутку:

— Срочно побриться захотел?

Но Соболевская ответила вполне серьезно:

— У него «жиллет» — хорошая заграничная бритва, и он ею очень дорожил.

Довод этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно:

— Ага, ясно. Где он живет?

Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась:

— Мне стыдно за свое легкомыслие, но... он не хотел говорить, а я его не допрашивала...

И я вдруг понял, что ей действительно стыдно, до слез, до боли, и она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней. А она спросила:

— Он натворил что-нибудь серьезное? Если не секрет, конечно?

Она не вызывала у меня подозрений, да и почему-то мне стало ее жалко, но поскольку главная

добродетель сыщика, по словам Жеглова, все-таки есть хитрость и сам я полагаю так же, то я слукавил:

— Да как вам сказать... Здорово похож он на одного злостного алиментщика. Двоих ребят бросил, а сам порхает... — И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос: — Нам по приметам дворник-то ваш и подсказал... — На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышления, попросил: — Имя-то ничего еще не говорит — вы же в его паспорт не смотрели? Опишите его — какой он?

Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно:

— Конечно, роль вы мне отвели малопочтенную... Но ради двух голодных несчастных брошенных детей... Так и быть, слушайте... — И никакого сочувствия к несчастным брошенным детям Фокса я не уловил в ее голосе, а скорее звенела в нем амбиция отвергнутой любовницы. Уставившись неподвижным взглядом в угол, Соболевская монотонно перечисляла: — Высок, строен, широк в груди, узок в талии, голова красивая, гордая, с пышной шевелюрой вьющихся черных волос... Лицо бледное, лоб высокий, глаза синие, брови

соболиные, нос орлиный, рот... Рот, пожалуй, его портит, губы слишком тонкие, но для мужчины это не страшно... Зубы ровные, на подбородке — ямочка... Голос хрипловатый, но нежный. Умен и отважен. Впрочем, вас это не интересует... Все!

И совершенно неожиданно заплакала.

* * *

Приближается зима, многие москвичи уже озабочены подшивкой валенок. До сих пор эта работа выполнялась вручную. Инженер Дятлов сконструировал для подшивки валенок специальною машину, на которой мастер сможет подшить за день до 150 пар валенок.

«Вечерняя Москва»

Я проснулся без четверти шесть от холода, — укладываясь спать, Жеглов растворял настежь окно и утверждал, что от свежего воздуха человек высыпается вдвое быстрее. На цыпочках я перебежал к окну, ежась от холода, быстро прикрыл раму и начал делать зарядку и чем быстрее махал руками и ногами, тем становилось теплее. Из-за серого дома Наркомсвязи вставало красное, чуть задымленное облаками солнце, сиреневые и серые рассветные тона растекались под карнизы и крыши, и сейчас стало видно, что кровли покрыты серебряной испариной первого утренника. Воздух был прозрачен и тягуч — он слоился струями и имел вкус снега и хвои. Посмотрел я,

посмотрел и снова открыл окно.

Из-под одеяла вылезла взлохмаченная жегловская голова, и хриплым со сна голосом он спросил встревожено:

— Але, мы с тобой не проспали?

— Давай вылезай скорее, сейчас чай будет...

К чаю у нас было четыре пакетика сахарина, котелок вареной картошки, холодной правда, но все равно вкусной, с тонкой солью «Экстра», и две банки крабов. Я купил крабы позавчера в соседнем магазинчике — их продавали вместе с белковыми дрожжами без карточек, и весь магазин был заставлен пирамидами, сложенными из блестящих баночек с надписью «СНАТКА» и «АКО».

— Конечно, краб — это не пища, — рассуждал Жеглов за столом. — Так, ерунда, морской таракан. Ни сытости от него, ни вкуса. Против рака речного ему никак не потянуть. Хотя если посолить его круто и с пивом, то ничего, все-таки закусочка. Но едой мы его признать никак не можем...

Я, как ответственный за продснабжение, обиделся:

— Ты же сам просил меня карточки не отоваривать за эти дни, приберечь к праздникам,

— может толковое что-нибудь выкинут! У нас за целую декаду карточки сохранились, а ты бубнишь теперь!

— А я разве что? Правильно действовал. Но знаешь, если еду поругать, то себя самого выше понимаешь. А с собой имеем что-нибудь? Там ведь на свежем воздухе жрать как волки возжелаем...

— Вон я уже в авоську упаковал харчи. Рацион, значит, такой предлагается: два гороховых брикета-концентрата, буханка хлеба, три луковицы-репки, небольшой шматок сала и три куска рафинада натурального. Заварка чайная само собой. Хватит?

— Хватит. Может, крабов еще пару банок возьмем?

— А тебе там пива к ним не заготовили, — ехидно сказал я.

— Стану я на вас надеяться, — хмыкнул Жеглов и, нырнув за диван, вытащил оттуда поллитровку. — Подойдет?

— Живем, — засмеялся я. — Вот только ехать мне не в чем — ботинки совсем развалились.

— А сапоги?

— Да ты что, Жеглов? Они же у меня теперь единственные — хромовые, офицерские, — а я в

них по глине там топать стану? В чем мне тогда завтра-то ходить?

— Плюнь! Живы будем — новые справим.

— Ну нет, — не согласился я. И отправился к Михал Михалычу.

А Жеглов натянул свои щегольские сапожки и почистил их еще на дорогу, словно собирался не на огороды, а к руководству. Он уже совсем был готов, когда я вернулся — в отрезных подшитых валенках с кожимитовой подошвой и простроченными носами. В придачу они еще были маловаты.

— Брось людей смешить, — сказал Жеглов. — Солнце на улице, а ты в валенках...

— Ничего, ничего. Я ведь не танцевать еду, а работать, так что посмотрим еще, кто кого насмешит...

Мы шли по городу, утренне просторному, воскресному, и солнце уже стало желтым, мягким, а воздух я прямо разгребал горстями. На Сретенском бульваре замерли недвижимо липы, и сказал я Жеглову с грустью:

— Эх, жалко! Сейчас после заморозка солнышко пригреет — сразу лист потечет...

На Кировской в огромном доме ЦСУ рабочие снимали со стеклянных стен фанеру, которой

было забито легкое воздушное здание все долгие военные годы. На Комсомольской площади трещали и гомонили трамваи, бегали люди с мешками и чемоданами, шум и гам стоял невообразимый, и разрывали его только острыми голосами мальчишки, продававшие скупленные заранее журналы «Крокодил», и деньги просили они немалые — червонец за штуку, хотя цена была рубль двадцать.

Мы с Жегловым направились к седьмой платформе, где должны были встретиться с остальными сотрудниками Управления прямо у электрички. Издали мы увидели плотную компанию, из которой нам призывно махали руками Пасюк и Тараскин. А когда подошли вплотную, какая-то девушка шагнула мне навстречу:

— Здравствуйте, товарищ Шарапов! — И поскольку я от растерянности не ответил, спросила: — Вы меня не узнаете?

Я смотрел на Варю Синичкину и проклинал себя, крестьянскую свою скупость, и вместо того, чтобы поздороваться с ней, думал о Жеглове — всегда и во всем тот впереди меня, потому что не бережет на выход свои единственные сапоги и на копку картошки не берет у Михал Михалыча старые подшитые валенки, а натягивает свои

сияющие «прохаря», и если судьба дарит ему встречу с девушкой, которую уже однажды по нескладности, неловкости и глупой застенчивости потерял, то ему не придется выступать перед ней в дурацких валяных ко́тах...

— Моя фамилия Синичкина, — нерешительно сказала девушка. — Мы с вами в роддом малыша отвозили...

На ней была телогрейка, туго перехваченная в поясе ремнем, спортивные брюки и ладные кирзовые сапоги, и вся она была такая тоненькая, высокая, с лицом таким нежным и прекрасным, и огромные ее серые глаза были так добры и спокойны, что у меня зашлось сердце.

— Вы забыли меня? — снова спросила Синичкина, и я неожиданно для самого себя сказал:

— Я вас все время помню. Вот как вы ушли, я все время думаю о вас.

— А на работе? — засмеялась Варя. — Во время работы тоже думаете?

— На работе не думаю, — честно сказал я. — Для меня эта чертова работа все время как экзамен, непрерывно боюсь, чтобы не забыть что-нибудь, сообразить стараюсь, разобраться, запомнить. У меня башка ломится от всей этой премудрости...

— Ничего, научитесь, — заверила серьезно Си-

ничкина. — Мне первое время совсем невмоготу было. Даже на гауптвахту попала. А потом ничего, освоилась.

— А за что же на гауптвахту? — удивился я.

— Я только месяц отслужила, и у подружки свадьба, приехал с фронта ее жених. А я дежурю до самого вечера — никак мне не поспеть прическу сделать. Ну, я думаю: чего там за полчаса-то днем произойдет? И с поста — бегом в парикмахерскую, очень мне хотелось шестимесячную сделать. Прямо с винтовкой и пошла — мы тогда еще на постах с винтовками стояли. А тут как раз поверяющий — бац! И мне вместо свадьбы — пять суток на губе! — Она весело расхохоталась, и, глядя на влажный мерцающий блеск ее ровных крупных зубов, я тоже стал завороженно улыбаться и с удивлением заметил, что мне совсем не стыдно рассказывать ей о своей неумелости и бестолковости, и то, что я так тщательно скрывал все это время от товарищей, ей открыл в первый же миг, и почему-то незаметно растворилась неловкость из-за проклятых валенок и осталось только ощущение добродушной улыбчивости, незамутненной чистоты этой девушки и непреодолимое желание взять ее за руку.

Я, наверное, так и сделал бы, но Варя показала

мне на человека, идущего по платформе:

— Этот дядька сейчас упадет...

Профессорского вида полный пожилой мужчина в толстых очках, щурясь, высматривал место посадки в электричку. В руках у него были завернутые в мешковину саженцы, а по доскам перрона вслед за ним волочились развязавшиеся шнурки бутсов. И прежде чем я открыл рот, Варя Синичкина побежала к нему:

— Постойте, дядечка, вы сейчас наступите на шнурок! — Нагнулась и быстро, ловко завязала ему шнурки на обоих бутсах. — Вот и все в порядке! — И раньше, чем смущенный толстяк успел ей сказать что-либо, она уже вернулась ко мне, спрашивая на ходу: — А как вас зовут? А то неудобно мне вас называть «товарищ Шарапов»!

— Володя, — отрекомендовался я и снова смутился: как-то глупо это у меня получилось, будто в детском саду! Взрослый человек, двадцать два года, старший лейтенант — и Володя! Сказал бы еще — Вова!

— Владимир... — сказала Варя. — Хорошее имя, старое. Мне нравятся такие имена. А то была мода на иностранные, столько ерунды с этим получалось! Со мной в школе мальчик учился, Кургузов, так его родители назвали Адольфом.

Представляете, сколько он мук натерпелся потом — Адольф Кургузов! А мальчишка хороший был, он под Яссами погиб...

Жеглов постучал согнутым пальцем в мою спину, как в дверь:

— Можно? Сейчас поезд подадут, так ты очнись, пожалуйста, места надо будет занимать...

К платформе медленно подъезжала переполненная электричка, тараня плоским своим лбом прозрачный плотный воздух. У открытых дверей толпились люди, пассажиры на перроне невольно отступили на шаг от края. И тогда Жеглов, плавно оторвавшись всем телом от настила, изогнулся в воздухе гибко и легко — и в следующий миг он уже стоял в тамбуре. Сходящие толкали его узлами и сумками, коробками и мешками, кричали на него и обзывали всячески, но он вворачивался в их плотное месиво, отругивался, смеялся и шутил, и еще не все вышли из вагона, когда он высунул голову из окна:

— Две лавки в нашем распоряжении. Поторапливайтесь...

Варя от души хохотала, я смотрел на него с завистью, Тараскин все воспринимал как должное, Пасюк качал головой: «От жук, ну и жук!» — а Шесть-на-девять уже рассказывал, как он семь

суток вез на крыше пульмана стеклянный бочонок с медом. Почти все сотрудники Управления влезли в один вагон, и сразу возник слитный шум от разговора множества знакомых между собой людей.

Жеглов уже заключил пари с Мамыкиным из второго отдела, что его бригада накопает картошки больше, чем они:

— Мы в работе лучше, мы и картошкой вас закидаем!

Шесть-на-девять, устроившийся в середине букета девочек из наружной службы, закончил рассказ про пульман и объяснял, что у него удар правой рукой — девяносто килограммов, а левой — девяносто пять и что чемпион страны по боксу Сегалович уклонился от встречи с ним. Девчонки-милиционерши уважительно щупали его бицепсы и от души заливались. Коренастая блондиночка Рамзина из дежурной части гладила его по сутулой спине и говорила:

— Гриша, женись на мне, я тебя никому в обиду не дам... А уж Льву Сегаловичу тем более...

Ребята из ОБХСС играли на перевернутом чемоданчике в домино, а Тараскин искоса взглянул на них и, наверное, из зависти, что ему не нашлось места, высокомерно сказал:

— Самая умная игра после перетягивания каната!

Пасюк забрался в угол и сразу же крепко заснул. Варя посмотрела на него и с жалостью сказала:

— Обида какая! Человек треть своей жизни проводит во сне! Представляете, как досадно проспать двадцать пять лет! Ужасно! Двадцать пять лет валяешься на боку и ничего с тобой интересного не происходит! Хорошо хоть, что сны снятся. Владимир, вам часто сны снятся?

— Редко, — признался я, и тон у меня был такой, будто это моя вина или есть во мне какой-то ущерб, по причине которого редко сны снятся. И я добавил, оправдываясь: — Устаем мы очень сильно...

— А мне сны часто снятся! — радостно сказала Варя, сияя своими серыми глазами, и мне невыносимо захотелось проникнуть в ее сон, узнать, что видит она в голубых и зеленых долинах волшебных превращений яви в туманную дрему неожиданно пришедшей мечты.

— Сегодня тоже снился? — спросил я серьезно.

— Да! Но я его не весь запомнила — он снился мне как раз перед тем, как проснулась. Не помню, как получилось, но снилось мне, что я хожу по огромному дому, стучу во все двери и раздаю лю-

дям васильки и ромашки — почему-то были там только ромашки и васильки. И столько я цветов раздала, а букет у меня в руках меньше не становится. И никак не могу вспомнить, знакомые это мне люди или чужие...

Я взял ее за руку, и она не отняла свою тоненькую ладошку, и мне ужасно захотелось рассказать ей про удивительный сон, который я видел прошлой зимой в полузаваленном блиндаже на окраине польского города Радом: снился мне перед рассветом синий луг с ослепительно желтыми цветами, которые спокойно жевала наша батальонная грустная лошадь Пачка, и я хотел закричать во сне, что надо отогнать ее — там мины, — но немота и бессилие сковали меня, и через синий луг побежал к Пачке белобрысый конопатый солдат Любочкин, и во сне кричал я и бился, стараясь остановить его, и проснулся от воя и протяжного грохота, располосованного криком: «Любочкина миной разорвало!»

Но ничего я не сказал про свой запомнившийся с войны сон, а только, наклонившись к ней ближе, негромко пробормотал:

— Варя, сказать вам, о чем я мечтаю?

— Скажите! Мне всегда интересно, кто о чем мечтает!

— Я мечтаю, что когда-нибудь у меня в доме постучат в дверь, я открою и увижу вас...

— А ромашки и васильки? — засмеялась Варя. — Сейчас уже октябрь...

— Это неважно. Лишь бы вы пришли...

Она улыбнулась и мягко, осторожно вытащила свою руку из моей. А Жеглов взял у кого-то гитару и быстрым, ловким своим баритончиком запел песню, отбивая на струнах концы фраз.

Мне и песня нравилась, еще больше нравилось, как поет ее Жеглов, но совсем не нравилось, как смотрит на него Варя. Будто и не кричал Жеглов на нее когда-то во дворе дома по Уланскому переулку — лучше бы она была позлопамятнее! Жеглов спел еще несколько песен, отдал гитару и стал что-то негромко говорить Варе на ухо; все время посмеивался он при этом, хищно поблескивали коричневые его глаза, и полные губы немного оттопыривались, будто держал он в них горячую картошку. А Варя слушала его с удовольствием, и мне это было непереносимо: я ведь видел, как ей интересны жегловские байки. Потом она махнула на него рукой и сказала:

— Да бросьте! Сроду ни в одном кинофильме не было хорошего человека в пенсне! Ни в книге, ни в кино — никогда положительный герой не

носил пенсне. Вот если бы мне нужны были очки, я бы назло всем пенсне купила!

— Варя, да какая же ты положительная? — серьезно спросил Жеглов. — Ты остро отрицательная — вон, взгляни, как смотрит на меня Шарапов! Зарэжет! И все из-за тебя!

Я смутился от неожиданности, пробормотал что-то, и Жеглов уже изготовился разобраться со мной как следует, но Тараскин сказал:

— Станция Софрино. Следующая — Ащукинская, нам сходить...

До огородов было километра полтора, и шли мы всей гурьбой вдоль железнодорожной насыпи, через перелесок, по берегу уснувшей речки. В заводях пузырчато чешуилась зеленая ряска, а на протоке виднелось полосатое песчаное дно со спутанными космами водорослей. Неостановимо несло ветерком переливающуюся паутину, клейкие ее ниточки садились еле ощутимо на лицо. Стояли уже прибитые первым заморозком травы. Багровел жесткими листочками черничник, замер по сторонам бронзовый багульник, а в лесочке еще видна была среди листвы и трав фиолетовая, словно заиндевевшая, голубика.

Варя шла впереди с Жегловым, а я нарочно отстал — я понимал, как нелепо выгляжу в своих

валенках, каменно молчащий и неуклюжий, рядом с Жегловым. Настроение испортилось, не хотелось смотреть вперед, туда, где рядом с Жегловым вышагивала по плотно убитой дороге своими длинными стройными ногами Варя, а Жеглов одновременно что-то рассказывал, махал руками, свистел, изображал в лицах — целый МХАТ в сияющих хромовых сапогах...

Пасюк похлопал меня по плечу, широко ухмыльнулся:

— Гей, хлопче, нэ журывсь!

— А мне-то что? — пожал я плечами. — Какое мое дело...

— Тож то я и бачу, шо тоби нема дила, як до цыганив, шо твого коня уводилы!

Не ответил я, только рукой махнул, а Пасюк заметил:

— Гарна дивчина. Надоест ей Жеглов, дуже он швыдкий. Ее на той фейерверк не пидманишь... — Посмотрел мне хитро в глаза: — Або и замазка оконная ей не подойдет, ты свой характер покажи...

Пока я раздумывал, как это мне показать Варе свой характер, да так, чтобы он ей понравился больше жегловского, дошли мы до огородов. Стояла там на меже фанерная хибарка, где жил

сторож дед Максим. Встретил старик нас радостно, поинтересовался, не привезли ли чего «старые кости согревающего», роздал нам лопаты, мотыги-тяпки, мешки, указал всем делянки, уселся на перевернутую корзину, задымил короткой толстенькой трубкой и скомандовал:

— Ну, молодежь, нагулялись, надышались, «шу-шу-шу» — наговорились, а теперя зачинайте...

Варя подошла ко мне и, заглядывая в лицо, спросила:

— Володя, можно я с вами рядом буду копать?

— Пожалуйста! — обрадовался я. — Я думал, что вы с Жегловым...

Варя хитро улыбнулась, покачала головой:

— Нет. Я с вами хочу...

А Жеглов уже расставлял ребят из своей бригады в цепь поперек картофельных гряд:

— Я первый, вторым Пасюк, третьим Тараскин, Гриша, ты следующий, замыкает Шарапов...

— За мной Варя, — твердо сказал я.

Жеглов покачал головой:

— Этак нас бригада Мамыкина обставит — вон они Рамзину взяли, а на ней бревна можно возить...

— Меня это не касается, — сказал я, и Жеглов, мельком взглянув на меня, пожал плечами:

— Я ведь против Варвары и не возражаю. Я только хотел облегчить ее участь...

Я с ним больше спорить не стал, сбросил гимнастерку, поплевал на руки и ухватисто взялся за лопату.

— Начали? — спросил-скомандовал я, и все дружно воткнули блестящие лезвия лопат в податливую красноватую землю на полный штык.

Зашуршала, хрустнула, вязко огрузла на железе земля, лопнули с чмоком корешки, нажал я на пружинящий черенок лопаты, дожимая его к самой меже, а левой рукой перехватил поближе к штыку, и раздалась подсохшая корка землицы, выворотил я весь куст целиком, бросил сбоку, и отсыпавшийся грунт открыл большие желто-розовые клубни...

И сколько было нас в цепи — вынули первые картофелины и заорали дружно что-то восторженное и бессмысленное, как тысячи лет уже орут люди, вместе, сообща взявшие трудную добычу. Выворотил я второй куст, оглянулся на Варю, которая была рядом — только руку протянуть, — и оттого, что была она рядом, кричащая и смеющаяся вместе со мной, я почувствовал в себе такую силу, будто внутри меня заработал трактор, и в этот момент мог я вполне свободно и

сам, один, перекопать все поле.

Крутанул следующий куст, взглянул на Жеглова — он уже продвинулся на шаг вперед, — и стало мне смешно: мог ли он в своих распрекрасных сапожках здесь со мной мериться силой? И вогнал я лопату в землю, перевернул, отвалил грунт и клубни, и снова вогнал, и снова, снова...

Ах с каким счастливым, радостным остервенением копал я влажную красноватую землю! Господи, кому же мог я тогда объяснить, какое это счастье, удовольствие, отдых — копать солнечным тихим утром картошку на станции Ащукинская, когда совсем рядом идет, посмеиваясь и светя своими удивительными глазами, Варя? А не рыть, заливаясь горьким, едучим потом, в июльский полдень под Прохоровкой танколовушку, не останавливаясь ни на миг, не распрямляясь, умирая от жажды и зная, что прикрывает тебя только батарея сорокапятимиллиметровок и побитый взвод петеэров, в уверенности, что если мы не поспеем, то через час или через полчаса, а может, через минуту выползут из-за взлобка «тигры» и сомнут нас, размолотят батарею и гусеницами превратят нас в кровавое месиво... А над плечом моим тонко и просительно гудит пожилой капитан-артиллерист: «Три ловушечки, ребяточки,

дорогие мои, поспейте, ради бога, только бы лощинку прикрыть, а здесь мы их не пропустим, только вы нам фланг прикройте, родимые...» А я хриплю ему обессилено: «Валежник, кусты тащите скорее...» И когда перед вечером «тигр», весь багрово-черный от косых лучей падающего солнца, в сизом мареве дизельного выхлопа, накатил на край громадной, нами откопанной ямы, прикрытой жердями и травой, закачался и с ужасным треском провалился, оставив снаружи только пятнистую бронированную задницу, мы вот так заорали все вместе — счастливо и бездумно; и тогда, а может, много спустя, уже в госпитале, но кажется, именно тогда я вспомнил рисунок из школьного учебника: охотники бьют свалившегося в огромную яму мамонта...

И я кидал картошку с удовольствием, весело, легко и быстро, только дойдя до края гряды, обернулся назад и закричал пыхтящему вдалеке Жеглову:

— Смотри, без огрехов копай! До последней картошечки!..

Жеглов выпрямился, помял поясницу и ответил:

— Ты к нам в ОББ по ошибке попал! Не ту работу себе выбрал... — И снова стал с остервенением

швырять землю.

Вдруг кто-то положил мне на плечи легонько руки; я даже не подумал сразу, что это Варя, пока не услышал за спиной ее тоненький девчачий голос:

— Володя, ты не рвись так — устанешь...

Обернулся я, взглянул на нее и только тут рассмотрел, что глаза у Вари разные — один ярко-серый, а другой зеленоватый, — и от этого лицо ее было доверчивым и беззащитным, а на носу еле заметные веснушки; и смешливые припухлые губы, и бисеринки пота на переносице. И в этот момент, оттого что она мне сказала первый раз «ты», я неожиданно для самого себя решил жениться на ней. Я подумал, что на всей громадной земле не найти мне лучше Вари. Может быть, есть девушки и красивее, и умнее, но только навряд ли, да и не нужны они мне были, мне нужна была эта. И Жеглову уступать ее я был не намерен.

А Варе, которая и думать-то не думала, что я уже выбрал ее в жены, и наверняка до упаду стала бы хохотать, скажи я ей об этом, — ей я ответил:

— Да я и не рвусь. Мне не трудно...

— А командовать другими не хочется? — улыбнулась она, и я снова подумал о том, как нравятся женщинам мужчины-командиры, начальники,

говоруны и распоряжалы; и еще я подумал о том, как трудно объяснять женщинам, что если ты в девятнадцать лет становишься командиром ста двадцати трех человек, которые вместе называются ротой, и от твоей команды зависит, скольким из них вернуться из боя, то спустя некоторое время не больно охота чувствовать себя командиром и много приятнее отвечать только за себя. Из всех командиров, которых мне довелось увидеть на фронте, настоящими были только те, кто ощущал свою власть как бремя ответственности, а не как право распоряжаться...

— Не хочется! — сказал я совершенно честно. Ей-богу, совсем не хотел я тогда никем командовать.

— Забавный ты человечек, — сказала Варя.

Я пожал плечами:

— Вот окончите свой институт, пойдете в школу — накомандуетесь.

— Я хочу в детский дом идти после института — там интересней. И школа, и семья сразу...

Жеглов крикнул нам:

— Разговорчики в строю! Команды «вольно» не было! Шашки к бою, лопаты в грунт!

— Ты лучше насчет обеда иди узнай, — сказал я ему.

Перерыв на обед сделали около часу дня. Задымили костры. Располагались группами, доставали из сумок провизию и немудрящую посуду. Жеглов ходил считать мешки Мамыкина и вернулся довольный. В котелках булькала картошка, особенно красивые, ровные клубни засунули в жар. Разложили на газетах харчи. Жеглов достал бутылку водки, лихо — о каблук — вышиб пробку, сказал:

— Сейчас мы ее отведаем, злодейку, которая и в тени сорок градусов...

Тогда Коля Тараскин вытащил откуда-то еще одну бутылку с чуть желтоватой жидкостью, протянул Жеглову:

— Ну-ка, махнем и этого зелья — оно, как говорится, прошло огонь, воду и медные трубы!

Пасюк радостно потер огромные свои ладони-лопаты:

— Ох, братцы, люблю я домашнюю горилку...

Жеглов протягивал Варе алюминиевую кружку, в которой плескалась горькая прозрачная жидкость, а она смешно качала головой и говорила:

— Не-а! Не-е...

— Ты немножко выпей — только на пользу. И монахи приемлют! — говорил Жеглов, а она смотрела на него прищурясь, улыбалась:

— Вы, товарищ капитан, сейчас похожи на настоящего пиратского капитана...

Жеглов вздернул бровь и подбоченился.

— ...когда он угощает туземцев «огненной водой», — закончила Варя серьезно, и мне показалось, что Жеглов рассердился, а Варя подошла ко мне, присела рядом, взяла из моих рук кружку и пригубила слегка:

— За твое здоровье!..

К вечеру, когда солнце уже повисло на острых верхушках черно-зеленого ельника, показался на дороге «фердинанд», раскачивавшийся неуклюже на ухабах, словно Копырин заправлял его не бензином, а самогоном. За ним держались в кильватере два хозотдельских грузовика.

— Отбой! — скомандовал нам Жеглов, а Мамыкин со своей делянки кричал, что копать надо до темноты: они все-таки на несколько мешков отстали.

— Хоть до утра! — предложил Жеглов. — Правда, нам уже копать нечего — разве что вам подсобить!

И тут я впервые за весь день почувствовал, что притомился немного — с отвычки ломило спину и горели ладони.

Считали мешки. Мамыкин с Жегловым препи-

рались: Мамыкин говорил, что у нас они меньше, чем у них, Жеглов предлагал рассыпать мешок и пересчитать картофелины. Потом быстро и весело загрузили мешки в машины, собрали свои вещички, а Копырин все еще недовольно ходил вокруг автобуса, пинал ногами колеса и бубнил, что так никаких амортизаторов не напасешься. Потом машины заурчали и поползли к дороге, а мы всей толпой отправились на станцию.

Поезд был переполнен, и Варю со всех сторон прижимали ко мне, и никогда еще толчея вагона не была мне так сладостна, потому что не видно было моих нелепых валенок, а только Варины глаза, зеленый и серый, светили прямо перед моим лицом, и что-то говорила она мне, а я ничего не понимал и отвечал невпопад, потому что этот старый, набитый людьми, завывающий вагон бросил мне ее в объятия бездумно и щедро, как только может это сделать судьба, и, оглохнув от счастья, я прижимал ее к себе, и каждой своей мышцей, каждым кусочком кожи я чувствовал ее теплое и упругое тело, и бешено кружилась голова от близости ее полных мягких губ и влажно мерцающих крупных зубов...

На Ярославском вокзале кипящая толпа вышвырнула нас из вагона, и я крикнул жегловской

голове, крутящейся неподалеку в водовороте:

— Держи, Глеб! — И кинул ему ключ от квартиры.

— А ты? — Голова Глеба вынырнула на аршин из половодья баулов, корзин, лопат, мотыг и даже одной сетки с живым петухом.

— Я позже буду...

На Комсомольской площади мы сели с Варей в трамвай «Б», и она показала мне в окно:

— Смотри, Володя, впервые после войны...

Над крышей вспыхнула и неровным голубым светом забилась неоновая огромная надпись: «Ленинградский вокзал», и мне почему-то показалось это добрым знаком.

Кружил нас по всему городу трамвай, громыхая по железным вензелям рельсов, и, когда мы сошли на Палихе, последняя теплая осенняя ночь уже наступила, и мне не хотелось думать ни о каких делах, и никакие страсти больше меня не терзали, но одна мыслишка все время не давала покоя, и я спросил Варю хитро:

— Правда, Жеглов удивительный мужик?

Ничего она не ответила и, только когда вошли в ее парадное, сказала, будто все это время раздумывала над моим вопросом:

— Умный парень. Молодец... — Интонация

странная у нее была, но не успел я опомниться, как она открыла дверь: — Запомни мой телефон... Будет время — позвони...

В небе носились ошалевшие звезды, крупные и холодные, как неупавший град. Ветер поднимал с тротуаров обрывки газет и палые листья, и я гонялся с ними наперегонки, пел и разговаривал сам с собой и до самого дома шел пешком, забыв, что еще ходят трамваи. И все еще прикидывал и раздумывал, нравится ей Жеглов или нет, а когда вошел в комнату, он спал, накрывшись одеялом с головой и забыв погасить свет...

Сторожа убили в подсобке. Система охраны большого магазина была такова, что сторожа оставляли на ночь в помещении и он находился там до утра, когда магазин открывался. «Магазин длинный, его пока снаружи обойдешь, в десяти местах могут влезть, со двора в первую очередь», — объяснила заведующая, невысокая щуплая женщина в синем драповом пальто с черно-бурой лисой-воротником. Жила она по соседству и прибежала на шум, поднятый бригадиром сторожевой охраны, который как раз проверял объекты на Трифоновской и заподозрил неладное, когда сторож на неоднократные звонки в дверь не отозвался. А сейчас ее била крупная

дрожь и она старательно отворачивала взгляд от щуплого тела сторожа, лежавшего на полу, около ряда молочных бидонов, и все старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина, как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была ее вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами, денежный ящик в кассе взломан, а на беленой стене обувного отдела толстым черным карандашом, а может быть, и углем была нарисована черная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги — уши торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у нее, как на картинках в детских книжках, был пышный бант. Жеглов покачал головой, поцокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен — разбоем или этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что нисколечко они нас не боятся, плевать на нас хотели и гордятся своей работой.

— Слушай, Глеб, а для чего же все-таки они это делают? — Я показал на рисунок. — Я так соображаю, что их найти по этой кошке полегче будет,

они ведь от остальных грабителей отличаются?

— Оно вроде и так, — пожал плечами Жеглов. — Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не учены еще в МУРе и думают, что сроду их не словят. Может, и другое, похуже: все соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь, силы к сопротивлению их лишить — раз, мол, «Черная кошка», значит руки вверх и не чирикай!..

— Но это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали, — возразил я. — А они все больше по магазинам...

— Во-первых, не имеет значения, среди граждан или в магазине. Завтра пятьдесят продавцов да подсобных из этого магазина по всей Москве разнесут, что «Черная кошка» человека убила и на миллион ценностей здесь взяла. Реклама! А во-вторых, раньше «Черная кошка», до тебя еще, как раз больше по квартирам шарила; это теперь они начинают чего-то по базам да магазинам распространяться. Вообще-то оно выгодней...

Я еще раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навело меня на новую мысль, и я поспешил поделиться

с Жегловым:

— Слушай, Глеб, а ведь может быть и еще похуже — для нас, во всяком случае...

— Да?

— Если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а, наоборот, похитрее, они ведь под бирку «Кошки» могут начать работать. Мы, как помнишь, с Векшиным-то, кое на какие следишки начинали выходить, а хитрые — в другой стороне. И концы в воду!

— Не боись! — Жеглов потрепал меня по плечу. — От нас все равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты! Что ты! Конечно, если мы будем работать, а не теории здесь разводить...

Подсобка была непростая, целый, как выразился Жеглов, Шанхай: в ней требовалось разместить товары большого смешторга — сиречь магазина, торгующего товарами смешанного, промышленного и продуктового, ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких больших цементированных боксах с гладкими оштукатуренными стенами! Масло, мука, сахар и другие не пахнущие вещи были строго отделены от предметов пахучих — колбас, специй, рыбы, бочек с селедкой. Отдельно размещались промтовары — рулоны мануфактуры, большущий

стеллаж с обувью, стопы готовой одежды. И все это сейчас являло картину хаоса и разорения — преступники искали самое ценное и в спешке вовсе не церемонились с остальным. Главным помещением и местом происшествия была приемка — продолговатая комната, соединенная с двором пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележках свозили в подвал товар. Тоннельчик выходил в приемку двойными широченными дверями, почти воротами, которые запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху, во дворе, тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи был здоровенный амбарный замок, навешенный на толстую железную полосу. Воры легко выворотили замок из подгнившего дерева вместе с петлями. А ворота в приемку взломали: рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась — массивный полуметровый воровской ломик, — которым поддели одну доску двери, расщепили ее, а потом просто скинули крюк. Сейчас трудно было сказать, как попал в приемку сторож — проходил ли ее очередным дозором или, привлеченный каким-то шумом, явился посмотреть, в чем дело, — но только встретили его здесь в полутьме — сейчас для осмотра и фотографирова-

ния вместо тусклой складской лампешки Гриша специально ввернул сильную, стосвечовую. Сторожа ударили сзади топором по голове и, видно, сразу же убили: по брызгам крови на стене, по расположению тела эксперт уверенно определил, что беднягу как свалили с ног, так больше с места и не трогали. Можно было даже представить себе, с какого места это сделали: в боковой стене приемки был этакий аппендикс — закуток вроде кладовки, метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью, открывавшейся наружу; из этой кладовки, скорей всего, и нанесли удар. Я еще заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки, и внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашел свежую, довольно глубокую борозду, — видно, убийца чиркнул топором по потолку, доставая жертву.

В приемку ворвался Абрек, за ним следом — его проводник Алимов. Наверное, они заканчивали круговой осмотр магазина. Абрек обежал комнату, наткнулся на какую-то тряпицу, взвыл и дернул Алимова на выход, в тоннельчик, дернул с такой силой, что проводник еле удержался на ногах.

— Свежий след взял! — крикнул он Жеглову. — Давай кого-нибудь со мной!..

Мне еще не приходилось видеть, как собака работает по следу, и я, глянув на Жеглова, ткнул себя пальцем в грудь. Глеб кивнул, и я помчался следом за проводником, выскочил на улицу и увидел, что тот уже пересек пустырь, пробежал мимо детской песочницы и устремляется к дровяным сараям в конце двора. Сделал я гвардейский рывок, как учил когда-то старшина Форманюк, и догнал Алимова у крайних сараев. Между ними был широкий проход в следующий двор, расположенный чуть ли не на два метра ниже первого, поэтому мы выскочили на крышу нового сарайчика с убогой голубятней на краю, и Абрек, бежавший на всю пятиметровую длину «вожжи», сделал гигантский прыжок, распластавшись в воздухе, как на картине. Алимов и я сиганули за ним, причем я чуть не свалился, зацепившись ногой за проволочную сетку голубятни. Так же резво пробежав двор, Абрек выскочил в тихий переулок, покрытый неровным булыжником, с земляными обочинами, заросшими грязной пожухлой травой. Оглядевшись, я сообразил, что это не переулок — это тупик, выходящий к товарному двору Ржевского вокзала. А собака, перебежав улочку, рванула снова во двор, застроенный все теми же сараями, выросшими, как грибы, во

время войны: кругом были кирпичные дома с паровым отоплением, и дрова потребовались только в войну, когда пришлось людям греться индивидуально — нескладными железными печурками, жравшими уйму дров, нещадно дымившими и уродовавшими комнаты суставчатыми рукавами труб, упертых в форточки...

Снова песочница, откос, выходящий на крышу, снова голубятни — и все это в таком немыслимом темпе, что я на ходу расстегнул воротничок гимнастерки и с уважением посмотрел на Алимова, мчавшегося вперед так же неутомимо, как его стремительный мускулистый Абрек. И снова покрытый жухлой осенней травой тупичок, и в конце его приземистая краснокирпичная трансформаторная будка с устрашающим черепом на двери и надписью: «Смертельно!» Около будки Абрек затормозил так же стремительно, как бежал; из-под передних лап его брызнула комьями земля. Прижав огромную голову прямо к земле — хвост торчком, — он быстро поводил носом налево-направо, а потом вдруг, поднявшись на задние лапы, уперся передними в дверь будки — громадный, в человеческий рост, — и громко, радостно, басовито гавкнул, оглядываясь на Алимова и как бы приглашая его к немедленным

действиям. Алимов погладил пса по голове, кивнул мне на дверь:

— Здесь!

Честно говоря, я с большим сомнением осмотрел здоровенный навесной замок, потом обошел будку со всех сторон — дверь была одна, кроме нее, отверстий в кирпичной кладке не было. Я взял носовой платок, обернул им замок, потряс его, потянул за дужку, и мне показалось, что она поддается. Я потянул сильнее и, к моему великому удивлению, дужка вышла — замок открылся. Торопясь, я вытащил замок из петель, схватился за ручку, дернул дверь на себя, но меня остановил Алимов:

— Постой, Володя... А если там кто-нибудь...

Стоя сбоку от двери, мы осторожно открыли ее, и Алимов на самом коротком поводке запустил в будку собаку. Радостный басовитый лай ее, перемежавшийся неожиданным щенячьим каким-то повизгиванием, возвестил о том, что в будке никого нет, и мы вошли внутрь, широко распахнув дверь для света. Под запыленным трансформатором вдоль стен навалом лежали вещи: два рулона мануфактуры, несколько костюмов, пальто, коробки с обувью, два белых мешка с сахаром и еще много всякого добра — впопыхах все сразу

и не разглядеть...

Я от души хлопнул по плечу Алимова, тот весело подмигнул, и мы разом захохотали, довольные собою, и друг другом, и распрекрасной нашей собачкой. Алимов с сожалением посмотрел на мешки с сахаром, вздохнул и достал из кармана кулек, развернул его — там лежал серый неровный кусок рафинада. Еще раз вздохнув, поглядел Алимов на мешки и бросил рафинад вверх. Абрек, кажется, только чуть-чуть повел широченной своей башкой, лязгнул, словно пушечным затвором, челюстями, и негромкий хруст известил о том, что заслуженная награда принята с благодарностью.

Я заметил вожделенные взгляды Алимова на мешки и его вздохи.

— Угостил бы пса от души, — сказал я. — Честно заработал небось!

— Не-е, не дело, — отозвался Алимов. — Пес должен без корысти работать, понимаешь? Ну, вроде на патриотизме, честно. А то забалуется. Думаешь, он не понимает? Он все понимает... — И Алимов на мгновение прижал к себе голову Абрека, и столько было в коротком этом движении нежности и ласки, и столько было преданности во взгляде и тихом, еле слышном повизгивании

пса, что я почувствовал что-то вроде зависти.

— Пошли дальше, однако, — сказал Алимов, и мы вышли из будки. Я снова аккуратно навесил и закрыл замок. Огляделись — было еще раннее осеннее утро, пусто кругом, ни живой души, — и Алимов скомандовал Абреку: — Ищи!

И снова началась азартная и утомительная гонка по дворам, сараям, закоулкам и переулкам, пока не вывел теплый еще след на многолюдную Первую Мещанскую, где уже сотни рабочих торопились в этот ранний час на фабрики и заводы и каждый оставлял на сыром утреннем асфальте свой неповторимый и отвлекающий запах, где одинаково непереносимо ранили чуткий собачий нос ядовитый перегар автомобильных выхлопов, резкие ароматы простых женских одеколонов, острый смрад гуталина, щекочущий запах бесчисленных галош; и Абрек замедлил ход, стал оглядываться на хозяина, петлять, всем своим неуверенным видом демонстрируя сложность обстановки, а потом и вовсе остановился, недовольно фыркнул, будто чихнул по-собачьи, и широко, с хрустом зевнул, оскалив свои страшные, но пока совсем бесполезные клыки.

— Все, кончилась работа, — сказал Алимов со вздохом. — Эх, в деревне бы...

— Сам ты деревня, — передразнил я. — Сколько вещей нашла собачка — и за то скажи ей спасибо... Знаешь, Алимов, сказать по-честному, не очень-то я надеялся, что она найдет что-нибудь...

— Почему же это ты не надеялся? — всерьез обиделся Алимов. — У нас собачки есть, которые добра людям возвратили побольше, чем некоторые оперативники за всю свою службу...

— Загибаешь? — спросил я.

— Да что с тобой говорить! — махнул рукой Алимов. — Ты про Эриха слыхал? Или про Гету?

— Не слыхал, — признался я.

— То-то! Ордена давать бы им полагалось. Их капитан Гетман дрессировал, у него только Эрих задержал восемь вооруженных бандитов. Убили пса в схватке. Это был такой пес — уж на что мой Абрек хорош, а по совести если, то, конечно, ему против Эриха не сдюжить.

— А Гета?

— Та тоже была классная сыскарка. Не чистых кровей она, ее Гетман где-то щенком подобрал. На два миллиона рубчиков отыскала похищенного, понял? Ты и не видал таких денег. А собаки плохо живут, — закончил он неожиданно.

— Почему? — удивился я.

— Да отношение к ним несознательное — вот

вроде как у тебя. Ведь это сейчас стали немного расчухиваться, а раньше, когда было их всего четыре души, гоняли нас с места на место — жилья дать никак не могли. Потом дали пустой свинарник, мы его сами с Гетманом и Рубцовым чистили, ремонтировали, утепляли, для нормального собачьего житья приспосабливали. А нужен настоящий питомник и по всем правилам — они бы все расходы на себя оправдали...

— Я вижу, любишь ты собак, Алимов...

— А как же их не любить? Они ведь как люди! — горячо сказал Алимов и стал мне объяснять тысячелетнюю родословную отбора своего Абрека. Я узнал, что все овчарки — немецкая, английская, бриарская, боснийская и астурийская — имеют предком древнюю азиатскую овчарку, а та произошла от бронзовой собаки, а та является порождением волков и шакалов, общим родителем которых был первобытный томарктус. И как ни хорош английский полицейский пес доберман-пинчер, он все-таки в нашем климате против овчарки не сдюжит — теряет на морозе чутье... И поскольку остановить Алимова было невозможно, я не спеша шагал рядом с ним и думал, что благодаря раннему времени нас около трансформаторной будки, скорее всего, никто не

видел и если сейчас там не болтаться, а оставить в пределах зрительной связи засаду, то жулики непременно явятся за товаром — тут их и побрать с поличным. И еще надо выяснить, кто из электриков за этой будкой надзирает, как часто там появляется и, наконец, не причастен ли сам электрик к этой краже.

Все эти соображения я изложил Глебу, и тот сразу же отправил оперативников оглядеться и присмотреть место для засады, а потом вкратце ознакомил меня с результатами осмотра. Бандиты работали грубо: во дворе обнаружились следы их обуви — эксперт взял гипсовые слепки и уже уехал в лабораторию сравнивать с позавчерашними, — а на ломике-карасе порошок аргентората выявил три хороших пото-жировых отпечатка пальцев.

Я слушал Жеглова вполуха, потому что, когда я снова осмотрелся в кладовке, пришла мне в голову интересная идея.

— Слушай, Глеб, тут вот я проверить хочу...

Я взял топор, аккуратно обернув рукоятку платком, и попытался поднять его над собой — ничего не получилось, потолок подсобки был слишком низок, всего на несколько сантиметров выше наших голов. Жеглов с интересом смотрел на мои

манипуляции, а я еще несколько раз попытался взмахнуть топором у себя над головой, нанося удар невидимой жертве; ничего не получалось, топор задевал о потолок, даже если я сильно сгибал руку в локте. Я пригнулся, приняв весьма неестественную позу, и только тогда топор описал дугу в воздухе, чиркнув все-таки в верхней точке по потолку.

— То есть ты хочешь сказать, что убийца очень маленького роста? — спросил Жеглов.

— Да вот вроде так получается, — кивнул я. — Но эксперт говорит, что удар был нанесен с силой?..

— И еще... — Жеглов укрепил мои сомнения: — Человек маленького роста оставляет маленькие следы ног. Ну то есть у низкорослых обычно и нога небольшая, это азбука. А мы ни разу на маленькие следы не натыкались.

— Это понятно, но факт, сам видишь: человек нормального роста этим топором мог бы только сбоку ударить. А сторожа ударили сверху — факт?

— Факт, — признал Жеглов.

— Нормальному человеку чуть ли не на корточки надо сесть, чтобы так ударить... Непонятно что-то...

— М-да, непонятно... Надо отметить это в протоколе, потом подумаем, — предложил Жеглов, но меня осенило:

— Слушай, Глеб, я что вспомнил... Как-то в Польше расположились мы в одной деревеньке, — кажется, Теплице называется... И вот хозяин, у которого я стоял, поляк он, горбун был. Десять вершков росту, но силищу имел невероятную... То есть на спор один раз подлез под першерона — у нас здоровые такие битюги были, семидесятишестимиллиметровые возили — и, представь себе, свободно поднял конягу! Ей-богу, не вру!..

— Это мысль, Шарапов, — сказал серьезно Жеглов. — Это мысль. Молодец, разведка: ты и меня надоумил — у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой. Молодец. Если ты прав, нам это делу может крепко помочь — горбуна-то искать легче... Поимеем в виду...

Опергруппа разделилась: Тараскин с целым взводом переодетых в штатское милиционеров бросился по рынкам — искать оптовых торговцев продуктами и промтоварами, поскольку было очевидно, что в трансформаторную будку шайка сложила только то, что не смогла унести, а унесенное попытается сразу же реализовать, благо

время такое, что ничего на руках не задерживается. Пасюк с тремя людьми поехал по адресам барыг — людишек, про которых знали, что они приторговывают краденым. А Жеглов, обеспечив снятие остатков и бухгалтерскую ревизию в магазине, дабы иметь точное представление о похищенном, — чего и сколько? — отправился со мной в Управление: разобраться в материалах осмотра и доложить о происшествии по начальству.

Пока Жеглов разговаривал со Свирским, я начертил подробную схему разбойного нападения на магазин, а потом принялся листать толстую папку с делами «Черной кошки», которых я еще не знал. Часа в два вернулся из своего рейда по рынкам Тараскин, и, глянув на его унылую физиономию, я ему даже вопросов задавать не стал. Около трех появился Пасюк, тоже не солоно хлебавши, и Тараскин попросил Жеглова:

— Договорись с начальством: может быть, нас по домам отпустят? От картошки еще не раздохнули и сегодня всю ночь и весь день на ногах...

Жеглов обвел нас взглядом, и мы ему, наверное, не понравились, потому что он хмыкнул, надул толстую нижнюю губу и сказал:

— Эх, слабаки! Меня бы покормили сейчас

хорошо, много мог бы я насовершать... — Но к начальству идти согласился: — Ползаете тут, как мухи, толку от вас ни на грош.

Правда, сходить к начальству он не поспел, потому что отворилась дверь и вошел полковник Китаин, замнач МУРа, поздоровался и спросил:

— Ну как дела, орлы?

И ответа ждать не стал — все про наши дела он знал, и орлами нас не считал, поскольку сказал Жеглову:

— Стареешь, брат, стареешь... Цепкость твоя хваленая ослабла, результатов не вижу, одни разговоры и полная сеть всякой уголовной шушеры. Мы от тебя другого ждем...

Сказал он это добро, с легкой усмешкой, но словно он Жеглова по щекам с размаху хлестнул — налилось темной кровью смуглое его лицо, казалось, от ее напора лопнет сейчас на скулах тонкая кожа и брызнет она цевкой. А глаза Жеглов опустил, и смотрел он вниз не от стыда или застенчивости, а от сдерживаемого бешенства, поскольку дисциплину разумел хорошо, и смирение это было злее гордости, оттого что Китаин распекал его в присутствии подчиненных.

— Спасибо за доверие, — только и сказал Жеглов. — Спасибо, ждете еще чего-то от меня...

Но Китаин не обратил внимания на жегловские амбиции и на тон его подковыристый даже не чихнул, а велел нам срочно собираться:

— Ваша бригада будет проходить курс самбо...

— А шо це за фрухт, и с чем его едят? — спросил Пасюк.

— Новая система рукопашного боя, — усмехнулся Китаин.

— О це дило! — обрадовался Пасюк. — Мэни зараз без борьбы як без хлиба: сидим целые дни на одном месте, спим подолгу — уси косточки замлили. Самый раз размяться трошки, а то аппетиту не будэ...

...Группа выстроилась в спортивном зале «Динамо», куда нас отвез — большое ему спасибо — Копырин. В зале было холодно, сумрачно, пахло по́том и лежалыми волосяными матами. Инструктор, худощавый парень с постным лицом, переставил меня в конец шеренги — по росту, вслед за Тараскиным, — сказал сухо Грише, который вертелся вокруг с фотоаппаратом:

— Прошу вас не мешать занятиям. — Потом повернулся к нам и как-то бесстрастно, глядя поверх наших голов, заговорил тусклым голосом, и мне казалось, что у него зубы болят: — Моя фамилия Филимонов. Занятия будут проходить

с вашей группой два раза в неделю. В связи с тем что вас не предупредили, а также в связи с плохим отоплением сегодня будете заниматься в одежде. Впредь на занятия будете приходить в трусиках и тапочках...

— Я последние шисть лит только в солдатских невыразимых хожу, — сказал Пасюк в надежде, что его выгонят с занятий, и добавил для убедительности: — В сиреневых...

Инструктор не повернул головы:

— Отставить разговоры!

Я видел, как Пасюк смотрит на нешироκие плечи инструктора, на его вытянутое серое лицо. Пасюк его явно жалел. И еще ему было смешно, что этот задохлик будет учить нас борьбе.

Жеглов катал по спине толстые комья мускулов, стоял он против инструктора, чуть откинув голову и прищурив глаза. У него тоже инструктор не вызывал особого доверия.

А Филимонов, все так же глядя поверх нас, сказал бесцветно и негромко:

— Я буду заниматься с вами изучением новой системы борьбы, которая разработана в нашей стране преподавателями физической культуры товарищами Спиридоновым и Волковым. — Он морщил невысокий лоб под косой челкой, будто

сразу не мог припомнить фамилии изобретателей новой борьбы. — Эта система называется «самбо», что обозначает «самозащита без оружия»...

Филимонов взял за руку Пасюка, вывел вперед, и они стояли перед нами лицом к лицу на матах; объясняя, инструктор не отпускал руки Пасюка, и выглядели они вместе так уморительно смешно, что нам даже спать расхотелось.

— Самбо — это система различных приемов борьбы с выходом из равновесия, она включает броски, рывки, удары, используемые в рукопашном и кулачном бою, и основана эта система на знании анатомии человеческого тела...

— Було бы в руках силенки, — сказал Пасюк. — Так и без анатомии можно...

Филимонов повернулся к нему:

— Ваша задача — свалить меня.

— Цэ можно, — сказал благодушно Пасюк и шагнул навстречу инструктору, протягивая вперед руки, чтобы ловчее ухватиться. Он успел даже зацепить его, а дальше случилось нечто несообразное: инструктор рванулся вперед, как лопнувшая пружина, дернул слегка Пасюка к себе, как серпом секанул его по ногам, и тот с грохотом шмякнулся на мат. Инструктор отсту-

пил на шаг и замер неподвижно. Пасюк, кряхтя, поднялся:

— От бисов сын! Та не успел я...

— Правильно, — сказал Филимонов. — Ваша задача научиться выполнять так приемы, чтобы ваш противник не успевал провести контрприем. Это называется передняя подсечка...

— Давай еще раз! — сказал Пасюк.

— Прошу на мат, — кивнул Филимонов. На этот раз Пасюк был настороже и сумел простоять секунды четыре: толчок назад, захват, бросок через бедро — Пасюк на полу.

На Тараскина инструктор произвел такое впечатление, что Коля падал на мат еще до того, как с ним успевали провести прием. А Филимонов поднимал его и заставлял бороться снова, объясняя систему захвата:

— Передняя подсечка... рывок на себя... двойной нельсон... удар ребром ладони...

Жеглову инструктор дал картонный нож и велел нападать и каждый раз ловко отводил нож или вообще вышибал из руки, так что Жеглову и не довелось его хоть разик ткнуть картонным острием. Это разозлило Глеба, он неожиданно отступил на шаг и ловко кинул вращающуюся картонку прямо в грудь инструктора.

— Это не по правилам, — сказал Филимонов.

— А мы с уголовниками договорились только по правилам драться? — спросил Жеглов и, удовлетворенный, отошел в сторону. Но я видел, что борьба эта ему понравилась.

— Вы чего в стороне стоите? — спросил меня Филимонов.

— С духом собираюсь...

— Идите на мат!

Я шагнул, и он сразу нырнул вперед, собираясь подцепить меня под коленом. Ну, мы это в разведке и без новой системы знаем. Наклонился я вперед, и, как только он уцепился, я ему сразу правую руку заблокировал. Он — за колено, а я ему руку выворачиваю, и рычаг у меня больше, ему-то наверняка больнее. Тут ошибочку я сделал — надо было мне сразу направо заваливаться, держать его корпусом, отжимая руку. А я хотел его в стойке дожимать. Ну, и он не промах — нижний подсед мне толкает, кувырнулся я на спину, Филимонова — коленями через себя, да только размаху не хватило, или устал я после ночи, или натощак бороться труднее, но во всяком случае перевернулся инструктор через меня и одной ногой руку прижал, а другой — сгибом бедра и голени душит меня, хрип из меня наружу.

Наверное, сдался бы я Филимонову — это ведь не соревнования, и не бандит на меня насел, и не рыжий фельдфебель в черной форме танкиста из дивизии «Викинг», что спрыгнул на меня из подбитого грузовика на обочине дороги при въезде в маленький городок Люббенау... Но, задыхаясь в железном прихвате этого тщедушного Филимонова, я видел углом глаза, как ребята сгрудились вокруг нас, а Тараскин просто брякнулся на пол, чтобы лучше видеть, и слышал я баритончик Жеглова где-то над собой, высоко:

— Володя, Володя-а, Воло-о-дя-я!

И Пасюк громыхал:

— Шарапов, дави його, вражину, нехай знае наших!

Руки у меня сильнее, отжал я все-таки его ногу, и на излом пошло у него колено, и отпустил удавку Филимонов, распрямился в прыжке, вскочил на ноги и сразу же, не давая мне прийти в себя, рванул мне заднюю подсечку, но и я его держал уже поперек корпуса, так вместе и покатились, и еще довольно долго он вил из меня веревки, пока все-таки не заломал на «мельнице» — провернул вокруг себя и привел четко на спину...

Мы встали, запыхавшиеся, усталые, но оба довольные. Он за свое умение постоял, и я не пе-

реживал, что он меня заделал: он ведь как-никак профессионал, инструктор. Филимонов похлопал меня по плечу, и следа не осталось от серой унылости его голоса:

— В разведке учили?

— Было дело, — усмехнулся я.

— Тебе надо заниматься — весной первенство «Динамо»...

Вот только этого мне не хватало! А ребята от души радовались. Филимонов оглядел нас и, опять посуровев, сказал:

— Прошу вас, товарищи, относиться к занятиям исключительно серьезно. То, чему вы здесь научитесь, однажды может спасти вам жизнь...

На том и разошлись.

Из автомата в вестибюле Жеглов позвонил дежурному и спросил, нет ли новостей с засады в Марьиной роще — третьи сутки все-таки потекли.

Повесил трубку и сказал мне:

— Там все тихо пока. Идем выспимся немного...

— А кто сейчас в засаде? — спросил я.

Жеглов засмеялся:

— Наш миллионер — Соловьев. И Топорков из отделения. Вот сменится Соловьев, надо будет

выставить его на шикарный праздник...

Тараскин горячо поддержал эту идею, Пасюк высказал сомнение, что из Соловьева копейку удастся выжать, Гриша рассказал, что ученые установили: половина бумажных денег заражена опасными микробами, а я сказал, что мне на все наплевать — спать хочется очень...

* * *

В скором времени группа военных преступников — соучастников Гитлера — предстанет перед судом народов — Международным военным трибуналом. На скамью подсудимых сядут ближайшие сподвижники Гитлера по нацистской партии, руководители нацистского государственного и партийного механизма: Герман Геринг, Рудольф Гесс, фон Риббентроп, Альфред Розенберг и другие. Нюрнбергский процесс виновников войны будет беспрецедентным в истории событием.

«Правда»

...Как в аду, подумал я тогда. Почему-то ад мне представлялся не яростно вопящим красным пеклом, а именно вот таким — безмолвным, судорожно холодным, залитым страшным безжизненным светом. Осветительные ракеты лопались в измочаленных дождем облаках с тупым чмоком и горели невыносимо долго — пять секунд, — потом рассыпались в яркие маленькие

искры, и наступала темнота до следующего шелестяще-мокрого чмока, и тогда тугая маслянистая поверхность реки вновь вспыхивала ненормальным синюшно-белым светом.

— А ты это точно знаешь, пан Тадеуш? — спрашивал начальник дивизионной разведки майор Савичев. — Не может быть ошибки?

— Не, — уверенно качал головой поляк, и усы его, прямые и сердитые, делали широкий взмах, как «дворники» на стекле автомобиля. — До того еще, как мир наш сгинел, до того, как всех поубивали, до великой брани здесь вся округа песок копала. Большая яма, хлопцы там сомов ловили...

Он протягивал негнущуюся длинную руку в сторону немецкого берега, туда, за остров — ничейный, изожженный, искромсанный, перекопанный кусок земли посреди Вислы, — за плавный изгиб реки, где на тридцать метров прерывалось врытое прямо в воду проволочное заграждение.

Немцы поставили заграждение — три ряда колючей проволоки. И по берегу спираль «Бруно». А в этом месте был почему-то разрыв. И за ним сразу — пулеметное гнездо.

— Не махай руками, дед, — сказал я Тадеушу.

— Лежи смирно...

Все равно отсюда разрыв в проволоке не увидать — он ниже по реке на полтора километра. Но попасть в него можно только отсюда. Федотов считал, что разведчика ведут к удаче три ангела-хранителя — смелость, хитрость, внезапность. А я верил в терпение, в огромное, невыносимо мучительное умение ждать. Восьмой день плавает в серой густой воде раздувшийся труп Федотова. Когти проволоки прицепились к гимнастерке, прибывающая от дождей река прижимает Федотова к еловому колу, и немцы развлекаются, стреляя в него, как в мишень. Прошину и Бурыге повезло — их убили еще на середине реки, и хоть тела их не достались гадам на поругание.

— Володя, «язык» вот так нужен! — хрипел Савичев, проводя ладонью-лопатой по горлу. Шея у него была морщинистая, обветренная, и жутковато светились глаза, страшные, как сырое мясо. И по тому, что говорил он «Володя», а не «товарищ старший лейтенант», я понимал, что и меня уже видят красные савичевские глаза плавающим в глинистой мутной воде у колючей проволоки перед кольями против немецкого берега...

Это было такое долгое ожидание! Часами я лежал на переднем крае, переходя с одного НП на

другой по всему полуторакилометровому отрезку берега, где — я верил, надеялся, знал — должен быть проход в глубину обороны. Подползал к урезу воды, незаметно сталкивал в воду бревна, немецкие каски и пустые консервные банки и часами следил, как вода вершила их неспешное плавание, пока я нашел это место, где мы лежали с Савичевым и старым поляком. Полузатопленная лодка, которую мы вчера оттолкнули в сумерках от берега, пристала к середине острова. К немцам остров был гораздо ближе, и они хорошо видели, что лодка пустая. И когда взлетали слепяще белые осветительные ракеты, от острова ложилась в сторону немцев длинная черная тень. А на всем расстоянии до нашего берега — недвижимый адов свет.

Савичев говорил лихорадочно быстро:

— Не забудь, Володя: как закончите, сразу зеленую ракету против течения. И мы вас огнем отсечем — весь сто сорок третий артдивизион подтянули, передовая немецкая пристреляна...

А поляк смотрел на нас грустно, и усы его уныло обвисли.

— Володя, ты уверен — втроем справитесь? — спрашивал Савичев, заглядывая мне в лицо своими красными глазами. — Может быть, уси-

лим группу захвата?

Левченко, стоявший за моим плечом, сказал:

— Больше людей — скорей заметят...

И Коробков одобрительно покивал...

Разделись догола, только шнурком подвязана к руке финка, и без всплеска, без шороха нырнули — сначала Левченко, потом Коробков. А я последним. И холод вошел в сердце нестерпимой болью, залил каждую мышцу раскаленным свинцом, рванулся и затих в горле истошным воплем муки и ужаса, каждую жилочку и сустав неподвижностью сковал, подчинив все непреодолимому желанию мгновенно рвануться назад, на берег, в домовитую вонь овчины, в ласковую духоту круто натопленной землянки, к своим!

Но спасительная мгла между мертвыми сполохами ракет уже умерла, и снова тупой шлепок раздается в низком грязном небе и растекается молочная слепящая белизна; и она — угроза смертью, она — напоминание о запутанном проволокой раздувшемся теле Федотова, с которого автоматные очереди каждый раз рвут клочья, а скинуть его с елового кола никак не могут. И все трое, каменея от чудовищного палящего холода, мы делали глубокий вдох, и казалось, что легкие заполнены болью и льдом, и одновременно ны-

ряли, отталкиваясь изо всех сил руками и ногами от вязкой, плотной гущи воды.

Потом ракеты гаснут и можно на несколько секунд вынырнуть, набрать воздуху и снова, ни на мгновение не останавливаясь, буравить воду, потому что доплыть ты можешь только в случае, если хватит того тепла, что вырабатывают твои мышцы.

Вылезли мы на отмели, в тени взгорбка на острове, лодку нашли быстро. На дне ее, придавленные камнями, лежали три заклеенные резиновые камеры от «доджа». Закоченевшими тряскими руками выволокли камеры на берег, вспороли их финками, достали флягу со спиртом, автоматы, запасные диски, гранаты, одежду.

Спирт пили из горлышка, кутались в кургузые ватники, и тепло медленно возвращалось. Касками откачали воду из лодки, и Левченко шептал нам вспухшими губами:

— Двигайтесь, двигайтесь, согреетесь тогда...

Отвязали из-под скамеек весла, уключины густо смазаны. Я пролез на нос, Сашка Коробков сел на весла, Левченко столкнул лодку на глубину и неслышно, гибко прыгнул на траншевую банку. До северной оконечности острова плыли спокойно — немцы не могли нас видеть. Здесь в тени

надо дожидаться трех часов ночи — в это время смена патрулей и постов на огневых точках и несколько минут не пускают осветительные ракеты.

Двадцать секунд висела темнота, и тогда я скомандовал:

— Давай!

Сашка Коробков ухватисто взмахнул веслами, они неслышно вспороли черную гладь воды, и лодка сделала рывок. Взмах — рывок, взмах — рывок, вода зажурчала вдоль невидимого во мраке борта.

В детстве я боялся темноты. Господи, как я боюсь теперь света! Свет — враг, свет — это смерть.

Звякнула под носом лодки проволока, спружинила, оттолкнула назад. Я уцепился за нее, подтягиваясь, повел дощаник вдоль ее колючей линии.

Чмок! Взвился в небо сияющий пузырь. Он словно медленно уставал, взбираясь в высоту, и от усталости этой постепенно напухал дрожащим магниевым светом, замирал неподвижно, словно раздумывая, что делать дальше на бесприютной пустынной высоте такому слепящему газовому шару, потом со шлепком, в котором была слышна грусть, лопался, осыпаясь красными короткими

искрами.

Но света сейчас мы уже не боялись — лодка вошла в тень берега...

Я махнул рукой Коробкову — табань! — и подтягивал вдоль проволоки лодку руками, и, когда я ошибался, в руку впивался острый ржавый шип. И боли я не чувствовал, потому что всего меня мордовало от неушедшего холода и напряжения. Лодка ткнулась во что-то и встала. Протянул я руку за борт и наткнулся на мокрый тяжелый куль, торчащий из воды, и не сразу сообразил, что ощупываю ватник убитого Федотова. Я перегнулся через нос, так что доска ножом врезалась в живот, уперся ногами в банку и изо всех сил потянул ватник вверх и на себя, и вспухшее тело разорванного автоматными очередями Вальки Федотова сползло с проволоки на еловом колу; и я опустил снова его в воду, плавно, без всплеска, и оттолкнул подальше от берега и еще несколько секунд видел в косом молочном свете ракеты над островом, как серым бугром уплывает он по течению вниз, к нашим позициям.

Коробков и Левченко смотрели вслед исчезающему в размытой серой мгле Федотову, а я снова ухватился за проволоку и потащил лодку, отпихиваясь от заграждения, стараясь не думать о

том, что через несколько минут и мы можем так же поплыть вниз по иссеченной дождем Висле.

Девять ракет вспыхнуло, пока мы добрались до разрыва в проволоке на месте залитого осенним разливом песчаного карьера, где вкопать колья немцам не удалось из-за глубины. Пристали у высокого берега. Коробков остался в лодке под обрывом, а мы с Левченко поползли вверх по оврагу — где-то здесь, метрах в тридцати, должно быть пулеметное гнездо, и подобраться к нему нам надо с тыла.

Левченко полз впереди, он неслышно, по-змеиному извиваясь, продвигался вперед на три-четыре метра и замирал; мы слушали, и в этой фронтовой тишине, вспоротой только недалеким пулеметным татаканием и чавканьем осветительных ракет, не было ни одного живого голоса, и я думал о том, как сейчас невыносимо страшно оставшемуся на береговом урезе Сашке Коробкову, потому что на войне страх удесятеряет свои силы против одного человека. И мы были заняты, а он должен был просто ждать, зная, что, если раздадутся выстрелы, мы уже убиты. А он еще жив.

Голоса мы услышали справа, над оврагом. И сразу же наткнулись на ход сообщения, пере-

ползли поближе вдоль заднего бруствера и снова прислушались. Один голос был совсем молодой, злой, быстрый, картавый, а второй — неспешный, сиплый, обиженно-усталый. И мне казалось, будто молодой за что-то ругает простуженного — он говорил сердито и дольше, а второй не то оправдывался, не то объяснял и повторял часто: «Яволь». И подползали мы, не сговариваясь с Левченко, только когда говорил молодой, пока не учуяли за бруствером рядом с собой сигаретный дым. Я ткнул в бок Левченко; мгновение мы еще полежали на вязкой, отрытой из окопа глине, а затем одновременно беззвучно перемахнули через бруствер.

Это заняло две-три секунды, но мне запомнилась каждая деталь: один фашист сидел на ящике у пулемета, завернувшись в одеяло, а другой сердито размахивал у него перед лицом рукой, и стоял он, на свою беду, спиной к нам, поэтому Левченко с ходу воткнул ему в шею финку, и он молча осел вниз, а я, перепрыгнув через него навстречу поднимающемуся сиплому пулеметчику, ударил его по голове рукоятью пистолета, натянул на него глубже одеяло и мешком подал наверх уже выскочившему из окопа Левченко.

Мы бегом доволокли «языка» до распадка овра-

га на берегу. Уже виден был в сумраке силуэт Сашки Коробкова около лодки, когда у самого обрыва мы напоролись на четырех немцев с ведрами — они по темному времени шли за водой. Немцы тоже нас не сразу опознали, и один из них, поднимая «шмайсер», крикнул неуверенно:

— Хальт! Вер ист да?

Левченко бросил на меня немца, и, пока я срывал чеку, придавливая «языка» коленом к земле, он уже бросил гранату, и грохот еще не стих, и от вспышки плавали в глазах волнистые червячки, а уже бросил свою гранату Коробков и одновременно выстрелил из ракетницы зеленый сигнал против течения реки — вызвал отсечный огонь.

Втащили немца в лодку, спихнули ее на глубину, сделали несколько гребков — и все еще было тихо, пока вдруг весь берег на нашей стороне не раскололся пламенем и громом. Завывали жутко минометы, и их «чемоданы» с визгом пролетали прямо над нашими головами и с треском взрывались над обрывом — на немецком переднем крае; стреляли тяжело и резко стомиллиметровки прямой наводкой; на этом кусочке прикрывал наш отход весь сто сорок третий артдивизион...

Потом и фрицы очнулись — осветительные ракеты уже не гасли ни на миг, воду вокруг нас

пороли длинными струями бурунчиков пулеметные очереди, у середины реки стали рваться мины, и, когда они взмывали над нами с долгим, щемящим душу ухающим вскриком, мы закрывали глаза и сильнее рвали веслами воду. Потом дощаник протяжно затрещал, я увидел, как крупнокалиберная очередь сорвала целую доску и вода, густая и черная, хлынула внутрь.

— Быстрее! Гребите быстрее! — заорал я и увидел, что Левченко не спеша, словно задумавшись о чем-то, падает через борт. Я вскочил с банки, лодка накренилась и пошла ко дну.

— Сашка! «Языка» держи! — успел сказать я Коробкову и нырнул, хватая за шиворот Левченко...

...И совсем не помню, как нас выволокли — всех четверых — на берег...

Это был сон или воспоминание, и длился он, как ночной поиск, полтора часа, а может быть, все это, происходившее со мной год назад, привиделось мне вновь в то мгновение, когда я открыл глаза от дребезжавшего долго и пронзительно телефона, гулкого и тревожного в пустоте ночного коридора.

Босиком пробежал я к аппарату, ежась от холода, сорвал трубку, и бился в ней крик дежурного:

— Это ты, Жеглов?!

— Нет, Шарапов слушает.

— Собирайтесь мигом — засаду в Марьиной роще перебили...

Жеглов спросонья не мог попасть ногой в сапог, закручивалась портянка, и он сиплым голосом негромко ругался; я натягивал ставшую тесной и неудобной гимнастерку, ремень на ходу, кепку в руки, а под окном уже гудел, бибикал копыринский «фердинанд».

Копырин захлопнул своим рычагом за нами дверь, будто совком подгреб нас с мостовой, и помчался с гулом и тарахтением по Сретенке.

— Что-о? — выдохнул Жеглов.

— Топоркова тяжело ранили, Соловьев, слава богу, цел остался. А больше я и сам ничего не знаю...

Завывая, «фердинанд» повернул против движения на Колхозной площади, прорезал поток транспорта и помчался по Садовой к Самотеке, в сторону Марьиной рощи. Копырин тяжело сопел, Жеглов мрачно молчал и только у самого дома Верки Модистки спросил:

— Свирскому доложили?

— Наверное, — пожал плечами Копырин. — Меня прямо из дежурки к вам послали, сказали, что Соловьев позвонил...

«Скорая помощь» уже увезла Топоркова, и, кроме тонкого ручейка почерневшей крови у двери, ничто не говорило о том, что здесь произошло час назад. Верка Модистка сидела в углу на стуле, оцепенев от ужаса, и только зябко куталась все время в линялый платок, будто в комнате стало невыносимо холодно. А здесь было очень душно — по лицу Соловьева катились капли пота, крупные, прозрачные, как стеклянные подвесочки на Веркиной люстре. Капли стекали на огромную красно-синюю ссадину под скулой, и Соловьев морщился от боли.

— Докладывай, — сказал Жеглов, и по тому, как он смотрел все время вниз, точно хотел убедиться в том, что сапоги, как всегда, блестят, и по голосу его, вдруг ставшему наждачно-шершавым, я понял: он сильно недоволен Соловьевым.

— Значит, все было целый день спокойно, — заговорил Соловьев, и голос у него был все еще испуганный, как-то очень жалобно он говорил. — В двадцать два пятьдесят вдруг раздался стук в дверь, и я велел Вере впустить человека...

Соловьев передохнул, достал из кармана пачку «Казбека» и трясущимися руками закурил папиросу, а я почему-то невольно отметил, что нам на аттестат не дают «Казбек», а продается он только

в коммерческих магазинах по сорок два рубля за пачку.

— Ох, просто вспомнить жутко! — сказал Соловьев, судорожно затягиваясь и осторожно поглаживая пальцами кровоподтек на щеке, но Жеглов оборвал его:

— Что ты раскудахтался, как баба на сносях! Дело говори!..

— Глебушка, я и говорю! Топорков встал вот сюда, за дверь, а я продолжал сидеть за столом...

— Руководил, значит? — тихо спросил Жеглов.

— Ну зачем ты так говоришь, Глеб? Будто это моя вина, что он в Топоркова попал, а не в меня!

— Ладно, ладно, рассказывай дальше...

— Вот, значит, открыла Вера входную дверь, впустила его в комнату, и пока он с темноты на свету не осмотрелся, я ему и говорю: «Предъявите документы!» Топорков к нему со спины подошел, он оглянулся и, гад такой, засмеялся еще: «Пожалуйста, дорогие товарищи, проверьте, у меня документы в порядке» — и полез во внутренний карман пальто. Топорков хотел его за руку схватить, и я тут к ним посунулся, а он вдруг из кармана прямо в упор — раз! В Топоркова! И так это быстро получилось, и выстрел из-под пальто тихий, что я и не понял сразу, что произошло, а

он выхватил из кармана пистолет и в лицо мне им как звезданет! И сознание из меня вон! Упал я бесчувственно, а он убежал...

Я хотел его спросить, как выглядит преступник, но вдруг из угла раздался тихий скрипучий голос:

— Врет он вам, не падал он в бесчувствии...

Это Верка сказала.

Соловьев дернулся к ней, но Жеглов заорал:

— Молчать! Будешь говорить, когда спрошу! — И повернулся к Верке: — А как было дело?

Верка, глядя прямо перед собой, не моргая, заговорила, и лицо у нее было неподвижное, как замороженное:

— Упал он на четвереньки, когда Фокс его револьвером шмякнул, а Фокс ему говорит и револьвером в затылок тычет: «Лежи на полу десять минут, если жизнь дорога». И мне говорит: «Если узнаю, что это ты, сука, на меня навела лягавых, кишки на голову намотаю, а потом повешу...» И пошел...

— А этот? — спросил Жеглов, показывая на Соловьева.

— А что этот? Полежал маленько и побег по телефону звонить. А я посмотрела вашего раненого — у него кровь ртом идет, в грудь ему пуля

попала...

Жеглов долго молчал, смотрел в пол, и я впервые увидел в его фигуре какую-то удивительную обмяклость, ужасную, нечеловеческую усталость, навалившуюся на него горой.

— Глеб! — закричал Соловьев. — Да ты что?! Неужто ты этой воровке, марвихерше противной поверил? А мне, своему товарищу...

— Ты мне не товарищ, — сказал тихо Жеглов. — Ты трус, сволочь. Ты предатель. Вошь ползучая...

— Не имеешь права! — взвизгнул Соловьев. — Меня ранили, ты за свои слова ответишь!..

— Лучше бы он тебя застрелил, — грустно сказал Жеглов. — С мертвого нет спроса, а нам всем — позора несмываемого. Ты нас всех — живых и тех, что умерли, но бандитской пули не испугались, — всех нас ты продал! Из-за тебя, паршивой овцы, бандиты будут думать, что они муровца могут напугать...

— Ты врешь! Я не испугался, я потерял сознание! — блажил Соловьев, и видно было, что сейчас он напугался, пожалуй, сильнее, чем когда его ударил пистолетом Фокс.

— Ты не сознание, ты совесть потерял, — сказал все так же тихо Жеглов, и в голосе его я услышал не злобу, а отчаяние.

Отворилась дверь, и шумно ввалились Пасюк, Тараскин, Мамыкин, еще какие-то ребята из второго отдела, а Свирского все не было, и в комнате звенело такое ужасное немое напряжение, такой ненавистью и отчаянием было все пропитано, что они сразу же замолчали. А Жеглов сказал:

— Ты, когда пистолет он навел на тебя, не про совесть думал свою, не про долг чекиста, не про товарищей своих убитых, а про свои пятьдесят тысяч, про домик в Жаворонках с коровой и кабанчиком...

— Да-да-да! — затряс кулаками Соловьев. — И про деток своих думал! Убьют меня — ты, что ли, горлопан, кормить их будешь? Ты их в люди выведешь? А я заметил давно: с тех пор как выигрыш мне припал, возненавидел ты меня. И все вы стали коситься, будто не государство мне дало, а украл я его! Я ведь мог и не рассказывать вам никому про выигрыш, но думал, по простоте душевной, что вы, как товарищи, все порадуетесь за удачку мою, а вы на меня волками глядеть, что не пропил я с вами половину, не растранжирил свое кровное. Вижу я, вижу, не слепой, наверное!..

Все в комнате отступили на шаг, и тишина стала такая, будто вымерли мы все от его слов. И Соловьев спохватился, замолчал, переводя круг-

лые испуганные глаза с одного лица на другое, и, видимо, прочел он на них такое, что обхватил вдруг голову руками и истерически всхлипнул.

Жеглов встал и сказал свистящим шепотом:

— Будь ты проклят, гад!

Секунду еще было тихо в комнате, и вдруг сзади, откуда-то из-за наших спин, раздался окающий говорок Свирского:

— Послушал я ваш разговор с товарищами, Соловьев. Очень интересно...

Ребята расступились, Лев Алексеевич прошел в комнату, осмотрелся, сел на стул, глянул, прищурясь, на замершего Соловьева:

— Вы, Соловьев, оружие-то сдайте, ни к чему оно вам больше. Вы под суд пойдете. А отсюда убирайтесь, вы здесь посторонний...

Соловьев двигался как во сне. Он шарил по карманам, словно забыл, где у него лежит ТТ, потом нашел его в пиджаке, положил на стол, и пистолет тихо стукнул, и звук был какой-то каменный, тупой, и предохранитель был все еще закрыт — он даже не снял его с предохранителя, он, наверное, просто забыл, что у него есть оружие, так его напугал Фокс. Неверным лунатическим шагом подошел к вешалке, надел, путаясь в рукавах, свое пальто, сшитое из перекрашенной шинели,

направился к двери, и все ребята отступали от него подальше, будто, дотронувшись рукавом, он бы замарал их.

Он уже взялся за ручку, когда Свирский сказал ему в спину:

— Вернитесь, Соловьев...

Соловьев резко повернулся, и на лице у него было ожидание прощения, надежда, что Свирский сочтет все это недоразумением и скажет: забудем прошлое, останемся друзьями...

А Свирский постучал легонько ладонью по столу:

— Удостоверение сюда...

Соловьев вернулся, положил на стол красную книжечку, взял забытый «Казбек» за сорок два рубля и положил в тот карман, где лежал пистолет. И ушел. А шапку забыл на вешалке...

А мы все молчали и старались не смотреть друг на друга, как будто нас самих уличили в чем-то мучительно стыдном. И неожиданно заговорила Верка, наблюдавшая за нами из своего угла:

— Он сказал Фоксу, что вы его здесь дожидались...

— Что, что? — развернулся к ней всем корпусом Свирский.

— Ничего — что слышал. Фокс навел на него

револьвер и говорит: «Рассказывай, краснопёрый, кого вы здесь пасете, а то сейчас отправлю на небо...» Ну, ваш и сказал, что сам плохо знает — какого-то Фокса здесь ждут. Тот засмеялся и пошел...

Через час умер Топорков. Из больницы Склифосовского Копырин повез меня и Глеба домой. Жеглову, видимо, не хотелось с нами разговаривать — он прошел в автобусе на последнюю скамейку и сидел там, согнувшись, окунув лицо в ладони, изредка тоненько постанывая, тихо и зло, как раненый зверь. Я сидел впереди, за спиной Копырина, а он досадливо кряхтел, огорченно цокал языком, вполголоса говорил сам с собой:

— И отчего это люди так позверели все? Жизнь человеческая ни хрена не стоит. И сколько этой гадости мы уже отловили, а все покоя нет. И снова убивать будут, и конца-края всему такому безобразию не видно... Сейчас-то чего им не хватает? Вроде жизнь после войны налаживаться стала...

— Не бубни зря, старик, — сказал глухо Жеглов. Балансируя руками, он прошел по раскачивающемуся нашему рыдвану, присел на корточки рядом с Копыриным, крепко взял его за плечо, заглянул в глаза, попросил настойчиво: — Выпить бы сейчас хорошо, Иван Алексеич...

— Оно бы, конечно, хорошо, — уклончиво сказал Копырин, мазнув себя кулаком по жесткому щетинистому усу. — Так ведь ты, Глеб Егорыч, сам знаешь...

— У тебя дома есть, — твердо сказал Глеб. — И хоть сегодня ты своей жены не бойся. Скажи, что для меня — я со следующего аттестата отдам.

— Так не в том дело, что отдашь, — покачал головой Копырин. — По мне выпивка хоть совсем пропади. Бабы боязно...

А сам уже сворачивал на Складочную улицу, к своему дому на Сущевке.

— Ох, даст она мне сейчас по башке, — боязливо бормотал Копырин.

Притормозил у дома и, не выключая мотора, вышел, будто в случае неудачи собирался удрать побыстрее.

— Ждите, — велел он обреченно и нырнул в парадное. Жеглов молча курил, и я не стал ему задавать никаких вопросов. Вот так мы и молчали минут пять, и только папироски наши попыхивали в темноте. Потом вышел из дома Копырин, и в руках у него были две бутылки водки. Он устроился ловчее на своем сиденье, передал бутылки Жеглову, облегченно вздохнул:

— Домой велела не возвращаться...

— Это хорошо, — успокоил Жеглов. — У нас с Шараповым поселишься.

— Ну нет уж, — замотал головой Копырин. — С вами хорошо, а дома все ж таки лучше. Она у меня, старуха-то, не злая. Горячая только, поорет маленько и отойдет. И стряпает очень вкусно, и чистеха — в руках все горит. Нет, бабка она огневая...

— Тогда живи дома, — разрешил Жеглов.

Заходить к нам в гости Копырин тоже не согласился:

— Какие среди ночи гости? Вот с женой своей помирюсь, налепит она нам вареников, тогда лучше вы ко мне приходите. Завсегда найдется нам о чем потолковать. — И с лязганием и скрежетом «фердинанд» покатил вниз по Рождественскому бульвару.

Мы постояли на улице еще немного, вдыхая чистый ночной воздух.

— Хороший мужик Копырин, — сказал я.

— Да, — сказал Жеглов и пошел в подъезд.

На кухне сидел Михал Михалыч и читал газету. Он вытянул нам навстречу из панциря свою круглую черепашью голову и сказал:

— Много трудитесь, молодые люди...

— Да и вы бодрствуете, — криво усмехнулся

Жеглов.

— Я подумал, что вы придете наверняка голодными, и сварил вам картофеля...

— Это прекрасно, — кивнул Жеглов, а меня почему-то рассмешило, что Михал Михалыч всегда называет нашу дорогую простецкую картоху, картошечку, бульбу разлюбезную строгим словом «картофель».

— Спасибо, Михал Михалыч, — сказал я ему. — Может, выпьете с нами рюмашку?

— Благодарствуйте, — поклонился Михал Михалыч. — Я себе этого уже давно не позволяю.

— От одного стаканчика вам ничего не будет, — заверил Жеглов.

— Безусловно, мне ничего не будет, но вы останетесь без соседа. Если не возражаете, я просто посижу с вами.

Мы пошли к нам в комнату, и Михал Михалыч принес кастрюльку, завернутую в два полотенца — чтобы тепло не ушло; видимо, он давно уже сварил картошку.

Посыпали черный хлеб крупной темной солью, отрезали по пол-луковицы, разлили по стаканам. Жеглов поднял свой и сказал:

— За помин души лейтенанта Топоркова. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память...

И в три жадных глотка проглотил. И я свой выпил. Михал Михалыч задумчиво посмотрел на нас и немного пригубил свой стакан.

Хлеб был черствый, и вкуса картошки я не ощущал, а Жеглов вообще не стал закусывать и сразу налил снова.

Мы посидели молча, потом Михал Михалыч спросил:

— У вас товарищ умер?

Жеглов поднял на него тяжелые глаза с покрасневшими веками и медленно сказал:

— Двое. Одного бандит застрелил, а другой подох для нас всех, подлюга...

Зашевелились клеточки-складки-чешуйки на лице Михал Михалыча:

— Н-не понял?

— А-а-а! — махнул зло рукой Жеглов и повернулся ко мне: — Мы ведь с тобой и не знаем даже, как звали Топоркова... — Он поднял свой стакан и сказал: — Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон, и башки эти его — трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла. Давай поклянемся, Шарапов, рубить эти проклятущие головы, пока мечи не иступятся, а когда силы кончатся, нас с тобой

можно будет к чертям на пенсию выкидать, и сказке нашей конец!

Очень мне понравилось, как красиво сказал Жеглов, и чокнулся я с ним от души, и Михал Михалыч согласно кивал головой, и легкая теплая дымка уже плыла по комнате, и в этот момент очень мне был дорог Жеглов, вместе с которым я чувствовал себя готовым срубить не одну бандитскую голову.

Жеглов и второй стакан ничем не закусил, только попил холодной воды прямо из графина, багровые пятна выступили у него на скулах, бешено горели глаза, и он теребил за руку Михал Михалыча:

— Они и меня могут завтра так же, как Топоркова, но напугать Жеглова кишка у них тонка! И я их, выползней мерзких, давить буду, пока дышу!.. И проживу я их всех дольше, чтобы самому последнему вбить кол осиновый в их поганую яму!.. У Васи Векшина остались мать и три сестренки, а бандит — он, гадина, где-то ходит по земле, жирует, сволочь...

Все вокруг меня плавно, медленно кружилось. Я встал, взял со стола графин, пошел за водой на кухню и почувствовал, что меня тихонько, как на корабле, раскачивает, и веса своего я не ощущаю

— так все легко, будто накачали меня воздухом.

— ...Вашей твердости, ума и храбрости — мало, — говорил Михал Михалыч, когда я вернулся в комнату и, сделав небольшой зигзаг, попал на свой стул.

— А что же еще нужно? — щурился Жеглов.

— Нужно время и общественные перемены...

— Какие же это перемены вам нужны? — подозрительно спрашивал Жеглов.

— Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть, десятилетия, чтобы залечить, изгладить ее материальные и моральные последствия...

— Например? — уже стоял перед Михал Михалычем Жеглов.

— Нужно выстроить заново целые города, восстановить сельское хозяйство — раз. Заводы на войну работали, а теперь надо людей одеть, обуть — два. Жилища нужны, очаги, так сказать, тогда можно будет с беспризорностью детской покончить. Всем дать работу интересную, по душе — три и четыре. Вот только таким, естественным путем искоренится преступность. Почвы не будет...

— А нам?..

— А вам тогда останутся не тысячи преступни-

ков, а единицы. Рецидивисты, так сказать...

— Когда же это все произойдет, по-вашему? Через двадцать лет? Через тридцать? — сердито рубил ладонью воздух Жеглов, а сам он в моих глазах слоился, будто был слеплен из табачного дыма.

— Может быть... — разводил черепашьими ластами Михал Михалыч.

— Дулю! — кричал Жеглов, показывая два жестких суставчатых кукиша. — Нам некогда ждать, бандюги нынче честным людям житья не дают!

— Я и не предлагаю ждать, — пожимал круглыми плечами Михал Михалыч. — Я хотел только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием. А главное — моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей...

— Милосердие — это поповское слово, — упрямо мотал головой Жеглов.

Меня раскачивало на стуле из стороны в сторону, я просто засыпал сидя, и мне хотелось сказать, что решающее слово в борьбе с бандитами принадлежит нам, то есть карательным органам, но

язык меня не слушался, и я только поворачивал все время голову справа налево, как китайский болванчик, выслушивая сначала одного, потом другого.

— Ошибаетесь, дорогой юноша, — говорил Михал Михалыч. — Милосердие не поповский инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся...

— Точно! — язвил Жеглов. — «Черная кошка» помилосердствует... Да и мы, попадись она нам...

Я перебрался на диван, и сквозь наплывающую дрему накатывали на меня резкие выкрики Жеглова и журчащий тихий говор Михал Михалыча:

— ...У одного африканского племени отличная от нашей система летосчисления. По их календарю сейчас на земле — Эра Милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы, и сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи — Эры Милосердия, в расцвете которой мы все сможем искренне ощутить себя друзьями, товарищами и братьями...

* * *

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ ВОИНОВ

В районах столицы идет деятельная подготовка к встрече возвращающихся из Красной Армии демобилизованных 2-й очереди.

Депутаты райсоветов с активом проводят учет квартир демобилизуемых. Там, где это необходимо, будет сделан ремонт.

Предприятия готовят для демобилизованных и их семей подарки. Обувная фабрика № 3 шьет 400 пар обуви, а валяльная фабрика — 300 пар валенок для школьников — детей фронтовиков. 200 шапок изготовила меховая фабрика...

«Вечерняя Москва»

Тараскин встретил меня в коридоре и строго предупредил:

— Сегодня в пять часов комсомольское собрание. Отчетно-перевыборное. Ты уже встал на учет?

— Нет. Из райкома еще не переслали мою учет-

ную карточку.

Тараскин был важен и исключительно озабочен:

— Ты позвони в райком, поторопи. Надо активнее включаться в общественную жизнь. — Он придирчиво посмотрел на меня и внушительно добавил: — Это я тебе как член бюро говорю. И на собрание обязательно приходи...

— Хорошо, — сказал я. — А ты у Жеглова отпросился?

— Что значит «отпросился»?! — возмутился Коля. — Поставил в известность — и точка! Собрание — важное политическое мероприятие, и Жеглов сам обязан присутствовать...

— А Жеглов комсомолец? — удивился я.

— Конечно! Правда, ему уже двадцать шестой год... Скоро будем его рекомендовать кандидатом партии.

Я как-то и не задумывался над тем, что Жеглову всего на три года больше, чем мне, — почему-то он во всем казался намного опытнее, умнее, старше...

Собрание проходило в актовом зале; и залом-то он считался только по названию — такой он был маленький. Набилось туда народу, как селедок в бочку. Я хотел устроиться у входа на подоконни-

ке, но увидел, что из середины зала мне машет рукой Варя, и стал пробираться к ней ближе; и полз я по чьим-то ногам, спинам, на меня ругались, чертыхали меня по-всякому, толкали и пинали. Наконец я добрался до Вари и устроился рядом с ней — две ее подружки подвинулись, косясь на меня и усмехаясь.

Председатель позвонил в колокольчик и сказал:

— Товарищи! Прошлое наше отчетно-выборное собрание состоялось еще во время Великой Отечественной войны — 20 сентября 1944 года. Многое пережила страна — и мы вместе с нею — за этот год. Об этом подробно доложит докладчик. А сейчас память погибших с прошлого собрания я предлагаю почтить вставанием...

Зал единым махом поднялся, стало тихо, только тяжело дышал кто-то у меня за спиной и гремел звонкий мальчишеский голос председателя:

— Аникин, Багаутдинов, Векшин, Гринберг, Седова, Топорков, Увалов, Яковлев... Вечная память комсомольцам, павшим с оружием в руках за счастье нашей Родины!

Слово для отчетного доклада получил наш секретарь Степа Захаров — белобрысый курчавый опер из ОБХСС. И шум понемногу улегся в зале.

Я сидел рядом с Варей, ощущая ее теплое мягкое плечо и поглядывая на нее все время сбоку. Она толкнула меня тихонько локтем — слушай, мол, а не вертись!

Степа хорошо говорил — не по бумажке, а на память, только изредка заглядывая в блокнот, когда ему надо было привести какие-то цифры. Голос у него был громкий, раскатистый, и говорил он с выражением, а не бубнил, и когда ему казалось, что он голосом чего-то не дожал, не разъяснил и не убедил, то он еще рукой махал резко и решительно, будто саблей отсекал этот вопрос.

— ...Больше пятнадцати тысяч килограммов крови дали доноры столичной милиции для воинов Красной Армии, — гремел Степа с трибуны. И сам хлопал в ладоши, и по лицу его было видно, что он так доволен, будто его самого спасли кровью доноров-милиционеров. — И особый низкий поклон нашим дорогим девушкам — комсомолкам-донорам, среди которых я хотел бы назвать Середину, Акимову, Леонтьеву, Рамзину, Попрядухину, Кикоть и многих других, которые сдавали свою кровь по двадцать — тридцать раз!

Зал гремел аплодисментами, я наклонился к Варе и спросил тихонько:

— А ты, Варя, тоже сдавала кровь?

— Семь раз, — смущенно улыбнулась Варя, будто стеснялась того, что вроде Кати Рамзиной не сдала кровь тридцать раз.

Я пожал слегка ее пальцы и шепнул:

— Варюша, а может быть, во мне и твоя кровь течет?..

— ...Исключительно важное значение имело проведение огородной кампании для улучшения продуктового снабжения работников милиции, — взмахивал сразу двумя руками Степа Захаров. — И, безусловно, надо признать, что лучше всех с этим ответственным мероприятием справились сотрудники 78-го отделения милиции, которые на своем огороде в Измайлове накопали по шестнадцать-семнадцать мешков картошки с каждого участка. А работники ОБХСС Калининского района провалили это дело, поскольку у них собрано не более двух-трех мешков...

Степа покритиковал еще немного транспортников, не обеспечивающих своевременный ремонт автомашин, потом сделал остановку, помолчал и сказал негромко:

— К сожалению, не обошлось без ЧП... — И зал, как по команде, затих, а Степа продолжал: — Один из наших... оказался трусом. — Тишина в зале напрягалась до предела. — Выполняя боевое

задание, лейтенант Соловьев струсил, предал товарищей...

Зал взорвался возмущенными криками:

— Позор! Подлец!

Девчушка в сержантских погонах, сидевшая перед нами, наклонилась к подруге, громко шепнула ей:

— В засаде они сидели, и он убийцу выпустил, испуга-ался...

А зал гремел:

— Вон из комсомола!

Захаров постучал карандашом по графину, объявил:

— Тихо, товарищи. Персональное дело комсомольца Соловьева будет рассматриваться особо. А сейчас — к повестке...

Он еще говорил о наших задачах, о повышении профессиональной подготовки, укреплении дисциплины, и когда он кончил, то председатель совершенно неожиданно для меня сказал:

— В прениях первое слово предоставляется председателю шефской комиссии бюро комсомола сержанту Синичкиной...

Варя встала, одернула юбку и сказала:

— Товарищи, у меня голос громкий, я буду с места говорить, а то на трибуну не пробраться.

— И говорила она действительно очень звонко, отчетливо, и мне пришло в голову, что это только я один такой куль — двух слов на людях связно сказать не могу.

— Пусть на сцену идет! — услышал я выкрик Жеглова и стал его искать глазами, пока не разглядел, что он сидит в президиуме — вторым слева от председателя.

— Пусть с места говорит! — кричали из зала. — А то все время уйдет на хождение туда и обратно!

И я, конечно, закричал:

— С места! Тут лучше!

Жеглов увидел меня, усмехнулся и развел руками:

— Воля масс — закон для президиума!..

— Товарищи! Шефская комиссия проделала за истекший отчетный период немалую работу, хотя нерешенных вопросов еще остается тьма. Основное внимание мы уделяли детям и семьям наших погибших товарищей — тех, кто пал на фронте или здесь при исполнении служебных обязанностей. В клубе Управления мы провели большой праздничный утренник, на который к детям приехали замечательные наши артисты Качалов, Москвин и Хмелев. Всем детям мы приготовили праздничные гостинцы

— хлеб с повидлом, орехи и очень вкусные соевые конфеты. К предстоящему празднику 28-й годовщины Великой Октябрьской революции мы тоже постарались сделать подарки для детей наших погибших товарищей. Мы распределили сто пятьдесят кусков мыла, сорок три ордера на промтовары, — в основном, на обувь и пальто, — и в каждую такую семью уже завезли по сто пятьдесят килограммов картофеля, пятьдесят кило капусты и по два кубометра дров...

Лицо у Вари раскраснелось, блестели огромные серо-зеленые глаза, она говорила быстро и весело, и, когда я смотрел на нее, лицо мое невольно расплывалось в блаженную, счастливую улыбку.

— ...Замечательно проявил себя комсомолец старшина Иванов, имеющий гражданскую профессию сапожника. Он очень хорошо и быстро починил к наступающей зиме обувь всем нуждающимся детям сотрудников Управления и многим нашим товарищам, у которых не кончился еще срок носки форменной обуви, а она уже пришла в негодность...

Это был, наверное, тот самый Иванов из комендантского взвода, к которому меня обещал отвести Тараскин; так мы до сих пор к нему и не собрались.

— ...Коновалов, который отвечает за организацию подарков раненым в московских госпиталях, халатно относится к своим обязанностям. Если бы не инициатива девушек из отдела РУД — ГАИ, вопрос этот стал бы под угрозу срыва, а это неслыханный позор! Надо отстранить Коновалова от такого важного дела...

Варя села на место, и я сказал ей:

— Ты замечательно выступала...

Потом вышел на сцену из-за стола президиума Жеглов, и на трибуну он не пошел, а говорил, расхаживая по крошечной свободной полоске перед столом:

— Когда год назад партия и правительство оказали огромную честь, наградив нас орденом Красного Знамени, комсомол поставил перед нами задачу: «Каждому работнику милиции — семилетнее образование!» Оправдываем ли мы доверие? Выполняем ли мы лозунг о семилетнем образовании? Со всей прямотой надо признать: пока еще с этим вопросом у нас плохо! Начальник бригады Мамыкин никак не закончит семилетку, оперуполномоченного Флегонтова исключили из школы, оперуполномоченный Пасюк третий год числится в шестом классе...

— Ты еще про деда моего вспомни! — крикнули

из зала. — Пасюку уже за тридцать!

— Ну и что, если Пасюк уже немолодой человек? Что же, ему из-за этого так и пребывать во тьме невежества? Задача более подготовленных сотрудников — подтянуть на свой уровень менее грамотных товарищей. Милиционер — представитель Советской власти, а власть можно дискредитировать не только непотребным поведением, но и своей серостью...

— Ты у нас больно ясный! — кричал все тот же голос из угла зала. — Пасюк в твоей бригаде работает, ты бы его и подтягивал к себе!

— И подтяну! А ты хочешь говорить — выходи на трибуну и говори, а оратора не смей перебивать...

— О-ра-тор! — засмеялись несколько человек.

Но Жеглова с толку не собьешь.

— Вот ты, Сапегин, смеешься, а сам на политзанятиях заявил, что помнишь Антарктиду потому, что в этом государстве нет столицы! В твоей зоне планетарий находится, люди поглядеть его за пять тысяч километров приезжают. Ты же семь раз на дню мимо таскаешься, а ведь в нем наверняка ни разу и не был, а?

Все дружно захохотали. Сапегин, растерянно качая головой, говорил:

— Ну не был, схожу еще. Я вокруг планетария не под ручку прогуливаюсь...

— ...Нам надо всем развивать культуру в себе, и самые верные пути для этого — учеба, чтение книг, участие в художественной самодеятельности. В сентябре был общегарнизонный смотр, а начальники десятого и сорок второго отделений милиции не отпустили своих сотрудников на него. Как это нам понимать?

Особенно оживленно загомонили девушки. Жеглов успокаивающе поднял руку и закончил:

— Владимир Ильич Ленин сказал, что машина советской администрации должна работать аккуратно, честно, быстро. И если к нашей честности приложить необходимое образование, то мы все обязательно будем успешно работать — аккуратно и быстро!..

И под единодушные аплодисменты закончил свою речь.

Потом поднялся Мамыкин:

— Товарищи, многие или, может, некоторые посчитают неважным, что я скажу, но я думаю, это очень важное дело. — Он остановился на минуту, попил воды из стакана. — Находится у нас немало молодых товарищей, и комсомольцев в их числе, готовых истратить десятки рублей на

мороженое, папиросы и конфеты. Эти транжиры забывают, что оклад в 478 рублей не бесконечен, и потом они бегают занимать у сослуживцев на обед. Не к лицу это работнику милиции! — закончил он под общий смех и аплодисменты.

После Мамыкина говорили еще часа полтора, в маленьком зале уже дышать стало нечем — стекла запотели, и по ним сочились тоненькие струйки.

Потом полковник Карасев вручил сержанту Маше Колесниковой ценный подарок начальника Управления милиции — отрез бостона — за то, что она одна задержала двух вооруженных грабителей.

И началось голосование. Орали до хрипоты, добиваясь одних и отводя кандидатуры других, жалобными голосами отбивались самоотводчики, список все рос, и только я не участвовал в этой сумятице — они все друг друга хорошо знали, а я их видел всех вместе впервые.

Перед подсчетом голосов объявили перерыв. Я сказал Варе:

— Варь, я тебя провожу?

Она кивнула, но в этот момент подошел Жеглов и, улыбаясь, заявил:

— Варвара, придется мне вас разлучить...

— Это почему еще? — набычился я.

Жеглов подмигнул:

— По делишку нам с тобой сейчас надо сбегать...

Я повернулся к Варе:

— Я позвоню?

— Да. Будь здоров. — И ушла в зал.

А мы пошли с Жегловым к себе в кабинет, и он все посматривал на часы, будто боялся опоздать куда-то. Набрал номер телефона и говорил как-то странно:

— Это ты?.. Ага, привет... Хорошо... Как договорились... Все, буду...

Он взглянул на меня, засмеялся:

— Ну что, орел, сопишь? Недоволен мною?

Я пожал плечами.

— Слушай, Шарапов, а как же ты с Варей разговариваешь? Из тебя же слова за деньги тянуть приходиться.

— Ничего, как-нибудь без твоего краснобайства обойдусь...

— Да ты не сердись! Оторвал я тебя, конечно, от Варвары, но сам знаешь: «первым делом, первым делом самолеты...»

* * *

10 октября 1945 года в Октябрьском зале Дома Союзов состоится 34-й тираж Государственного займа 2-й пятилетки, выпуска четвертого года.

Объявление

Мы вышли с Петровки около девяти вечера, и ночь, разжиженная желтыми тусклыми огнями на бульварах, непроницаемо расползлась по окрестным переулкам. Накрапывал мелкий дождь, ветер с грохотом рвал на крышах отставшие листы толя и жести, и мы зябко кутались в свои тощие плащи. С Каретного вышли на Колобовский, спустились к цирку, перепрыгнули через забор огромного недостроенного дома, мрачно темневшего провалами оконных проемов. В этом здании должен был разместиться не то какой-то новый театр, не то новый цирк, но из-за войны стройку забросили, не успев положить кровлю, и время обошлось с ним не хуже, чем хорошая бомбежка. Мне это здание сильно напоминало развороченный собор святого Николая в Берлине, в котором немцы установили

противотанковую батарею, и мы их выкуривали оттуда просто мучительно — долбили храм прямой наводкой.

Эту заброшенную стройку тоже будто брали приступом — повсюду были навалены груды битого кирпича, дыбились катушки старых кабельных барабанов, надолбами торчали треснувшие бетонные балки. Мы присели с Жегловым на перевернутый ящик, и я спросил его:

— А кого мы тут ждем?

— Знающих людей... — коротко сказал Жеглов, и мне в темноте показалось, будто он усмехается.

— Они нас тут в темноте не углядят, твои знающие люди.

— Я их сам угляжу, — хмыкнул Жеглов.

— Но ведь... — собрался я пуститься в обсуждение, но Жеглов положил мне руку на плечо и шепнул:

— Давай помолчим. Так лучше будет...

И мы с ним молчали. Довольно долго. Пока я вдруг не услышал шорох — сыпались обломки под ногами, шаркали подметки по мусору. Я толкнул Жеглова в бок — идут! Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жеглов вытянул шею, тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение — со слухом у меня

лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека. Жеглов еле слышно присвистнул два раза: «фью-фью!» И тот ему ответил так же. Жеглов мне сказал:

— Подожди меня тут...

Он неслышно скользнул в темноте к знающему человеку, и мне тоже было на него любопытно взглянуть, но у Жеглова были, по-видимому, в этом смысле другие планы.

Тихо здесь было, за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой. И в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жеглова и его знающего человека, будто вырезанные из черной бумаги, как это очень ловко делал в фойе «Урана» инвалид всем желающим за рубль: вырезали и забыли наклеить на картон, и от этого они все время в разговоре шевелили руками, наклонялись друг к другу, и мне казалось, что они играют в китайский бокс — потычут пальцами, побарахтаются, разойдутся и снова бросаются в бессильную атаку.

Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой. Я подошел и, хотя мне очень хотелось узнать, что сказал знающий человек, спрашивать все-таки

не стал — Жеглов ведь не хотел, чтобы я слышал их разговор, будто я посторонний и мог кому-то растрепаться.

Мы вышли на Цветной бульвар, и я подумал о том, как мы все время неотвратимо крутимся вокруг места, где убили Васю Векшина; что бы ни происходило, мы так или иначе выходили сюда, и я не мог понять, случайность это или есть какой-то тайный смысл в том, что мы снова и снова попадаем на Цветной.

Перешли мы через трамвайную линию и отправились в глубь Сухаревского переулка. Жеглов покосился на меня и спросил:

— Ты чего надулся, как мышь на крупу?

— Я? Ничего я не надулся! Это тебе показалось...

— Ха, показалось! А то я не вижу.

— А если видишь, то чего спрашиваешь?

— Ох, Шарапов, беда мне с тобой — сколько же еще тебя надо будет учить? Со временем ты уразумеешь, что оперативная работа требует доверия собеседников, спокойствия в разговоре, что всякий третий гораздо более лишний, чем в любви!

— Зачем же ты меня с собой взял? Чтобы с места на место не скучно было ходить?

Жеглов весело засмеялся:

— Как зачем? А если мой собеседничек захочет меня ножиком потрогать? Они ведь люди ужасно грубые и нервные...

И я так и не понял, всерьез говорит Глеб или шутит, потому что он оставил меня неожиданно в какой-то подворотне, пробормотав:

— Одну минутку... — И постучал в окно бельэтажа — «тук-тук». И еще три раза подряд — «тук-тук-тук». В окне погас свет, мелькнуло чье-то лицо за стеклом, приплюснулось блином и исчезло. Жеглов пошел во двор, сказав мне:

— Ты тут на лавочке посиди пока...

Всклокоченная старуха прошагала от дверей к сараям, в тени которых пристроился Жеглов, и что-то они там долго бурчали промеж себя, и старуха рокотала, как мотор на больших оборотах, и Жеглов ее укрощал все время:

— Понятно, понятно... Бабаня, не определяйте голосом... Тише... Да не гудите вы так!..

Потом мы поднялись по Сухаревскому, пересекли Сретенку и через Даев переулок начали петлять по проходным дворам, по каким-то задворкам вышли на Ананьевский. Я не выдержал и спросил:

— Ну что?

— А ничего! — беззаботно сказал Жеглов. — Не знают они ни хрена...

И здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде, и лица этого мужика я тоже не видел. В троллейбусе проехали по Мещанке и сошли на Капельском, и тут возобновился наш головокружительный обход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, по баракам, старым покосившимся домишкам, и только по своей военной привычке ориентироваться в направлении я смекал, что мы постепенно смещаемся к Каланчовке, к трем вокзалам.

Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазого парнишку и говорил ему:

— Ты, Рублик, не шелапутничай больше — иди и скажи, что от меня, там примут, а я завтра позвоню обязательно, все будет в порядочке. Усек?

— Усек, — хрипло сказал парнишка. — Не наврете, гражданин Жеглов?

— Хамский ты шкет, Рублик. Ты разве от кого слышал, чтобы Жеглов врал? Беги, пока не передумал. Брысь!

И парень побежал в сторону вокзалов, а Жеглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал:

— Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре...

Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения:

— Ну ты и даешь! А откуда узнал?

— От верблюда! — находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке.

* * *

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН ГОРОДА МОСКВЫ

С 16 октября 1945 года будут выдаваться талоны на приобретение керосина. Керосин выдается всему населению города по 2 литра на человека. Выдача талонов будет производиться по месту получения основных продовольственных карточек через уполномоченных карточных бюро учреждений.

Продажа керосина в нефтелавках начинается 17 октября с. г. Срок действия талонов — до 1 ноября 1945 года.

Зав. Мосгорторготделом Филиппов

Извещение Московского городского отдела торговли

Я подписал кадровичке пропуск на выход и взглянул на часы: половина первого. День проходил в трудах праведных, но совершенно без толку. По списку, который мы составили со следователем Панковым, я вызывал и допрашивал сослуживцев Груздева и Ларисы, и все это было

довольно нудно, хотя бы потому, что я не знал толком, о чем их спрашивать. «Что вы можете сказать о нем как о человеке?», «Какой он работник?», «Известно ли вам что-либо об их взаимоотношениях?» — глупости какие-то. Груздев ведь при всех условиях не был этим самым... Синей Бородой... Как там ни расспрашивай, убил-то он впервые и вряд ли советовался об этом с сослуживцами или делился с ними своими переживаниями. А уж о Ларисе и говорить нечего...

Вчера пришла справка на наш запрос о судимостях Груздева — «нет, не судим, к уголовной ответственности не привлекался, приводов не имел». Сослуживцы и вовсе в один голос твердят, что мужчина он порядочный, выдержанный, работник замечательный — награды у него и все такое прочее. Что от жены ушел, не таил, сказал только, что она нашла себе другого человека... Так с кем, знаете ли, не бывает, дело житейское. А угроз каких в ее адрес или чего-нибудь подобного — боже упаси! И Ларисины сослуживцы показывают, что никаких жалоб на Груздева от нее сроду не слышали, наоборот, даже когда он от нее съехал, говорила она как-то, что таких порядочных мужчин нынче поискать...

Заведующий труппой сказал, что Ларису уже

несколько раз на срочные роли вводили. Второстепенные, конечно, но подумывали о зачислении в творческий штат. Вот тут, правда, неувязка одна получается. Кадровичка, та, что от меня сейчас ушла, показала мне приказ об увольнении Ларисы по собственному желанию. И рассказала, что она ни с того ни с сего явилась в кадры с заявлением в субботу, восемнадцатого, а попросила ее рассчитать с двадцатого. И на вопрос, что случилось, отвечать не стала, сказала только, что по личным причинам. Странно это: она ведь мечтала стать актрисой, и вроде к тому шло дело — и вдруг уволилась. Надя, сестра ее, ничего об этом не знает, и, сколько мы с ней тут голову ни ломали, ничего путного не сообразили...

К часу я вызвал почтальоншу — тут еще одна штука любопытная. Я начал с бумажками Ларисиными разбираться, до писем руки не дошли, а телеграмма одна попалась интересная, время прибытия указано: двадцатого октября в восемнадцать часов ноль пять минут. Насчет текста: «МУСЕНЬКИН ВЫЕЗД ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДЕКАБРЯ, ЦЕЛУЮ, ТЕТЯ ЛИЗА» — мне Наденька дала объяснение — это должна была приехать по делам их родственница из Семипалатинска, да что-то помешало. А вот с временем доставки я хотел

разобраться абсолютно точно: по нашим-то сведениям, если почтальонша телеграмму принесла вовремя, она могла застать в квартире Груздева...

Разговор у нас состоялся короткий, но вещи выяснились удивительные.

— Квартиру эту я хорошо знаю, — сказала пожилая почтальонша, водрузив на остренький носик большие, должно быть, мужские очки и раскрывая разносную книгу. — Слава богу, не первый год корреспонденцию доставляю на этот участок. Вот поглядите — телеграмма Груздевой Ларисе, из Семипалатинска. Время доставки — девятнадцать двадцать, число — 20 октября, и подпись ее, Ларисы, собственноручная.

До меня даже не сразу дошло — что же это получается-то? Ведь этого никак не может быть: сосед Липатников видел выходящего из дома Груздева после матча, то есть в девятнадцать часов плюс-минус несколько минут. Этот момент и есть предполагаемое время убийства. А еще через двадцать минут Лариса лично принимает телеграмму и расписывается в книге. Не вяжется, никак этого не может быть!

— Вы уверены, что доставили телеграмму именно в это время?

Почтальонша даже обиделась:

— Сроду на меня жалоб не было! Да и живу я в соседнем доме, так что доставляю все без задержки!

— А может, кто другой принял телеграмму, не Лариса?

— Да нет, она сама, лично, я же вам говорю. Знала я ее хорошо, тут никакой ошибки! Она еще всегда приглашала чайку выпить, приятная очень женщина, вежливая, обходительная...

Я подумал: что бы еще узнать у почтальонши? И спросил:

— Вы не обратили внимания, она в обычном была состоянии или, может, возбуждена, расстроена?..

— Ой, что вы! Наоборот, очень веселая была, все напевала что-то, затащила меня на кухню — у них коридорчик очень маленький... Там, на кухне, она и телеграмму при мне прочитала, и расписалась, только что чаю не предложила — я потому и заметила, что она обычно-то предлагает.

— А в квартире никого не было?

Почтальонша задумалась ненадолго, наморщив лоб, — припоминала, видимо, расположение квартиры, — потом уверенно сказала:

— Не было никого, точно: двери в комнату настежь были, и там никого...

Да-а, озадачила меня эта история с телеграммой! Если сосед Липатников не ошибается, то Груздев вышел из дому, когда Лариса была еще жива. Притом находилась одна в квартире. Но если Груздев вышел, оставив Ларису в живых, то почему он врет, что не встречался с ней? Почему опровергает показания соседа? Надо обязательно посоветоваться с Глебом. Да и его, наверное, эта история озадачит — он-то полагал, что все здесь проще пареной репы, а получается...

Глеб толкует, что Груздев убил Ларису из-за квартиры, ну и попутно вещички забрал. Но тогда при чем здесь Фокс этот самый? Разве что Груздев действительно нанял его и назначил плату как раз вещами? Но зато сколько народу вокруг допрошено — и никто никогда около Груздева не видел человека с приметами Фокса. Конечно, сговор подобный — дело тайное, но и то нужно взять в рассуждение, что снюхаться им негде было, поскольку Фокс уголовник, бандюга, а Груздев — интеллигент, доктор и ничего между ними общего не должно быть. Хорошо бы, конечно, самого Груздева спросить, но еще неизвестно, как посмотрит на это Жеглов.

М-да, непонятно. Совсем непонятно. И все равно сейчас главное узнать, был там Груздев или

не был. Он ведь мог прийти, наладить разговор — не зря же Надя говорит, что и вино, и шоколад на столе любимой марки Груздева, — а потом, подготовив плацдарм для Фокса, отвалить: пожалуйте, мол, артподготовка проведена, танки к бою!.. Кстати, шоколад Панков велел эксперту передать, совсем из головы выскочило...

Спасибо старшине из комендантского отдела, который оказался на вещевом складе с машиной, а то бы в жизни мне не вывезти добро, которым меня в неслыханном количестве снабдили суровые складские интенданты в полном соответствии с арматурным списком и сроком на два года. Чего только не было в трех здоровенных тюках, которые я целый час паковал на длинном неструганном прилавке: шинель, мундир, гимнастерки, галифе, белье, сапоги, валенки, шапка, фуражка, портянки, подметки, новенькая скрипящая и сверкающая «сбруя» — ремень с портупеей — и даже блестящие серебряные погоны с красными кантами — четыре пары, и на каждый погон по три звездочки, — пожалуйте, товарищ старший лейтенант Шарапов, к несению службы по всей положенной форме! Когда я впервые попал в армию, меня, конечно, тоже обули-одели, но времена были тогда совсем тяжелые, получил

я, помню, кирзачи, комплект обмундирования: шинельку поношенную, гимнастерку и бриджи «х/б, б/у» — «хлопчатобумажные, бывшие в употреблении» — да пилотку — вот и весь наряд; и только потом, постепенно, дообмундировался по-человечески и вид имел боевой, не хуже других, а в Пренцлау, что под Берлином, даже штатский костюм справил, чисто коверкотовый, на шелковой подкладке, спортивного фасона — с широкими ватными плечами, накладными карманами и хлястиком... Но в милиции своя форма, и на зеленый мой парадный мундир милицейские погоны не привесишь — вот и чувствовал я себя вроде не в полную цену, гостем, что ли. А теперь настроение у меня было «на большой», теперь — извините, подвиньтесь — на праздничном вечере вы, дорогие новые соратники мои, увидите, как гвардейцы умеют форму носить!

Старшина был настолько любезен, что подбросил меня домой, на Сретенку, помог мне занести в комнату вещи, и мы вернулись на Петровку. Времени было восемнадцать тридцать, и Жеглов уже ждал меня, отутюженный, свежевыбритый, благоухающий одеколоном «Кармен», а уж сапоги — лучше новых. Он критически осмотрел меня снизу доверху и я, похоже, понравился ему чуть

меньше, чем он мне. Он пожевал губами, — может, чего сказать хотел, но ничего не произнес, только покачал головой, и я подумал, что завтра-то уж ему качать головой не придется — заблещу медалью новой, как на строевом смотру.

Я ему объяснил:

— На вещевом складе был, отоварился согласно арматурному списку. Я сейчас, позвоню только... — И набрал телефон баллистов.

— Из этого «байярда» стреляли, — сразу же сообщил эксперт. — Безусловно и категорически. Из-за того, что патрон нестандартный — он побольше немного, чем фирменный, — все индивидуальные признаки оружия выявились особенно рельефно, хоть в учебник криминалистики снимки помещай. Акт подошлем, как договорились. Приветик...

* * *

Сегодня под председательством французского коменданта генерала де Бошена состоялось 14-е заседание союзной комендатуры города Берлина. Заседание решило дать распоряжения полицайпрезиденту относительно:
а) организации ШУТЦПОЛИЦАЙ — охранной полиции и КРИМИНАЛЬПОЛИЦАЙ — уголовной полиции;
б) полномочий берлинского полицайпрезидента вообще.

Берлин, 11. ТАСС

— Если хочешь, можем пешком пройтись, — предложил Жеглов.

Вечер был ясный, теплый, и мы не спеша пошли с ним по Петровке к центру. Около «Эрмитажа» толпился народ — с большим концертом выступали Лев Миров и Евсей Дарский, и шустрые ребята сновали в толпе с криком: «Хватайте билеты! Шутят Миров — Дарский, со своим джаз-оркестром выступает Эдди Рознер». Я подумал,

что хорошо бы сходить на такой концерт с Варей, но до получки это было нереально: билеты стоили от тридцатки и выше.

— Эх, кабы нам с тобой заловить сегодня Ручечника... — сказал мечтательно Жеглов.

— Трудно небось...

— Что значит «трудно»? Наша работа, как и его промысел, зависит от удачи. У меня вся надежда на то, что он нас с тобой в лицо не знает.

— А ты его знаешь?

— Видел я его. И потом, напарница его найти поможет, — усмехнулся Жеглов.

— Это как понять?

— Ну, когда высмотришь самую красивую женщину в театре, — значит где-нибудь и он поблизости шьется.

— Почему?

— А у него метод такой — он на подхвате только красавиц держит. Приходят они в театр или в коммерческий ресторан и начинают пасти парочку в дорогих шубах. При первой возможности он вынимает у кавалера номерок от гардероба, а красулька его получает шубу. И отваливают. Вот и весь фокус...

— Можно подумать, что некрасивой не дадут пальто по номеру, — усомнился я.

— Дать-то дадут, но психология в том, что красивая женщина сама по себе отвлекает внимание, для нее всегда хочется сделать что-нибудь приятное. Да и барыши с красавицей делить, наверное, приятнее, чем с уродкой...

— Вот в этом наверняка и есть вся его психология, — сказал я мрачно. Мне почему-то стало обидно, что какому-то мерзкому воришке достаются красивые женщины и он их использует как воровской инструмент, когда они, может быть, какому-то хорошему человеку счастье жизни могли составить.

— Да нам с тобой плевать, почему он так поступает, — сказал Жеглов. — Важен факт!

— Слушай, Глеб, а откуда у него кличка такая — Ручечник?

— А-а, это смешно. Мы сперва думали, от его первой профессии — ручки вышибать.

— Это как?

— А вот так: подходит он к любому джентльмену, желательно иностранцу, и начинает его радостно хлопать по плечам, по груди, хохочет, кричит: «Здорово, Боря!» — или там Коля, Вася — как хочет. Декорация такая, что он, мол, обознался, принял человека за старого друга. Потом выясняется — у него аж слезы от стыда на глазах.

Извиняется, уходит...

— А смысл?..

— В том, что он так ловко хлопает человека, что вышибает из кармана авторучку, а если повезет, то и бумажник. Между прочим, хороший «паркер» с золотым пером тысячу стоит...

— Силен бродяга!

Жеглов кивнул:

— Ну да. А как его установили да взяли, оказалось, что и фамилия у него подходящая — Ручников.

В театр мы вошли через служебный вход, где с Жегловым стал препираться толстый взмыленный администратор в очках, сдвинутых на затылок. Но Жеглов как-то очень быстро его окоротил: взял за пуговицу и, подтягивая к себе с такой силой, что нитки трещали, сказал:

— Вы мне не контрамарки дадите и даже не билеты, а записку к капельдинеру с распоряжением посадить меня там, где я ему скажу. И делайте это, почтеннейший, незамедлительно, у меня нет для вас времени...

— Сумасшедшие люди! — взмахнул руками администратор. — Вы что, думаете, что я места из воздуха делаю?

— Я об этом ничего не думаю! — оборвал его

Жеглов. — Меня это не интересует! Мне на ваши танцы-арии вообще наплевать, сроду бы я к вам не пошел, если бы меня не привело сюда дело государственной важности...

От такого святотатства в храме искусства администратор слегка обалдел. Он молча смотрел на Жеглова, разевая беззвучно рот, будто Жеглов у него весь воздух отобрал.

— Вы читать по-русски умеете? Вот и читайте тогда, что здесь написано, — протягивал ему Жеглов свое удостоверение, где было сказано, что он начальник бригады отдела Московского уголовного розыска по борьбе с бандитизмом. — И пришли мы к вам не развлекаться, а по делу...

Минут за сорок до начала «Лебединого озера» мы устроились с Жегловым в гардеробе за большущим пожарным шкафом; мы стояли за ним, просматривая почти весь длинный проход перед барьерами, за которыми сновали чистенькие старички и старушки в вишневой униформе с желтыми табличками на карманах: «ГАБТ». Мы приобрели у них театральную программу, и Жеглов удивил меня своим размахом, взяв на червонец два перламутровых маленьких бинокля. Сначала Жеглов смотрел в дальний конец прохода через биноклик, подкручивая все время

отходящее фокусирующее кольцо, а потом так же, как и я, сунул бинокль в карман:

— Ерунда сплошная, а не техника!

— Ты бы меня сразу предупредил, можно было мой армейский взять, восьмикратный.

— Это тебе не передовая! — огрызнулся Жеглов. — Ты бы еще стереотрубу сюда приволок.

— А ты что думал? — засмеялся я. — Выставили бы над шкафом оптику, а сами сидели бы здесь в тишине да уюте...

Неспешно переговаривались мы с Жегловым, а сами зыркали все время на проходящих театралов, и я все нервничал, что Ручечник опоздает или не появится совсем и тогда я из-за него так и не посмотрю даже одним глазком на «Лебединое озеро», а это мне было ужасно обидно, потому что я до сих пор ни разу не был в Большом театре. Мне хоть бы зал посмотреть...

Я уж совсем отчаялся повысить свой культурный уровень, к чему призывал меня Жеглов на комсомольском собрании, когда он сипло сказал:

— А вот и красавец наш пожаловал...

Отчаянно всматривался я в поток людей, шествующих по гардеробу: офицеры при всех своих орденах и регалиях, служащие в заутюженных шевиотовых костюмах, женщины с модной

шестимесячной завивкой и в панбархате, а некоторые даже с чернобурками через плечо, иностранцы, одетые вроде бы скромно, но чем-то сразу отличающиеся от наших...

— Не туда смотришь, — шепнул Жеглов. — Вон он, у того прилавка, в сером костюме.

Смотрел я на Ручечника и не мог поверить. Я уж начал привыкать к тому злому маскараду, на котором мы все время вертимся с Жегловым, приподымая на людях маски, чтобы выволочь волков из-под овечьей шкуры, но с каждым разом продолжал удивляться, как много сил затрачивают люди, чтобы выглядеть не тем, кем они являются в жизни на самом деле...

Ручечник был похож на иностранца — в замечательно красивом сером костюме, в белой глаженой рубахе с полосатым галстуком, на котором ярко искрилась булавка, в толстых башмаках «шимми» и с красивой палкой, на которую он грузно опирался.

— Он что, хромой? — спросил я Жеглова.

— Ну да! Ты с ним побегай наперегонки! Он трость для понту носит, солидности добирает!

Настоящим иностранцем выглядел Ручечник. Вот только его женщина была не похожа на сухоногих очкастых жен дипломатов — была она

белая, ленивая, невероятно красивая, с огромной короной из темно-русых кос. Ручечник подал ей руку, и они чинно пошли по гардеробу к выходу в фойе: ни дать ни взять — варяжский гость прибыл. Лишь ненадолго задержались они в толчее у гардероба, где раздевались зрители из лож бенуара — там прямо и висела таблица: «Ложи бенуара».

Жеглов дернул меня за руку:

— Ну-ка давай! Ходу!

Мы пристроились за ними и так и слонялись метрах в десяти до самого звонка. Жеглов велел мне не спускать с них глаз, исчез на несколько минут, и я видел, как он тряс за лацкан администратора. Не знаю, что он ему говорил, но, во всяком случае, когда мы подошли к ложе номер четыре, капельдинер пропустил нас без звука на два свободных места в глубине ложи. С этого места мне не очень хорошо было видно всю сцену, потому что она была огромная — высотой этажей в пять, наверное, — но зато из сумеречной глубины нам было хорошо видно Ручечника с его дамой, которые сидели точно в такой же ложе, но на противоположной стороне зала.

Я хотел придвинуться поближе к барьеру, чтобы получше разглядеть зал, который я до этого

видел только в кино, но Жеглов дернул меня и сердито сказал:

— Не лезь! Сиди тут, в глубине.

— Интересно посмотреть — когда еще попадем сюда?

— Тоже мне, театрал отыскался! — фыркнул негромко Жеглов. — Твое дело шестнадцатое — за клиентом смотреть...

— А чего на него сейчас смотреть? Куда он денется до антракта?

— Ну и даешь же ты, Шарапов? А чего он, потвоему, в гардеробе около англичан терся?

Честно говоря, я там никаких и англичан не разглядел, а уж тем более не видел, что Ручечник около них терся. Он как разделся, так и пошел в фойе, задержавшись на секунду в толкучке у выхода из гардероба.

Жеглов сказал задумчиво:

— Я не очень уверен, конечно, но сдается мне, что он у того бобра номерок уже увел...

Пришли три женщины на передние места в нашей ложе. Жеглов их очень галантно пропустил, пододвинул стулья, пошутил с ними, обещал принести в антракте лимонад, и тут погас наконец свет.

На освещенную трибунку перед оркестром

взошел седой толстый старик в черном костюме с красивыми блестящими лацканами, поклонился залу и взмахнул палочкой.

Играла прекрасная музыка, потом раздвинулся огромный занавес, расшитый темно-золотыми колосьями, и открыл исключительной красоты вид. Чего там только не было: старинный замок, заснеженные горы, озеро — как настоящее. Не знаю, сколько прошло времени, но так нравилось мне представление, что показалось, будто все это промелькнуло в один миг, как из окна мчащегося поезда, жаль только, Вари со мной не было. Жеглов толкнул меня сильно в бок, я встрепано помотал головой, взглянул в ложу напротив — Ручечника с его красавицей там не было.

Жеглов уже выходил из ложи в коридор, я проскользнул за ним следом, наши соседки, по-моему, и не заметили, как мы исчезли. Жеглов быстро шел по коридору, говоря мне на ходу:

— Я возьму Ручечника, он где-нибудь неподалеку пасется, а ты дай ей надеть шубу. Перехвати у дверей и зови сразу гардеробщиков...

Она шла мне навстречу, высокая, шикарная, с развевающимися полами переливчато-блестящей коричневой шубы, голова ее была гордо закинута назад, она небрежно помахивала сумоч-

кой на ремешке с таким видом, будто, мол, сто раз она видела такие балеты, не понравилось ей, — стало быть, сидеть тут, скучая, и не подумает! От мысли, что мне надо ее арестовывать, всю такую из себя прекрасную, я даже оробел; у меня не только вроде нее знакомых сроду не бывало, но и разговаривать с такими королевами не доводилось. Но все-таки сказал я довольно твердо:

— Подождите, гражданочка, мне поговорить с вами надо...

Не останавливаясь, вздернув еще выше голову, она бросила мне на ходу:

— Я с незнакомыми мужчинами не разговариваю!..

И почему-то эти слова сняли с меня неловкость, рассеялось ощущение, что я совершаю какую-то глупость и все это вообще происходит по недоразумению. Я взял ее под руку и сказал:

— Я незнакомый мужчина из МУРа, так что поговорить придется. — И уже манил к себе седенького прилизанного гардеробщика.

И она вдруг сделала неуловимое движение, струйкой воды скользнула из гладкой шубы и уже почти успела сбросить ее, но я крепко держал ее за локоть, так что номер не вышел: шуба повисла на правой руке женщины.

— Очень я вас прошу, не устраивайте, пожалуйста, фокусов, мне будет совестно к вам применять силу, — сообщил я ей и повернулся к гардеробщику: — Эта женщина взяла чужую шубу, я вас прошу пройти со мной к администратору...

Сказал и сам пожалел, потому что старичка чуть удар не хватил. Краска волнами заливала его лицо — он бледнел, синел, багровел, причитая тонким голосом:

— Душегубцы! Злодеи! Да нам за эту норку десять лет не расплатиться! Сволочь! А какая приличная с виду!..

Он блажил, а я не знал, волочить ли мне мою красавицу или старика на руки брать. Но в этот момент из-за угла появился Жеглов, и я понял, что его-то проблемы все уже решены: завернув Ручечнику кисть правой руки за спину болевым приемом, он в очень быстром темпе гнал его перед собой по коридору, не обращая внимания на крики и угрозы, что сейчас сюда приедет городской прокурор и нас, как собак, выгонят со службы к чертовой матери... В левой руке у него болталась щегольская трость, бросить которую он не решался — маскарад поломается. Картина от всего этого получалась совершенно и окончательно нелепая.

Администратор, который раньше не хотел давать Жеглову надлежащих мест, проникся сейчас важностью нашей задачи. Он метался по кабинету, воздымал руки, грозил Ручечнику и его подруге ужасными карами, предлагал всю необходимую помощь Жеглову, беспрерывно повторял:

— Какой позор! Какой позор! Так осрамить нас перед иностранцами!

Очень он мешал, и Жеглов, осмотревшись слегка, скомандовал:

— Прошу всех посторонних на некоторое время оставить кабинет! Кто понадобится — позову.

Администратор, наверное, не привык, чтобы его вот так бесцеремонно выставляли из собственного кабинета, и не чувствовал он себя здесь посторонним, но Жеглов уже внушил ему ощущение бесполезности спорить или возражать. И, вздохнув, администратор вышел.

— Пусть гардеробщики подождут, не отпускайте их! — крикнул ему вслед Жеглов, снял телефонную трубку, вызвал дежурную часть и велел пригнать «фердинанд». — ...Пусть Пасюк с Тараскиным едут сюда тоже, им сейчас найдется работа.

Одной рукой он держал трубку, а другой пере-

вернул сумку воровки и вытряхивал из нее на стол все, что там было.

А я смотрел на соучастников — лица у них были отчужденные, будто полчаса назад не они шли под руку, тесно прижимаясь друг к другу, — совсем незнакомые, чужие люди, испытывающие взаимную неприязнь оттого, что свело их вместе противное случайное обстоятельство.

Жеглов рассматривал какой-то пропуск или удостоверение, выпавшее из сумки, потом опять набрал номер и сказал:

— Это снова Жеглов. Ну-ка, браток, запроси в адресном установочные сведения на Волокушину Светлану Петровну, двадцать первого года рождения. А может быть, двадцать второго — я ее не крестил, а она со мной еще не откровенничала. Ну, привет. Справочку дайте Тараскину, побыстрее шевелитесь. Ага...

Положил трубку и сел в кресло администратора — большущее, красиво изогнутое, обитое полосатым коричневым шелком, — и по тому, как лениво-хищно потянулся в этом кресле Жеглов, я видел, что кресло ему нравится. Честно говоря, Жеглов и впрямь хорошо выглядел за этим огромным красным столом в дорогом старинном кресле. Потянулся он, погулял комьями мышц на

плечах, будто разминался после короткой схватки с Ручечником, весело заулыбался и сказал:

— Ну-с, дорогие мои граждане уголовнички, приступим к нашим играм?

И Ручечник, и Волокушина даже не посмотрели на него, а ему хоть бы хны — видно было, что совсем его не обижает воровское пренебрежение, — и он, быстро выбив пальцами дробь на полированном столе, как на барабане, спросил:

— Вы мне разрешите раскрыть вам одну маленькую служебную тайну?

Ручечник и его распрекрасная дама и бровью не шевельнули, но Жеглова это, наверное, устраивало, поскольку он по-прежнему дружелюбно, почти по-товарищески, продолжил разговор:

— Молчание — знак согласия. Так, по-моему, говорится? Значитца, очень я вам признателен за то, что вы согласились меня выслушать. В первую очередь это касается вас, гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему? Жаль, что я не художник, а то бы я с вас картины писал...

Волокушина зло усмехнулась уголком рта, но особого испуга я в ней не заметил. А Жеглов разливался соловьем:

— Рисовать не сподобил меня создатель, а одарил он меня умением угадывать всякие ма-

ленькие людские тайны. И одну такую тайну из вашего прошлого, не очень давнего, я вам поведаю...

Они одновременно подняли на Жеглова глаза, и это понятно — тайн у них из не очень давнего прошлого было предостаточно.

— Когда замечательный мóлодец Петр Ручников уговаривал вас, Волокушина, совершить с ним первый вынос, вы, как всякая женщина, естественно, сильно боялись, плакали и говорили, что никогда этого не делали. А он отвечал, что все раньше никогда этого не делали, надо просто попробовать, и вы убедитесь, до чего это легко и просто, поскольку вам и делать-то нечего — главное в его умении взять номерок у фраера ушастого. Вы это помните, Волокушина?

Жеглов заглядывал ей в глаза добро и заботливо, как исповедник — заблудшей овце, а она упорно отворачивалась от его взгляда, и только мочки ушей начали наливаться тяжелым багровым цветом.

— Значит, помните, — удовлетворенно вздохнул Жеглов. — Но вы ему еще не совсем верили, и он вам даже Уголовный кодекс показывал, доходчиво объяснял, что за кражу личной собственности полагается трешник — это уж в самом

пиковом случае, а с его мастерством да с вашей красотой и случая такого никогда быть не может. И однажды уговорил...

— Тебе бы, мент, не картины, а книжки писать, — сказал неожиданно из своего угла Ручечник, тяжело двигая нижней челюстью.

А Жеглов будто забыл про Ручечника. Журчал его баритончик над ухом у Волокушиной, и слушала она его все внимательнее.

— С этого момента возникло преступное сообщество, именуемое в законе шайкой, которая с большим успехом начала бомбить фраеров. Я уже велел подобрать материалы по кражам в Третьяковской галерее, в зимнем театре «Эрмитаж», в филармонии в Ленинграде и все прочие песни и рассказы — с этим мы позже будем разбираться. Но сегодня вышла у вас промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили...

— А сегодня что, постный день? — подал голос Ручечник.

— Да нет, день-то, как все будни, скоромный. А вот номерок ты не тот ляпнул...

— Это как же? — прищурился на него Ручечник.

— Вещь-то вы взяли у жены английского дипло-

мата. И по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тысчонок под сто — всего-то навсего — должен был бы им выплатить Большой театр, то есть государственное учреждение. Ты, Ручечник, усекаешь, про что я толкую?

— Указ «семь — восемь» мне шьешь... — ни на миг не задумался Ручечник.

Жеглов выскочил из своего роскошного кресла и воздел руки вверх, совсем как недавно это делал здесь администратор:

— Я шью? При чем здесь я? Поглядел бы ты на себя со стороны — ты бы увидел, что Указ от седьмого августа, то, что ты «семь — восемь» называешь, уже у тебя на лбу напечатан! — Сделал паузу и грустно добавил: — И у подруги твоей Волокушиной тем паче! По десятке на жало! По десятке!

Лицо у Волокушиной уже не было неподвижно-каменным, как у мраморного бюста полуголой богини, что стоял в углу кабинета на высокой деревянной тумбе. Она испуганно переводила взгляд с Жеглова на Ручечника, потом снова смотрела на спокойное доброжелательное жегловское лицо. Глеб сочувственно цокал языком, грустно качал головой, и весь вид у него сейчас был такой: ай-ай-ай, какая беда приключилась с

вами, дорогая гражданочка Волокушина! А она снова всматривалась в серые глаза Ручечника, надеясь, что засмеется он, достанет из кармана Уголовный кодекс и так же быстро, весело и ловко, как в разговорах с ней, объяснит Жеглову, что ничего тот в законах не смыслит, что все там написано по-другому и уж коли вышла такая проруха, то так тому и быть, свои три годика он уж отсидит, а с нее-то и вообще спрос невелик — так, пособница, пустяками занималась...

Но Ручечник на нее совсем не смотрел, а вглядывался он пристально, тяжело в сокрушенного их горем капитана Жеглова и что-то быстро прикидывал. Долго тянулось это молчание, пока Ручечник медленно, врастяжку не спросил:

— А тебе-то какая забота про нас думать? Ты чего от нас хочешь?

— Помощи. Советов. Указаний, — коротко и спокойно сказал Жеглов.

— Не понял... — хрипло бормотнул Ручечник.

— Чего непонятного? Я с вами был откровенен. Теперь хочу, чтобы ты со мной пооткровенничал про дружка твоего Фокса... — Жеглов говорил легко, без нажима, даже весело, и так это звучало, будто пустяковее не было у него на сегодня дел.

— Клал я на твою откровенность! — так же

легко сказал Ручечник.

Жеглов блеснул своими ослепительными зубами:

— Невоспитанный ты человек, Ручников. Прошу тебя выражаться при женщинах прилично, а не то я тебя очень сильно обижу. Огорчу до невозможности!

— Ты меня и так уже обидел! — хмыкнул Ручечник. — Ты объясни, мне-то какой резон с тобой откровенничать?

— Полный резон. Ты мне интересные слова шепнешь, а я вешаю на место шубу. Махнем?

Ручечник сидел на стуле, опустив руки меж колен, и долго, тяжело думал. Потом поднял голову:

— Ничего я тебе не скажу. Не купишь ты меня на такой номер. По зекалам твоим волчьим вижу — подлянка. Так что я лучше помолчу, здоровее буду...

— Здоровее не будешь, — заверил Жеглов. — Снимешь свой заграничный костюмчик, наденешь телогреечку — и на лесосеку, в солнечный Коми!

— Может быть, — пожал плечами Ручечник. — Только лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере!

Жеглов встал, сложил руки на груди и стоял, покачиваясь с пятки на носок, внимательно глядя на Ручечника; и длилось это довольно долго, пока Ручечник не выдержал и тонко, с подвизгом, крикнул:

— Ну что пялишься! Я вор в законе, корешей не продавал, да и тебя не побоюсь!

Жеглов помолчал, потом задумчиво сказал:

— Я вот как раз сейчас и думаю о том, что ты закона опасаешься меньше, чем своих дружков бандюг. Пожалуй, правильно будет тебя... отпустить.

От неожиданности даже я чуть не вякнул, а Ручечник спросил медленно:

— То есть... как?

— Как, как! Обычно. На свободу. Никто ведь не видел, как ты номерок у англичанина увел, а с шубой задержана Волокушина — тебя ведь там и поблизости не было. Так что мы ее будем судить, а ты иди себе. Иди спокойно...

— А я?! — закричала Волокушина.

— Вы, милая моя, будете отвечать по всей строгости закона, — развел руками Жеглов. — А приятеля вашего, Светлана Петровна, мы отпустим. Ты, Ручечник, свободен. Пошел вон отсюда...

— Но я не хотела! Я не виновата! Я думала... — забилась в вопле Волокушина.

— Иди, Ручечник, иди, не свети здесь. Ты нам мешаешь, — сказал резко Жеглов, и Ручечник вялой, скованной походкой двинулся к выходу, все еще не веря в то, что ему разрешили уйти.

— Шарапов, проводи его на улицу, — кивнул мне Жеглов и еле слышно, одними губами, добавил: — До автобуса...

Я вытолкнул Ручечника в коридор, и он все еще двигался сонным заплетающимся шагом, но не прошли мы и половины коридора, как он повернулся ко мне:

— Спасибо, я дорогу знаю...

— Да нет уж, — засмеялся я. — Со мной будет надежнее.

Мы прошли несколько шагов, и я ему доверительно сказал:

— Через день-другой поймаем мы Фокса, вот он порадуется, что взяли тебя за руку, поговорили о нем немного и сразу отпустили, а подельщицу посадили...

— Я вам, суки лягавые, ничего не говорил! — заорал Ручечник.

— Не говорил, так скажешь, — пообещал я и увидел, что навстречу мне идут Пасюк и Тарас-

кин. — Вот вам особо ценный фрукт.

— Это что за персонаж? — поинтересовался Тараскин.

— Настоящий уголовный кореш. Он Фокса сдавать не хочет, ножа от него словить опасается, а женщину, которую втравил в уголовщину, оставил за себя отдуваться.

— Парень гвоздь — сам в стену лезет, — ухмыльнулся Тараскин. — Что с ним делать?

— Отведи его в «фердинанд» и подожди нас — мы скоро все придем. На обыск поедем, к ним домой...

— Меня отпустили! — заблажил Ручечник. — Не имеешь права меня задерживать — тебе старший приказал!

— Иди, иди, не рассуждай, — сказал Тараскин. — Твое место в буфэте!

Я вернулся назад, в кабинет администратора, и в этот момент в полутемных коридорах загорелся пригашенный свет, зашумели люди, зашаркали подошвами, засуетились вокруг — это окончилось первое действие, антракт. Вот те на! Мне показалось, что минули часы — столько всякого напроисходило с нами, — а там только одно действие протанцевали.

Жеглов устроился на ручке кресла, в котором

сидела Волокушина, и голос у него был такой, будто они в парке на скамеечке про жизнь и про чувства свои высокие беседуют.

— Светлана Петровна, вы мне глубоко симпатичны, только поэтому я веду с вами эти занудные разговоры. Вы поймите, что проще всего мне было бы отправить вас сейчас в тюрьму, а дней через двадцать ваше дело уже кувыркалось бы в суде. Вы ведь не маленькая, сами понимаете, что с того момента, как вас предал Ручечник, нам и доказывать нечего — задержали вас в манто, пять свидетелей, «Встать, суд идет!». Дальше как в песне: «И вот опять передо мной параша, вышка, часовой...»

— Чего же вы от меня хотите? — спрашивала она, и все ее лицо расплывалось, текло, слоилось от обильных слез. И все равно она была ужасно красивая, может быть, даже сейчас, несчастная и заплаканная, она была еще лучше.

— Чтобы вы сами себе помогли в суде, а путь для этого у вас только один. Абсолютно чистосердечным раскаянием, рассказом обо всем, что вас связывало с позорным прошлым, вы расчистите себе дорогу к новой жизни...

В общем-то Жеглов объяснял правильно, но меня удивляло, что он все это проповедует боль-

но уж красиво, в таких возвышенных тонах, и я никак не мог сообразить, то ли у него на это есть расчет какой-то, то ли просто не может удержаться, чтобы не погарцевать маленько перед очень привлекательной женщиной, пускай хоть и воровкой.

— Я расскажу обо всех... обо всех... — Она явно не решалась выговорить «кражах» и все подыскивала какое-нибудь подходящее, не такое ужасное слово. — Обо всех случаях, когда мы брали... чужое...

— Верю! — вскочил с ручки кресла Жеглов. — Верю, что вы многое поняли и сможете пройти через этот отрезок вашей жизни, как через ужасный сон. Но для начала у меня к вам вопрос — я хочу еще раз проверить вашу искренность.

— Пожалуйста, спрашивайте!

— Вы ведь не единожды вместе с Ручечником встречали Фокса? Когда это было последний раз?

— Мне кажется, это было дня три назад. Или четыре.

— Где?

— В коммерческом ресторане «Савой».

— Фокс был один?

— Нет, с Аней...

— Кто назначал встречу в «Савое»? Ручников?

Или Фокс?

— Фокс. Я это точно знаю. Ручников говорил с ним по телефону.

— А кто кому звонил?

— Фокс ко мне домой позвонил, и я слышала, что Ручников его спросил: «Где встретимся?»

— А сколько раз вы видели Фокса?

Она пожала плечами:

— Точно я не помню, но, наверное, раз пять... Они ведь с Петром вроде дружков.

Жеглов наклонился к ней вплотную и спросил задушевно:

— Светлана Петровна, а может быть, делишки у них есть общие?

— Нет-нет, я уверена, что Ручников ни с кем никаких дел не имеет. Он мне всегда говорил, что у него специальность ювелирная и компаний ему не надо...

— А Аня, она всегда с Фоксом бывает?

Я смотрел на Жеглова — очень хорошо он допрашивал, в его вопросах не было угловатой протокольной жесткости, он давил ее очень мягко, настырно, словно любознательный сосед-сплетник в домашнем разговоре за стаканом чая, и сыпались вопросы безостановочно, вроде бессистемно, но таким образом, что она сосредо-

точиться не успевала.

— Аня? — переспросила Волокушина. — Кажется, всегда. Она ему жена. Или полюбовница, точно уж не могу сказать.

— А где живут они?

Волокушина руки прижала к груди:

— Честное слово, не знаю!

— Она блатная? — быстро и жестко спросил Жеглов.

— Нет, она похожа на приличную женщину... — удивилась Волокушина, и я видел, что Жеглов усмехнулся уголком рта: по тону Волокушиной было очевидно, что она и себя считает безусловно приличной женщиной.

— Они при вас разговаривали о своих делах? — поинтересовался Жеглов.

— Ну как-то так, между прочим. Они вообще о своих делах мало говорили. Но и от нас вроде бы не таились...

— Понятно... — протянул Жеглов. — Понятно... А чем Аня занимается?

— По-моему, она на железной дороге работает.

— На железной дороге? — Жеглов вцепился в нее бульдогом. — Кем? Стрелочницей? Проводницей? Кочегаром?

— Нет, что вы! Она как-то говорила — я не

придала этому значения — про вагон-ресторан. Может быть, она официанткой работает? Или на кухне?..

— На кухне, на кухне, на кухне... — быстро повторял Жеглов, потом поднял на меня взгляд, через голову Волокушиной спросил: — Володя, смекаешь?

— Продукты с базы и магазина, — кивнул я.

— Это ведь Эльдорадо, Клондайк, золотые россыпи — через вагон-ресторан пропустить такую тьму продовольствия, — покачал головой Жеглов, потом поднял тяжелый взгляд на Волокушину и сказал очень внушительно: — А теперь вспоминайте, Светлана Петровна, очень старательно, изо всех сил припоминайте — от этого, может быть, вся ваша судьба зависит... Как они связывались — Ручников с Фоксом?

В глазах у Волокушиной была затравленность насмерть перепуганного животного. Жеглов, с его плавными движениями, мягкими жестами, вкрадчивым голосом, приковывал к себе ее внимание, как удав, и, если бы из дырки в полу вдруг вылетел Змей Горыныч, наверное, он не привел бы ее в такой ужас.

— Ручников звонил пару раз к Ане по телефону, — срывающимся голосом говорила Волокушина.

— Но обычно Фокс сам звонил ко мне домой...

— Так, хорошо, — мотнул головой Жеглов. — Давайте, давайте припоминайте: о чем говорил Ручников с Аней по телефону?

— Я не уверена, но мне кажется, что он с ней и не разговаривал...

— А как же?

— Он говорил, один раз я это точно слышала: «Передайте Ане, что звонил Ручников». — И я видел, что Жеглов добился от нее искренности, она сейчас наверняка говорила правду.

— И что, Аня перезванивала вам после этого? — Жеглов стоял около нее, и я все ждал, когда он поставит свой хромовый сапожок на перекладину ее стула, но он удержался, а может, это было излишним — он уже достиг с ней контакта.

— Нет, после этого звонил Фокс; мне кажется, что Аня никогда к нам не звонила...

— Прекрасно, прекрасно, очень хорошо, — бормотал себе под нос Жеглов, потом быстро спросил: — Как выглядит Фокс? Внешность, во что одевается?

Волокушина, припоминая внешность Фокса, задумалась, а Жеглов подошел ко мне и шепнул:

— Отвези Ручечника на Петровку и выколоти из него телефон Ани. Чтобы телефон был во что

бы то ни стало! Крути его как хочешь, но расколи — душа из него вон! «Фердинанд» сразу верни за нами...

Я задержался в дверях, потому что услышал слова Волокушиной:

— ...Всегда ходит в военной форме без погон, но форма дорогая, как у старших офицеров. И на кителе у него орден Отечественной войны. И две нашивки за тяжелые ранения...

Это меня почему-то очень разозлило и даже как-то обидело — тварь такая, носит ворованный орден! Я и мысли не допускал, что у него могут быть свои награды. Бандит, тыловая сволочь, крыса...

И весь свой заряд злости на Фокса я разрядил в Ручечника. Он сидел с очень гордым и обиженным видом на задней скамейке в нашем автобусе и выстукивал за зубариках какую-то грустную мелодию. Копырин кивнул на него головой:

— Талант у личности пропадает, мог им кормиться заместо воровства.

А Тараскин не очень к случаю вспомнил особо понравившееся место из «Без вины виноватых»:

— Им, бросающим своих детей, все до лампочки...

Я подошел к Ручечнику и негромко сказал:

— Встать!

Он сердито и удивленно посмотрел на меня и, покрываясь красными пятнами досады и озлобления, крикнул:

— Ты тут не командовай! Найду на вас, псов проклятых, управу!

— Фоксу, что ли, на меня пожалуешься? — спросил я его серьезно и дернул за ворот красивого серого макинтоша: — Встать, я тебе сказал!

Он, видимо, сообразил, что у меня рука не легче, чем у дружка его Фокса, и проворно вскочил, злобно бубня себе что-то под нос. Я сказал Копырину:

— Давай на Петровку. — И стал быстро обыскивать Ручечника. В кармане у него нашел большой шелковый платок и велел Тараскину свернуть его кульком. Все остальное из карманов складывал в этот узелок. А себе оставил только его записную книжку — в красном кожаном переплете, с фигурным зажимом-замочком и маленьким золотым карандашиком. Необычная это была книжечка: на всех страницах алфавита только номера телефонов, без имен и фамилий. Штук сто номеров, и некоторые из них были с какими-то пометками — галочками, звездочками, крестиками, восклицательными знаками. Проверять их все — на месяц крутовни хватит. Но, правда,

нам сейчас проверять их все и не надо было, этим можно будет позже, не спеша заняться. Две страницы меня интересовали — на «А» и на «Ф». Я рассуждал таким образом: если телефон Ани записан не на ее имя, то на имя Фокса. Так что или на «А», или на «Ф».

Автобус остановился в Каретном переулке, я взял Ручечника под руку и сказал ему таким тоном, будто мы уже с ним обо всем договорились заранее:

— Идем, Ручечник, сейчас мы с тобой Ане наберем, попросим к нам звякнуть.

Он дернулся, вроде бы руку хотел вырвать, но я его держал железно и тащил быстро за собой в подъезд. И он пробормотал только:

— Вот ты ей сам и звони и сам договаривайся...

На страничке «А» было три телефона, а на страничке «Ф» один. И пока шли по лестницам и коридорам, я быстро соображал, на какой номер мне надо точно указать Ручечнику, чтобы свалить его одним ударом.

Скорее всего, нужный мне телефон на букве «Ф», поскольку Ручечника Аня нисколько не интересует, это канал связи с Фоксом, он по нему Фокса достигает, а не договаривается о чем-то с Аней.

И прямо с дверей кабинета я сказал Тараскину:

— Коля, не хочешь позвонить очень милой женщине? Если понравишься ей, она тебя в вагоне-ресторане покатает, до отвала накормит...

— Всегда пожалуйста, — согласился Коля. — Давай номерок, наладим связь!

Я заглянул в книжечку, на страницу «Ф», и с замирающим от ужаса сердцем сказал:

— Номерок такой: К 4-89-18. — Захлопнул книжку и спросил у Ручечника: — Ну, что нам передать от тебя Ане? Привет? Или Фоксу поклон?

Ручечник скрипнул зубами, и я понял, что попал в цвет. А он сказал:

— Кабы мне по моей работе бабы не нужны были, сроду бы с ними, шалавами противными, слова не сказал! Языком, паскуды, как метлой, машут!

Он начал длинно, забористо ругаться матом; я понял, что сейчас-то уж мы из него ничего не вытянем, и отправил его в камеру. А вскоре приехал Жеглов. Он сел на свое место за столом, набрал номер телефона:

— Пасюк, это ты? Да. Не кончился еще спектакль? Ага! Значитца, когда появится этот англичанин, проводи его вежливенько к администратору, оформи заявление, протокол опознания

шубы составь и возьми у них обязательно расписку, что шуба ими получена в полной сохранности. А какие еще разговоры? Ты ему тогда скажи, что у них там, в Англии, воруют не меньше. Да-да. И правопорядок определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! Вот так, и не иначе! Ну, привет...

Он положил трубку, прикрыл на миг глаза и спросил глухо:

— Успехи есть? Давай хвались...

— Телефон Ани имеется. Надо узнать через телефонный узел, где он установлен, и ехать туда смотреть на месте.

Жеглов отрицательно покачал головой.

— Что, не надо? — удивился я.

— Адрес телефона узнать надо. А ехать туда рано. Там сначала установку оперативную необходимо сделать...

Я не совсем сориентировался — то мы гнали как оглашенные, а то вдруг Глеб начал зачем-то тормозить. Он посмотрел на меня, усмехнулся, и в улыбке его тоже была усталость и горечь.

— Не понимаешь? — спросил он спокойно, словно у меня на лбу были расписаны мои мысли.

— Не понимаю!

— Там никакой Ани нет. И скорее всего, никогда

она там не бывает. — И замолчал он, вроде ничего интересного и не сказал.

— А кто же там бывает?

— Не знаю, — пожал Жеглов своими покатыми литыми плечами. — Это связной телефон, я уж с такими штуками сталкивался.

— Тогда объясни! — Я рассердился на него, мне казалось, что он нарочно так говорит, чтобы совсем уничтожить результат моей крошечной победы.

— Не сердись, — сказал Жеглов. — Я просто устал маленько за эти дни. А насчет телефона думаю так: кто-то там есть у аппарата, совсем никчемный человек, попка, он спрашивает, кто звонил, а потом туда звонят Аня или Фокс и узнают, кто ими интересовался. Понял?

— Понял, — протянул я разочарованно, но с поражением мне очень не хотелось смиряться: — А все-таки надо попытать этот вариант! Вдруг это не так, как ты говоришь?

— Обязательно попытаем, — успокоил Жеглов. — Тем более что нам эту Аню теперь найти — во, позарез! Если мы с тобой ее высчитаем какимнито макаром, то мы и Фокса возьмем. Как из пушки! Это тебе не Ингриды разные — тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом, тут у

него лежбище должно быть...

— А почему ты думаешь, что его на лежбище брать удобнее?

Жеглов посмотрел на меня, засмеялся:

— Я пятый год с этим дерьмом барахтаюсь, так что кое-какие наблюдения имею...

— Тогда со мной поделись.

— Уголовник — он, как зверь, инстинктами живет. У него нет такого понятия, как у нас: совесть, долг, товарищество. У них это просто: больно или приятно, сытно — голодно, тепло — холодно...

— Ну и что?

— А то, что я еще до войны побывал в уголке Дурова и очень поразила меня там железная дорога, на которой мыши ездят. Видел?

— Видел. Выбегают мышки из вокзала, рассаживаются по вагонам и гоняют по кругу. Смешно!

— Смешно, — согласился Жеглов. — А вот скажи мне, как добились, что бессмысленные мыши все до единой усаживаются в вагоны? А? Можешь объяснить?

— Откуда? Я же не дрессировщик!

— Я тоже не дрессировщик. Но меня так долго занимал этот вопрос, пока я не сообразил. Мыши живут в этих вагончиках, а перед самым представлением их достают оттуда, и пустой поезд

подъезжает к вокзалу. Открывают дверь — и мыши с радостью бегут в дом, в свою норку...

— И ты хочешь перехватить Фокса, когда он однажды вернется в норку?

— Вроде того. И главная нора у него — у этой самой Ани!.. — Жеглов встал из-за стола, хрустко потянулся, зевнул. — Ох, беда, спать хочется...

— Иди тогда домой и спи, — предложил я.

— Не могу. Мне надо по кой-каким делишкам еще сбегать. Ты установи адрес телефонного номера, оформи протоколы задержания Ручечника и Волокушиной, запиши ее показания — закончи, короче, всю сегодняшнюю канцелярию. А думать завтра будем...

Жеглов скинул свой довольно поношенный пиджачишко, оглядел его критически и спросил:

— Шарапов, ты не возражаешь, если я сегодня твой новый китель надену?

— Надевай, — кивнул я и взглянул на часы: половина одиннадцатого. Но спрашивать Жеглова, куда это он так среди ночи форсить собрался, не стал. И он ничего не сказал.

— Все, я двинул... — помахал мне рукой Жеглов. — Приду поздно...

Во сколько он пришел, не знаю, но когда я заявился домой в половине третьего, Глеб уже

спал. На стуле рядом с его диваном висел мой новенький парадный китель, на который Жеглов привинтил свой орден Красной Звезды, значки отличника милиции, парашютиста и еще какую-то ерунду. Я чуть не завыл от злости, потому что, честно говоря, уже точно рассчитал, что если выпороть из мундира канты, то можно будет перешить его в приличный штатский костюм, который мне позарез нужен — ведь не могу же я повсюду таскаться в гимнастерке!

Расстроился я из-за этого проклятого кителя. Мне было и непошитого костюма жалко, и зло разбирало на Жеглова за его нахальство, а главное, сильнее всего я сердился на самого себя за собственную жадность, которую никак не мог угомонить. Ну, в конечном счете, эка невидаль — костюм перешитый, наплевать и растереть! А я еще полночи из-за него уснуть не мог, все стыдил себя за жадность, потом говорил всякие ехидные слова Жеглову, а пуще всего жалел, что долго еще не придется мне пройтись в новом темно-синем штатском костюме. Может быть, Ручечнику с его заграничным шикарным нарядом и показался бы мой перешитый из формы костюм барахлом, но мне плевать на его воровские вкусы — я знал наверняка, что мне к лицу был бы синий штат-

ский костюм, в котором мы с Варей куда-нибудь отправились бы — в кино, в театр и те-де, и те-пе. Но перешивать пиджак из продырявленного в четырех местах кителя просто глупо. И придется мне носить теперь парадную форму самому.

* * *

На радиозаводе, где до сих пор выпускались репродукторы «Рекорд», сейчас приступили к подготовке производства пяти ламповых радиоприемников-суперов типа «Салют».

«Московский большевик»

Тараскина с утра забрали во второй отдел — людей у них катастрофически не хватало, а на улице Стопани среди бела дня раздели ребенка, и Колю бросили на это дело. А я вынул из сейфа уголовное дело на Груздева, взял из него связку документов Ларисы и стал детально знакомиться с письмами от ее наставницы — Иры. Писем было четыре: два из Москвы, местных, а два из Рузы. Ничего особо интересного в этих листочках, испещренных мелким торопливым почерком, я не обнаружил — так, ерунда, обычная дамская болтовня. Лишь одна деталь привлекла мое внимание — в первом письме из Рузы Ира писала: «Изредка навещает “Мое приключение”, но все это абсолютно бесперспективно... Разница в возрасте дает себя знать, и я поминутно ловлю его

взгляды на ножки проходящих мимо молодых актрисочек...» Во втором письме, датированном двумя неделями позже, Ира с какой-то странной интонацией сообщала: «Слава тебе, господи, я снова как ветер свободна! “Мое приключение” благополучно почило — в том смысле, что он объявил о полном нашем разрыве. Знаешь его привычку говорить готовыми блоками: “Разбитого не склеишь...”, “Мы разошлись, как в море корабли...” И укатил. Честное слово, я чувствую какое-то облегчение, с ним меня все время что-то угнетало, давило... Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка».

Последняя фраза настораживала, и я отложил оба письма в сторону, бегло просмотрел письма матери — все они были давние — и принялся за счета и телеграммы. Среди них тоже вроде ничего не было интересного.

Нет, все-таки это письмишко любопытное. «Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка». Мимо такой фразы проходить, пожалуй, не стоит, хотя, скорее всего, подруга имеет в виду дела амурные. Но такие вещи, как убийство, придают даже обычным выражениям довольно мрачную окраску. Интересно, кто такой этот самый «Мое приклю-

чение»? Наверное, только актриса и может так назвать своего знакомого! Кстати говоря, и с нею, с этой Ирой, тоже следует потолковать: судя по письмам, она была Ларисе довольно близким человеком... Я посмотрел обратный адрес Иры на конверте: «Москва, Божедомка, 7, кв. 4» и невразумительная закорючка. Ну, фамилию я у Нади спрошу, это не проблема... И в то же мгновение в голове ослепительно полыхнуло воспоминание: Божедомка, 7! Божедомка, 7! Ведь там живет женщина, любовница Фокса! Ингрид Карловна Соболевская!

Я в растерянности встал. Ничего себе сыщик, прах тебя побери! «Мое приключение»... Вот оно, приключение-то! Я, как дурак, выламываюсь: «Алиментщика ищем, то да се», точно она не знает, какой нам алиментщик нужен. Не зря же она Ларису об осторожности предупреждала. Вот оно как все сомкнулось, а?.. Хорош же я, дубина стоеросовая, неделю такое письмо в сейфе держу! Ну конечно же подпись «Ира» — сокращенное от «Ингрид», как же мне в голову-то не пришло? Ой, Глеб когда узнает, стыдухи не оберусь!..

Но сюрпризы в этот день хлынули косяком, и, если Жеглов решит мне оторвать голову, прав будет стопроцентно. Дверь в квартиру четыре

дома семь на Божедомке мне отворила молодая красивая женщина, тихо сказала:

— Я знала, что вы вернетесь...

Вгорячах хотел я ответить ей, что коли знала, то нечего было занятым людям голову морочить, а выкладывала бы все как есть, но сдержался — старшина Форманюк говаривал в таких случаях: «Ротный, ты сердишься, — значит, ты не прав». Мало ли какие у нее были причины помалкивать! Но дипломатничать я с ней не стал и спросил прямо:

— Вы мне почему не сказали, что ваше замечательное «приключение» — Фокс — причастен к убийству Ларисы Груздевой?

Она и так бледная была, а тут совсем побелела, стиснула руки, прошептала, словно криком прокричала:

— Нет! Не-ет!.. Я только тогда об этом подумала, когда вы ко мне пришли...

— Неправда! Вы Ларису давным-давно предупреждали об опасности в письме.

Она досадливо покачала головой:

— Не то, не то... Я совсем другое имела в виду...

— А именно?

Она поднялась, взяла папиросы, закурила. Отвернулась к окну, долго молчала, и по ее пре-

рывистому дыханию я догадался, что она плачет. Но мне ждать некогда было, я поторопил ее:

— Так что же вы имели в виду, когда написали: «Будь с ним поосторожнее, голубушка»?

Не поворачиваясь ко мне, она сказала:

— Есть вещи, о которых женщине очень трудно говорить... И я бы никогда вам не сказала того, что сейчас скажу, если бы не смерть Ларочки... Перед этим все меркнет, все теряет смысл... Все становится таким мелким и жалким... Одним словом, Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларисой... Она ведь на десять лет моложе. Это очень горько и было бы невыносимо, если бы... А-а!.. Поверьте, я не сердилась на Лару, я жалела ее. И предупреждала, что это кончится плохо. Но, поверьте, я не могла предвидеть такого ужаса...

— А сейчас?

— Сейчас я знаю то, что знают все: Илья Сергеевич арестован за убийство Ларисы... И еще я знаю, что вы ищете Фокса. Но каким образом пути их переплелись, я не представляю. Они ведь не встречались раньше.

— А потом?

— Не знаю! Но убеждена, Фокс должен был совершить что-то ужасное, чтобы Илья Сергеевич при его выдержке решился...

Я сообразил конструкцию, которую рисует мне Ингрид, и спросил:

— Илья Сергеевич ревнив?

— Трудно сказать... Даже при его внутреннем благородстве возможны ситуации, когда характер вырывается наружу...

Я решил, что секретничать мне нечего, и сказал в открытую:

— Боюсь, что вы себе не совсем правильно представляете картину преступления. Ведь вы думаете, что Груздев убил Ларису из ревности, так?

Ингрид тряхнула решительно головой. Пышные пепельные волосы, собранные высоким шиньоном, рассыпались по плечам, она досадливо отбросила их за спину:

— У вас все как-то упрощенно получается. Не забывайте, что они мирно разошлись и Илья Сергеевич жил с новой женой. Тут все много сложнее. Я думаю, Фокс устроил какую-то невероятную, оскорбительную каверзу — он мастер на такие штуки...

— А если предположить кое-что другое?

— Например? — осведомилась Ингрид.

— Ну, скажем, что он нашел общий язык с Груздевым... против Ларисы.

Она вскинула ладони, будто отталкивая от себя

даже возможность подобной мысли:

— Да что вы говорите! Это... это просто нелепо! Я повторяю: они не были знакомы; во всяком случае, Лара до последнего момента ничего об этом не знала.

— Тогда как вы объясните то, что у Фокса обнаружились некоторые вещи Ларисы?

— Так вы его все-таки нашли?!

— Нет, к сожалению, пока только вещи...

Она подумала немного, потом сказала:

— Знаете, несмотря на то, что между нами произошло, Лара была со мной откровенна. Незадолго до смерти она сказала мне мимоходом, что Фокс сделал ей предложение. И уговаривал бросить эту серую, слякотную Москву, поселиться на его родине, в Крыму, где у него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача. И что директор местного театра — его друг, который ему всем в жизни обязан, — значит, карьера Ларе обеспечена...

Эге, это уже как-то вяжется с тем, что она уволилась и закрыла вклад в сберкассе.

— Я не очень ее отговаривала, — продолжала Ингрид. — Сами понимаете, она могла подумать, что я из ревности... ну, и так далее. Впрочем, боюсь, что она так и думала, потому что хотя и

выслушивала мои советы, но явно пренебрегала ими.

Ингрид надолго замолчала, и было видно, что теперь, после того как она выговорилась, мое присутствие ей невыносимо. Но я сказал:

— Понимаете, Ингрид Карловна, Фокс и Груздев действительно связаны чем-то в этой истории. Но нам пока еще не понятно до конца, чем именно. И объяснить это может один человек — Фокс...

— А Груздев? — перебила Ингрид.

Я подумал, что такие карты не стоит раскрывать женщине, пережившей любовь к Фоксу, мало ли, бывает, что старое кострище вдруг снова пойдет дымком, а там, глядишь, и огнем вскинется...

— Знаете, мы тут одну сложную комбинацию проводим, — сказал я. — Как-нибудь после я вам расскажу, а сейчас нам нужен Фокс. Где он бывает?

— В ресторанах... — бездумно, почти механически, сказала она, глядя в окно, и тут же, видимо, пожалела, прикусила губу.

— В каких? — вежливым голосом осведомился я.

— Да не знаю я... — сказала она с досадой. — В музеи он не ходит и в библиотеки не записан. Где

же ему еще бывать?..

— Ну вы лично в каких бывали с ним ресторанах? — настырничал я.

— В разных... Да и всего-то дважды...

— Так в каких все-таки?

— В «Астории» и... и в «Гранд-отеле»... — пробормотала она, глядя в сторону, и я видел, что она врет. Но почему? Почему?

— Вот что, мы вас попросим поехать с нами в ресторан и опознать его, — сказал я решительно.

— Я? С вами?! Опознавать в ресторане?! — переспросила она с огромным удивлением. — Да вы с ума сошли! За кого вы меня принимаете?

— Как за кого? — опешил я. — За знакомую человека, которого мы подозреваем как соучастника в убийстве. — И добавил сколько можно было ядовитее: — Вашей подруги, между прочим...

Ингрид презрительно выпятила нижнюю губу, процедила:

— Вы можете подозревать кого угодно... Хотя у вас нет для этого ни малейших оснований — разве несчастного Груздева мало? Ведь не зря же вы его посадили?

— Конечно, не зря, — обозлился я. — Но это вовсе не значит, что все остальные в стороне... Соучастие — это... это сложная вещь...

Может, оттого, что я несколько туманно объяснил ей про соучастие, которое и сам еще толком по учебнику не проработал, но она сказала:

— Ловить близкого мне человека, каким бы он прохвостом потом ни оказался, я не стану. Вы меня плохо знаете...

Я запальчиво перебил ее:

— Мы вас можем заставить!

Она засмеялась:

— Нет. Я делаю в этой жизни только то, что *сама хочу*. А если я не хочу, то вы меня хоть расстреляйте...

И я понял, что заставить ее опознать Фокса не удастся. Да и при таком ее характере это было опасно — она могла нас в самый острый момент подвести. Я встал, довольно невежливо махнул рукой вместо «до свидания» и вышел.

В Управлении никого из наших не было. Я сел за свой стол, записал в блокнот для памяти основные факты из разговора с Ингрид и решил еще раз перечитать ее письма. Однако ни дела Груздева, ни писем, оставленных в спешке на столе, уже не было, — видимо, Жеглов убрал бумаги в сейф. Собственным ключом, который пару дней назад Жеглов торжественно, будто орден, вручил мне, я отпер замок и раскрыл тяжелую стальную двер-

цу. В коридоре в это время послышались голоса, и в кабинет вошел Тараскин, а за ним следом еще двое: маленькая девочка лет шести-семи с растерянным, испуганным лицом — она держала в одной руке грязную тряпичную куклу, а другой размазывала слезы по бледному худенькому личику — и женщина, бедно одетая, молодая еще, с испуганными глазами-вишенками, такими же, как у девочки.

Тараскин возмущенно заорал с порога:

— Представляешь, Шарапов, до чего же мерзавцы распоясались — детей обворовывают!

— А что? — спросил я.

— Представляешь, гуляет этот ребенок себе во дворе, мать — вот эта гражданочка — на работе. Все тихо-мирно. Вдруг подходит к девочке мужчина и спрашивает: «Как твоя фамилия?»

— Не-ет, дяденька спросил: «Как тебя зовут?» — поправила девочка. — Я сказала: «Лидочка». — «А фамилия?» Я говорю: «Воробьева...»

Смышленое личико девчушки скривилось, задрожали, запрыгали губы, она горько заплакала, а мать бросилась ее утешать. Тараскин, понизив голос, досказал за нее:

— У них отец, понимаешь, на фронте погиб. Ну, девчонке, ясное дело, не говорили — зачем ребен-

ку знать? Так вот, подходит к ней некий хмырь в военной форме: «Ах Лидочка, значит, Воробьева? Очень хорошо! Твой папа где?» — «На фронте». — «А вот и нет, он ранен, его привезли с фронта в госпиталь. Теперь он вылечился и собирается домой. А я поехал вперед — все ли готово для встречи раненого героя?..»

Я остолбенело слушал — с такими номерами мне встречаться еще не приходилось.

— То да се, — продолжал Тараскин. — Значит, мерзавец этот говорит: «Давай поднимемся в квартиру, приберемся к приезду отца, порядок наведем...» Поднялись, навели порядок, он девочке предлагает: «Я тут стол накрою, а ты беги эскимо купи». И дает ей тридцатку. Ясное дело, обрадовалась девчонка и побежала. А как вернулась, его и след простыл. В квартире все разворочено — что было мало-мальски ценного, все увез, все вытащил, сволочь... Тут такая истерика была, Шарапов, ты и не представляешь: и мать, и дочка не столько по вещам, сколько по отцу голосили — обида из них рвалася, ну, просто невыносимая...

Он уселся за наш стол и принялся оформлять происшествие, а я вернулся к сейфу. Как назло, дело Груздева не попадалось, пришлось ворошить здоровенную стопу всяких бумаг на верхней

полке, потом на средней, наконец, на нижней. Но дела все не видно было. Куда же оно запропастилось? Я уже медленно начал перекладывать все папки и бумаги внутри объемистого сейфа, пока не убедился, что дела там нет. И я как-то забеспокоился: не понравилось мне, что нет его на месте — ни на столе, ни в сейфе.

— Коля, ты не видел случайно, здесь дело на столе лежало? — спросил я Тараскина и тут же подумал, что он ушел из кабинета еще раньше меня — как он мог видеть?

Тараскин оторвался от бумаги и сказал рассеянно:

— Откуда? Меня ж не было...

Я заглянул в соседние кабинеты в надежде найти Пасюка или хотя бы Гришу Шесть-на-девять, но их нигде видно не было, и я даже подумал, не заглянуть ли к Свирскому, но тут же отогнал эту мысль: только этого не хватало — разыскивать документы у начальника отдела! В конце коридора показался Жеглов, и я вздохнул с облегчением, — наверное, он-то в курсе, носил кому-нибудь по начальству дело, или, может быть, Панков приезжал, пока я беседовал с Соболевской. Поскрипывая сапогами, Жеглов приблизился ко мне, хлопнул по плечу:

— Ну, орел, чего слыхать на белом свете и его окрестностях?

Не отвечая на его праздный вопрос, я сказал как можно безразличней:

— Мне с делом работать надо, а ты забрал, не сказавши адреса...

— Что, что? — не понял Жеглов. — Какого адреса?

— Ну, дело уголовное, груздевское... — забормотал я, пытаясь сохранить остатки видимости спокойствия. — На столе у меня лежало...

— Груздевское? На столе лежало? — зловеще переспросил Жеглов и зыркнул на меня острыми своими глазами. — И что? Где оно теперь?

Я развел руками:

— Нету... Я думал, ты взял...

— Да ты что, Шарапов?! Соображаешь, что говоришь? Ну-ка, ну-ка... — И он бегом устремился в наш кабинет. — Где, говоришь, лежало — на твоем столе? Когда? — И лицо у него при этом было такое, что меня начала бить крупная дрожь.

— Ну-ну... это... когда я письма Соболевской... подруги читал... А потом сразу к ней поехал — дело на столе оставалось...

Глаза у Жеглова превратились в узкие щелочки, лицо окаменело. Он сказал негромко:

— Тараскин, возьми людей, перейди с ними в соседний кабинет... а то мы тебе помешаем...

И пока Тараскин собирал бумажки протокола, уводил потерпевшую и девочку, Жеглов тяжело молчал, и молчание это давило меня тысячепудовой глыбой, давило просто невыносимо; чувствовал я, случилось что-то ужасное. И после ухода Тараскина Жеглов еще сколько-то молчал, грузно опустившись на стул, о чем-то сосредоточенно думал, наконец спросил:

— В сейфе смотрел? Нету?

Я покачал головой.

— В кабинете был кто, когда ты уезжал?

— Нет. Я его запер...

— Беги к тете Нюше, уборщице. Ключ только у нее есть...

Я побежал в каптерку, где тетя Нюша неспешно попивала чаек. Но в кабинет она не заходила и, следовательно, ничего про дело знать не знала. Я вернулся к себе. Жеглов по-прежнему сидел за своим столом и зло сопел.

— Куда ж оно могло деться, Глеб? — спросил я с ужасом. Я ведь и не представлял себе, что какая-то вещь может пропасть из запертого кабинета в МУРе!

— Куда могло деться? — прошипел он. — А пла-

катик около входа в столовую видел?

Видел я этот плакат, он еще в первый день привлек мое внимание: нарисована коричневая кобура с красным шнуром, из нее торчит рукоятка нагана, рядом скрючилась когтистая волосатая лапа, и надпись в два метра: «Товарищ! Береги оружие! К нему тянется рука врага!»

— Видел, — сказал я понуро.

— Дело-то поважнее нагана будет, а?.. Ты когда-нибудь у меня на столе документы видел? Вот так, чтобы меня за столом не было, а дело бы лежало?

Я действительно не видел.

— Ты его целиком и в руки-то не брал, — сказал я угрюмо. — Работаем с ним мы — то я, то Пасюк или Тараскин...

— Правильно, — сказал Жеглов. — Ну а с отдельными документами я работаю?

— Работаешь. Ну и что?

— Вот ты, к примеру, прочитал у меня на столе хоть один документ, с которым я работаю?

Я вспомнил уже давно удивившую меня привычку Жеглова — если кто-нибудь подходил к его столу, он незаметно переворачивал бумагу, которую читал в то время, или накрывал ее каким-нибудь другим листом, газетой, пустой

папкой. Спрашивать об этом я постеснялся, да и знал с детства, что чужое письмо читать неприлично. Вот он вроде такому неприличию и препятствовал, загораживая документы...

— Нет, не читал, ты их всегда переворачиваешь, — буркнул я, еще не понимая, куда он клонит.

— А вот почему — над этим ты не задумывался? Я тебе объясню. За иную бумажку на моем столе или на твоем — это безразлично — жулик подчас готов полжизни отдать, понял? От вас-то у меня секретов нет и быть не может, сам понимаешь. Но это привычка, железная привычка, отработанная годами, понял? Никогда никакого документа постороннему глазу! — Жеглов поднялся и стал расхаживать по кабинету, потом сказал устало: — А тут целое дело пропало... Боже мой, что же это будет?

Я впал в какое-то отупение. Представлялось мне, как сейчас потащат меня к Свирскому, а потом и к самому начальнику Управления, грозному генерал-лейтенанту Маханькову, вспомнил испуганное, растерянное лицо Соловьева в доме у Верки Модистки, и представлял я сейчас себя где-то рядом с ним, на какой-то длинной некрашеной скамье. Словно угадав мои мысли, Жеглов сказал:

— История-то подсудная... Объясни-ка начальству, кто теперь это читает? А?

У меня буквально зубы застучали от его вопроса; и не потому, что я начальства боялся, как-то нет этого в характере у меня, а было мне невыразимо стыдно, точно доверили мне пленного караулить, а я заснул, и он убежал и чего теперь может натворить — бог весть...

— Что же делать, Глеб? — спросил я и оглянулся на Пасюка и Тараскина, ища в товарищах поддержки; и они по-прежнему смотрели на меня с волнением и сочувствием. А Жеглов сказал:

— Не знаю я, что делать. Думай... — И вышел, крепко стукнув дверью.

Пасюк спросил:

— Мабуть, ты його с собою возил, когда уезжал к той дамочке?

Я суетливо и совсем уж глупо отстегнул кнопку планшета, куда дело никак не могло поместиться, но все-таки открыл я его и посмотрел, потом снова — в двадцатый раз — стал перебирать сейф, и все, конечно, попусту. Так и стоял я, тупо упершись взглядом в полки сейфа, когда дверь отворилась, по кабинету проскрипели сапоги Жеглова — я этот звук научился отличать уже не глядя — и раздался звучный шлепок о стол. Холо-

дея, я оглянулся: на моем столе лежала знакомая зеленая папка груздевского дела, а рядом стоял Жеглов и осуждающе качал головой. Я бросился к столу, схватил папку, трясущимися руками раскрыл ее — все было на месте!

— Где ты ее нашел, Глеб? — спросил я, заикаясь от волнения.

Жеглов презрительно скривил губы и передразнил:

— Наше-ол... Тоже мне стол находок! Я ее в учетную группу сдавал для регистрации. И заодно тебя, салагу, поучил, как дела на столе бросать...

Совершенно обалдев от всего, что произошло, я стоял посреди кабинета и беспомощно смотрел то на Жеглова, то на Пасюка, но на Тараскина. На лице Тараскина было написано огромное облегчение, Пасюк сморщился, глаза его зло поблескивали, а Жеглов уже широко и добродушно, по своему обыкновению, ухмылялся. И на смену непроизвольной радости оттого, что нашлось дело, на меня вдруг нахлынуло чувство огромного, небывалого еще в жизни унижения, будто отхлестали меня по щекам прилюдно и плакать не велят. Я задохнулся от злости и пошел на Жеглова:

— Т-ты... скотина... Ты что же это такое наду-

мал? Я, можно сказать, с ума схожу, в петлю лезть впору, а ты шуточки шутишь?

Жеглов отступил на шаг, вздернул подбородок и сказал:

— Ну-ну, не психуй! Для твоей же пользы, наука будет...

А меня уже несло, не мог я никак остановиться:

— Это кто же тебе дозволил меня таким макаром учить? Я тебе что, сопляк беспорточный? Слов человеческих не понимаю? Я боевой офицер, разведчик! Пока ты тут в тылу своим наукам сыщицким обучался, я за линию фронта сорок два раза ходил, а ты мне выволочки устраивать... Знать тебя больше не желаю... Все! — Я бросил дело на его стол и пошел к выходу, но в дверях вспомнил, повернулся к нему и сказал: — Чтобы духу твоего на квартире моей не было! Нынче же, слышишь?! Нынче же! Сматывайся к чертовой матери!..

* * *

...Три бани находятся в Таганском районе, и в любую из них нелегко попасть. В постоянных очередях люди теряют многие часы.
— Ремонтируем, — оправдываются директора бань. — Вот закончим ремонт, тогда станет посвободнее...
Однако ремонт идет слишком медленно. Необходимого внимания этим коммунально-бытовым предприятиям районные организации не уделяют.
«Известия»

Я спустился по лестнице, и всего меня еще сотрясало уходящее напряжение, злость и ужасная обида. Было стыдно, больно, а самое главное, очень досадно, что я только-только начал нащупывать тоненькую тропку тверди в этом мутном и запутанном деле Груздева, какие-то не совсем оформившиеся догадки бились в моем мозгу, ища крошечную лазейку, которая вывела бы нас всех к истине, — и вот, пожалуйте бриться! Жеглов меня теперь точно отстранит от этого дела, он мне

не простит такого поведения в присутствии всей группы. Ну и черт с ним! Конечно, по существу я не прав, но и он не имел права на такую подлую выходку. Шкодник! Злобный шкодник!..

— Володя! Володя!..

Я обернулся и увидел Варю — она была в светлом легком пальто, в модных лодочках и держала в руке зонт, и зонт, именно зонт, подсказал мне, что она уже не младший сержант Синичкина, а просто Варя. Зонт — штука исключительно штатская.

— Володя, я из управления кадров...

— Демобилизация?

— Точно! С 20 ноября.

— Поздравляю, Варя. Что теперь?

— Завтра поеду в институт за программами.

— И забудешь нас навсегда?

— Во-первых, еще неделю работать. А во-вторых, завтра управленческий вечер. Ты придешь?

— Если мне Жеглов какого-нибудь дела не придумает, — сказал я и, вспомнив наш скандал, добавил: — А скорее всего, приду...

— У тебя неприятности? — спросила Варя, и я подумал, что человек моей нынешней профессии должен был бы лучше уметь скрывать свое настроение.

— Как сказать... — пожал я плечами. — Особо хвалиться нечем...

— Тебе не нравится эта работа? — спросила Варя. Она взяла меня под руку и повела к выходу, и получилось у нее это так просто, естественно, может быть, ей зонтик помогал — никакой она уже не была младший сержант, а была молодая красивая женщина, и мне вдруг ужасно захотелось пожаловаться ей на мои невзгоды и тяготы, и только боязнь показаться нытиком и растяпой удерживала меня.

— Что с тобой, Володя? Расскажи — может быть, вместе придумаем, — снова спросила Варя.

Мы вышли на улицу, в дымящийся туманом дождливый сумрак, и я, чувствуя в сердце острый холодок смелости, крепко взял ее за руку и притянул к себе:

— Варя, нельзя мне, наверное, говорить тебе это — женщины любят твердых и сильных мужчин... Но мне, кроме тебя, и сказать-то некому!..

Она не отстранилась и сказала ласково:

— Много ты знаешь, кого любят женщины! И тебе никогда не научиться лицедейству...

От измороси фонари казались фиолетовыми; звенели капли, и протяжно пел над головой троллейбусный провод.

— Варя, я не могу к этому привыкнуть — часы, минуты, стрелки, циферблаты; гонит время, как на перекладных, все кругом кого-то ловят, врут, хватают, плачут, стонут, шлюхи хохочут, стрельба, воришки, засады; никогда не знаю, прав я или виноват...

— Володя, дорогой, а разве на войне тебе было легко?

— Варя, я не про легкость! На войне все было просто — враг был там, за линией фронта! А здесь, на этой проклятой работе, я начинаю никому не верить...

Никого не было на вечерней, расхлестанной дождем, синей улице. Варя неожиданно двумя руками взяла меня за лицо и поцеловала, и это было как сладостный обморок; на губах ее был вкус яблок и дождя.

Она прижимала к себе мою голову и быстро, еле слышно говорила:

— Ты еще мальчик совсем, ты устал очень и не веришь в себя, потому что еще только учишься делу, еще показать себя как следует не можешь... Ты мне верь — женщины чувствуют это лучше: ты на своем месте нужнее Жеглова. Ты как черный хлеб — сильный и честный. Ты всегда будешь за справедливость. Ведь если нет справедливости,

то и сытость людям опостылеет, правда?..

У нее глаза были огромные, морозные, один серый, а другой ярко-зеленый, и я знал, что никогда в жизни не смогу обмануть ее, и нежность теплым облаком билась во мне, как огонь в фонаре. Теряя сознание от счастья, я целовал под проливным дождем ее глаза, и во мне обрывалось что-то, когда я вспоминал, что скоро кончится наш путь — мы дойдем до ее дома и мне надо будет уйти.

Варя раскрыла зонт, и мы шли под ним оба; я первый раз в жизни шел под зонтом, мне всегда это казалось ужасно стыдным — стыднее было бы только носить галоши, — и я бы охотно поклялся теперь ходить всю жизнь под зонтом, если бы со мной была Варя.

— Володенька, пройдет невыносимо много лет — двадцать, тридцать, — мы уже совсем состаримся, и в каком-нибудь семьдесят пятом году здесь тоже пройдут влюбленные, и любовь их останется такой же внезапной и пугающей, как крик в ночи, но бояться они будут только своих чувств, потому что не станет уже в те времена воров, бандитов и шлюх, и людям придется плакать разве что от счастья, а не от страха. Никто никого не станет ловить и хватать, и этим будут тогдашние влюбленные тоже обязаны тебе, мой

солдатик...

Ее запрокинутое лицо было холодно и светло, а ночь вокруг нас влажно блестела на черных, как жегловские сапоги, тротуарах, и как я ни был счастлив, в сердце ледышкой позванивал беззвучный лет времени...

У дверей ее дома я сказал:

— Не могу без тебя...

— Мы увидимся завтра. Ты же собирался прийти на вечер...

— Нет, я не об этом. Я хочу всегда, все время... Каждую минуту.

Она поцеловала меня и нежно, будто умывая, провела своими длинными прохладными ладошками по лицу:

— Не спеши...

И ушла.

Медленно брел я домой, и ощущение счастья постепенно утекало, и какое-то тайное беспокойство уже точило меня неотступно. Кислый вкус досады лежал на губах, и я не мог понять, что меня изводит, пока вдруг не пришло мрачное озарение — Жеглов! Я же выгнал его! Я сказал, чтобы он сегодня же сматывался. А ведь это свинство, наверное... Конечно, слов нет, сволочной номер он отколол. Допустим, обиделся я на него.

Да будь я человеком, взял бы и сам ушел. Что мне, переночевать негде? А то сначала позвал к себе жить бездомного человека, а потом взбесился и вышиб из дома в один хлоп!

Случись у меня такая штука с Тараскиным или Пасюком, все было бы проще — можно было бы извиниться и позвать обратно. А с Жегловым-то ужасно — он ведь может подумать, что я перетрусил и решил к нему подлизаться. Ой, стыдуха! Что же придумать? Как теперь выкручиваться? А главное, Жеглов ведь наверняка уже выписался из общежития. К Тараскину или Копырину пошел ночевать. Черт бы меня побрал с моим проклятым языком! Тоже мне купчишка нашелся: «Убирайся с моей жилплощади!» Тьфу!

Ругая себя, я поднялся на второй этаж, отпер квартиру, тихонько прошел по коридору, отворил свою дверь и зажег свет. Накрывшись с головой, на диване уютно похрапывал Жеглов, на столе валялось несколько банок консервов и четыре плитки шоколада. А посреди комнаты стояли его ярко начищенные сапоги.

Жеглов отбросил край одеяла, приподнял с подушки заспанное лицо и сердито буркнул:

— Гаси свет! Нету от тебя покоя ни днем ни ночью...

Откинулся и сразу же крепко заснул. И ощущение счастья опять нахлынуло на меня. Так я и уснул в твердой уверенности, что весь мир удивительно прекрасен...

* * *

ИППОДРОМ. Ленинградское шоссе, 25.
24 октября.
РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Начало в 3 ч. дня.
Буфет. Оркестр.

Объявление

Проснулся я от ужасного истошного крика, словно прорезавшего дверь дисковой пилой. Очумелый со сна, пытался я сообразить, что там могло случиться, и подумал, что в квартире у нас кто-то помер. И пока я старался нашарить ногой сапоги, Жеглов уже слетел с дивана и, натягивая на бегу галифе, босиком выскочил в коридор.

В коридоре, заходясь острым пронзительным криком, каталась по полу Шурка Баранова. На ее тощей сморщенной шее надувались синие веревки жил, красные пятна рубцами пали на изможденное лицо, и такое нечеловеческое страдание, такие ужас и отчаяние были на нем, что я понял — случилось ужасное.

Жеглов, стоя перед Шуркой на коленях, держал ее за костистые плечи.

— Дай воды! — крикнул мне Глеб.

Я так ошалел от ее крика, так испугался, что побежал почему-то не на кухню, а в комнату, и никак не мог найти кружку, потом схватил кувшин, и Жеглов, набирая воду в рот, брызгал ей в лицо. Жались по углам перепуганные соседи, тоненько скулил старший Шуркин сын Генка, и замер с нелепой бессмысленной улыбкой ее муж инвалид Семен.

— Карточки! Кар-то-чки! — кричала Шурка страшным нутряным воплем, и в крике ее был покойницкий ужас и звериная тоска. — Все! Все! Продуктовые кар-то-чки! Укра-ли-и-и-и!.. Пятеро малых... с... голоду... помрут!.. А-а-а! Месяц... только... начался... За весь... месяц... карточки!.. Чем... кормить... я... их... буду? А-а-а!..

Четвертое ноября сегодня, двадцать шесть дней ждать до новых карточек, а буханка хлеба на рынке — пятьдесят рублей.

Жеглов, морщась от крика, словно ему сверлили зуб, сильно тряхнул ее и закричал:

— Перестань орать! Пожалеет тебя вор за крик, что ли? Детей, смотри, насмерть перепугала! Замолчи! Найду я тебе вора и твои карточки найду...

Шурка и впрямь смолкла, она смотрела на Жег-

лова с испугом и надеждой, и весь он — молодой, сильный и властный, такой бесконечно уверенный в себе — в этот миг беспросветного отчаяния казался ей единственным островком жизни.

— Глебушка, Глебушка, родненький, — зарыдала она снова. — Где же ты сыщешь эту бандитскую рожу, гада этого проклятого, душегуба моих деточек? Чем же мне кормить их месяц цельный? И так они у меня прозрачные, на картофельных очистках сидят, а как же месяц-то проголодуем?

— Перестань, перестань! — уверенно и спокойно говорил Глеб. — Не война уже, слава богу! Не помрем, все вместе как-нибудь перезимуем...

Он повернулся ко мне и сказал:

— Ну-ка, Володя, тащи-ка наши карточки. — И, не дожидаясь, пока я повернусь, проворно вскочил и побежал в нашу комнату, и никто из онемевших соседей еще не успел прийти в себя, как он сунул Шурке в руки две наши рабочие карточки с офицерскими литерами. — На, держи! Половину ртов мы уже накормили, с остальными тоже что-нибудь придумаем...

Шурка отрицательно мотала головой, отводила в сторону его руки, отталкивала от себя розовые клетчатые бумажечки карточек, искусанными губами еле шевелила:

— Не-е, не возьму... А вы-то сами?.. Не могу я...

— Бери, тебе говорят! — прикрикнул на нее Жеглов. — Тоже мне еще, церемонии тут разводить будешь...

Он сходил снова в комнату и принес банку консервов, кулек сахару, пакет с лярдом — из того, что мы сэкономили и он вчера отоварил к празднику.

— Ешьте на здоровье, — милостиво сказал он, и я видел, что он самому себе нравится в этот момент и всем соседям он был невероятно симпатичен; да и мне, честно говоря, Глеб был очень по душе в этот момент, и он это знал, и хотя босиком у него был не такой внушительный вид, как в сверкающих сапогах, но все равно он здорово выглядел, когда сказал Шурке строго: — Корми ребят, нам еще солдаты понадобятся. Эра Милосердия, она ведь не скоро наступит...

Старческая серая слеза ползла по ячеистой клетчатой щеке Михал Михалыча, который быстро-быстро кивал головой, протягивая Шурке авоську с картошкой и луком — у него все равно больше ничего не было.

Шурка бессильно, тихо плакала и бормотала:

— Родненькие, ребятушки мои дорогие, сыночки, век за вас бога молить буду, спасли вы деточек

моих от смерти, пусть все мои горести падут на голову того ворюги проклятого, а вам я отслужу — отстираюсь вам, убираться буду, чего скажете, все сделаю...

— Александра! — рявкнул Жеглов. — Чтобы я больше таких разговоров не слышал. Советским людям, и притом комсомольцам, стыдно использовать наемную силу! — Повернулся ко мне и сказал сердито: — Чего стоишь? Иди чайник ставь, мы с тобой и так уже опаздываем...

Шагая рядом с Жегловым на работу, я раздумывал о том, что мы с ним будем есть этот месяц. За двадцать шесть дней брюхо нам к спине подведет — это как пить дать. Раз мы не сдали карточки в столовую, то нас послезавтра автоматически снимут там с трехразового питания. Правда, остается по шестьдесят талонов на второе горячее блюдо. Еще нам полагается, наверное, не меньше мешка картошки с общественного огорода. Несколько банок консервов осталось. У Копырина можно будет разжиться кислой капустой, а Пасюк хвастался, что ему прислали приличный шмат сала, он нам наверняка кусок отжалеет. Хлеба, даже если покупать его на рынке — по полсотни за буханку, — тоже хватит. В крайнем случае, что-нибудь из обмундирования загоним, часы... В

общем, ничего, перебьемся...

Прикидывал я все это в уме и сам себя стыдился. Ну никогда, видимо, мне не стать таким человеком, как Жеглов — взял и вот так, запросто, отдал весь месячный паек Шурке Барановой и идет себе, посвистывает, думать об этом уже позабыл, а я, как крохобор какой-то, все считаю, и считаю, и прикидываю, и вычисляю! Тьфу, просто противно смотреть на самого себя! Видимо, каким человек родился — его уж не переделаешь. И даже мысли о том, что Жеглов не только свои, но и мои карточки тоже отдал, не утешали меня в сознании своего крохоборства.

На Трубной мы сели в трамвай. Жеглов сказал кондукторше:

— Служебный, литер «Б»... — Мы с ним устроились на задней площадке, и, когда уже подъезжали к Петровке, он постучал меня по плечу: — Володя, ты все же чего-нибудь померекуй — нам ведь с тобой месяц жрать хошь-не-хошь, а надо...

Полдня пролетело незаметно в текущих хлопотах, а после обеда явился взмыленный Тараскин — усталый, но довольный собой. Он ухитрился-таки повязать на Зацепе жулика, обокравшего семью погибшего военнослужащего с улицы

Стопани: тот не успел еще спустить сиротское барахлишко и был прихвачен, можно сказать, с поличным — вещдоки мирно лежали у него дома. О своем успехе он еще вчера вечером доложил Глебу по телефону, и тот сразу же запряг его на установку хозяев телефона К 4-89-18. Сложность заключалась в том, чтобы все разузнать по-тихому, чтобы никто не заподозрил, будто кто-то интересуется владельцем телефона, тем более из МУРа; и разведку следовало вести под какой-нибудь легендой. Коля Тараскин такую легенду выдал и сведения собрал довольно полные, только, как мне казалось, совсем для нас бесполезные.

— Телефон личный, — докладывал Коля, томно развалясь за столом, который занимал пополам со мной. — Владелец — Задохина Екатерина Петровна, семидесяти лет. Проживает по Чистопрудному бульвару, дом тринадцать, квартира пять...

По лицу Жеглова я видел, что он не хочет лишать Колю ощущения триумфа — Тараскин, прямо сказать, был не из самых удачливых в личном сыске, — но и дожидаться всего рассказа по порядку тоже терпения не имел, поэтому перебивал Колю короткими точными вопросами:

— Квартира отдельная, коммунальная?

На что Коля отвечал обстоятельно:

— Квартира коммунальная, помимо Задохиной имеется еще четверо соседей: Иволгины, Сергеевы...

— Соседи пользуются телефоном?

— В одну сторону...

— В смысле?

— Чтобы сами звонили, бабка разрешает. А номер давать, чтобы им звонили, — категорически нет.

— Ага. Ясно. Дальше.

— Бабка живет в этой квартире всю жизнь, до революции служила в Расходовских номерах на Сретенке горничной. Последнее время — в разных столовых, сперва официанткой, потом судомойкой...

— Потеплее где, значит... — заметил Жеглов.

— Ага. В общественном питании... — не стал спорить Тараскин, хотя видно было, что он не разделяет иронии начальника, поскольку — то ли Жеглов забыл об этом, то ли церемониться не стал — жена Тараскина Вера тоже была официанткой, ввиду чего Тараскин постоянно был в курсе дел общественного питания, да и аппетит у него был всегда поменьше нашего. А Жеглов спросил:

— Родственники, знакомые какие у бабки?

— По домовой книге родственников у ней с тридцать девятого года не значится.

— А из других источников?

— Племянница к ней иногда наезжает. По сведениям соседей, проживает на Брянщине, в деревне то ли Новые, то ли Нижние Ляды. Зовут Нюша...

— Нюша? — заинтересовался Жеглов. — Нюша. Нюра. Анна. Что?

— Анна-то Анна, да не та, по-моему, — сказал рассудительно Тараскин. — Во-первых, лет ей от тридцати пяти до сорока — старовата, значит; во-вторых, криминалу за ней — что самогон в грелках резиновых привозит, а посерьезней ни-ни.

— Понял. На бабку, Задохину эту самую, есть что?

— Компрматериалов — ни синь пороху. Тихо живет, ходит в церковь, приводов и судимостей не имеет. Питается, одевается по средствам получаемой пенсии...

— Так-так-так... — пробурчал Жеглов. — Ничего, значитца, за ней не маячит. Ну ладно, садись пиши справку. Да, а посетители к ней ходят какие?

Тараскин, доставая из ящика стола бумагу, сказал скучным голосом:

— Да какие у ней, ископаемой, посетители? Нема. И такой, как мы представляем, красульки вроде неизвестной нам подруги Фокса под кодовым названием «Аня», никто там сроду не видел...

Высунув от усердия кончик языка, Тараскин принялся выводить справку-донесение, а Жеглов, наморщив лоб, похаживал из угла в угол, скрипел сапогами, думал. Я сказал ему:

— Хитер бобер этот Фокс. Его тут, я думаю, не зацепишь — двойная перестраховка. У меня в штрафроте был один уголовник, Синяев Федор, домушник по довоенной профессии. Я его потом подтянул несколько, сбил с него разгильдяйство...

— Внимание, случай из военной практики комроты Шарапова, — сказал, ехидно ухмыльнувшись по своей привычке, Жеглов.

Я, конечно, на него обижаться не стал — натура! И сказал:

— Он вообще-то мужик основательный был, бережливый, у меня потом, после пролития крови, тылом заведовал... Да-а... Он, значит, воровать любил из квартир, где хозяева в долгосрочной отлучке. Он мне рассказывал: ходит, бывало, ходит под окнами, днем и вечером... Днем зана-

вески закрыты, вечером по нескольку дней свету нет. Значит, площадка готова. Заберется он туда и шурует спокойненько: сперва все сортирует, готовит без суеты...

— Есть такие шакалы... — уже по-серьезному сказал Жеглов. — Ну-ну?

— За раз не управится — ставит меж окном и занавеской газеты. Если хозяева вернутся, занавески тронут, газеты упадут. Он, как придет снова, увидит... Вот, значит, какая манера...

— Это ты к тому, что Фокс нам у бабки Задохиной газеточки в окне ставит?

— Так точно. И получается, по моему разумению, — двойные. Потому, если Ручечник его сдаст, он все равно должен звонка Фокса дожидаться. Выходит, есть время ему подумать и подготовиться. Я так рассуждаю...

— Правильно рассуждаешь. Ну-с, что делать будем?

Тараскин оторвался от писанины, сказал решительно:

— Вызвать сюда бабку: так, мол, и так, бабка Катя, какие такие бандиты особо опасные держат через тебя связь со своими преступными пособниками? Рассказывай по совести, не то...

Жеглов перебил его выступление:

— Ага! Бабка перекрестится на портрет — вона, в красном углу, — и скажет: «Разлюбезный мой гражданин начальник Тараскин Николай, хошь распни меня, знать ничего не ведаю. Есть, мол, молодка одна, Аня, за сиростью моей присматривает, забегает иногда карточки отоварить, добрая душа. Ну, телефона у ней нету, а дело молодое — кавалеры-то звонить нынче привыкли. Вот я ей и передаю... А кто да что — откуда мне, старой дуре, знать?» И еще через полчаса Аня в курсе дела, а с нею и дружок ее многомудрый, Фокс. Как тебе такая картина?

Тараскин развел руками:

— Вам виднее, Глеб Георгиевич. Вы у нас голова, вам и решать... — И вернулся к своей справке, которую, судя по темпам, должен был закончить к Новому году.

— А ты как думаешь, Шарапов? — спросил Жеглов.

— У меня соображения только, так сказать, отрицательные.

— Ничего, — кивнул Жеглов. — Можно идти и методом исключения. Говори!

— Да что говорить-то... Если мы от имени Ручечника позвоним, Фокс ему же перезвонит. А как с ним разговаривать? Тут же засыплемся... С

Волокушиной попробовать договориться — так она с ними в разговоры не вступала и нас от чистого испуга завалит...

— Остается одно, — подытожил Жеглов. — Ручечника сагитировать.

— Вызвать? — приподнялся я.

Жеглов покачал головой:

— Не. Рано еще. Пусть посидит, — может, дозреет. Я его выпущу, если он нам Фокса сдаст...

Я с удивлением воззрился на него — никак не мог я привыкнуть к его неожиданным финтам. А он сказал:

— Фокс бандит. Его любой ценой надо брать. А Ручечник мелкота, куда он от нас денется?..

Что-то меня не устраивало в этом рассуждении, но я еще был слаб в коленках с Жегловым спорить, да и подумал, кроме того, что это у меня в привычку превращается — по любому вопросу с ним в склоку вступать. Поэтому я промолчал, а Глеб задумчиво сказал:

— Для нас, как ни прикидывай, телефон этот дурацкий с Аней — главный опорный пункт. Это тебе не прогулки по коммерческим кабакам, здесь они реально пасутся, так что и нам следует реально этот вариант отрабатывать...

— А как?

Жеглов улыбнулся:

— Чтобы такие орлы-сыщики да не придумали! Быть не может! Поэтому ты отправишься к двум часам в триста восьмой кабинет к товарищу Рабину Николаю Львовичу — я с ним договорился — и начнете вместе проверку по всем оперативным учетам: на судимых, приводников, барыг и прочую прелестную публику. Выберете всех женщин по имени Анна, хотя бы мало-мальски подходящих под наш размер. Кстати, загляни и в картотеку кличек...

— Так ведь Анна — это... — не понял я.

Жеглов похлопал меня по плечу:

— Бывает, бывает, что имя — это не имя, а кличка. Я тебе на досуге сколько хошь примеров приведу. Да ты и сам увидишь! Значит, выпиши всех более-менее подходящих на карточки — пусть у нас перед глазами будут...

— Есть!

— Работа эта большая, на несколько дней, да что делать...

Мне пришла в голову мысль, и я ее нерешительно высказал:

— А что, Глеб, если нам по вокзалам поискать?

— То есть?

— Ну, мы ведь прикинули, что она может ра-

ботать где-нибудь в вагоне-ресторане? Там ведь любую добычу можно перемолоть?..

Жеглову никогда не надо долго объяснять.

— Толково, — сказал он. — Попросим у Свирского людей, пусть по всем вокзалам устанавливают Аню в вагонах-ресторанах — список мы потом сравним с твоими карточками по оперучету. Теперь вот что: бабку эту, Задохину, надо взять под колпак — вдруг к ней кто сунется? Это я тоже проверну...

Мысль насчет бабки была, конечно, верная, но мне все казалось, что с ее телефоном мы чего-то не дорабатываем. Поэтому я спросил:

— Слушай, Глеб, мне как-то Пасюк говорил, что если к нам, например, позвонят, скажут чего-нибудь, а потом бросят трубку, а ты хочешь узнать, откуда звонили, то это можно. Так это?

— Можно, — сказал Жеглов. — Надо только свою трубку не класть, а с другого аппарата позвонить на телефонную станцию. Там они засекают как-то... А что?

— Постой, у меня тогда еще вопрос. Ведь то, что мы Ручечника посадили, для уголовников не секрет, знают они?

Жеглов посмотрел на меня с удивлением:

— Конечно, не секрет, обыкновенное дело. И

что?

— А то, что можно заранее с телефонной станцией договориться и попросить Волокушину позвонить Задохиной насчет Ани. Аня или Фокс перезвонят, пусть им Волокушина скажет, в натуре так, с истерикой, что Ручечника посадили и как, мол, ей жить дальше...

Глаза Глеба заблестели, идея ему явно понравилась.

— Ага, ага... — быстро прикинул он. — Тогда Фокс с ней как-либо связывается, что мало вероятно... или велит забыть Анин телефон и больше не звонить... так-так... а нам телефонная станция при всех случаях дает номер, откуда он звонил... Молодец, Шарапов, орел!

Я почувствовал, как по лицу у меня невольно расплывается довольная улыбка, и мне от этого неловко стало — стоит Жеглову погладить меня по шерсти, я тут же мурлыкаю, как кот, от удовольствия! Что-то в нем все же есть такое, в чертяке!

А он посмотрел на меня с прищурцем и сказал:

— Независимо от этого завтра начинаем общегородскую операцию по ресторанам — люди выделены, я с начальством обо всем договорился. Особый прицел — на «Савой», он ведь

там, по нашим данным, часто болтается. Почем знать, может, мы его там и подловим! Ты пока, до двух-то часов, приведи в порядок переписку, а я пошел... — И без дальнейших разъяснений Жеглов испарился.

Я уселся за его стол и занялся перепиской — так у нас всякая канцелярщина называется: вносишь названия документов в опись, толстой «цыганской» иглой подшиваешь к делу, нумеруешь страницы и тому подобное. Коля Тараскин, оживившись с уходом Жеглова, принялся, со слов своей жены, пересказывать мне содержание музыкальной кинокомедии «Аршин мал Алан», я занимался своим делом и должен сказать, что лучшего времяпрепровождения, когда тебе предстоит праздничный вечер, и не придумаешь...

* * *

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКОГО
На созданном в дни войны Московском заводе шампанских вин начался, как говорят виноделы, массовый тираж шампанского. Молодые вина, выдержанные здесь в течение двух лет, разливаются в бутылки для брожения и дальнейшей обработки. В нынешнем году Московский завод шампанских вин выпускает в продажу «Советское шампанское», изготовленное из вин «Абрау-Дюрсо» и «Тбилиси».

«Вечерняя Москва»

Жеглов появился так же неожиданно, как исчез, и теперь задумчиво смотрел на меня, и я видел, что его томит желание дать мне какое-то неотложное поручение. И, чтобы упредить его, я твердо сказал:

— Все, я ухожу...

— Позвольте полюбопытствовать куда? — заострился Жеглов.

— Домой, переодеваться. Сегодня вечер, — на-

помнил я ему.

— А-а! Чего-то я запамятовал. — Жеглов секунду размышлял, потом махнул рукой: — Слушай, а ведь это идея — повеселимся сегодня? Нам ведь тоже роздых, как лошадям, полагается — не запалить бы мне вас...

— Да, наверное... — сказал я осторожно, поскольку меня одолевала секретная мыслишка провести с Варей время отдельно от Жеглова — очень уж я казался самому себе невзрачным на его фоне.

— Значитца, так, — повелел Жеглов, не обращая внимания на мою осторожность. — Будешь дома, возьми там пару банок мясных консервов и плитку шоколаду, а я тут сгоношу чего-нито насчет святой водицы...

— А ты переодеваться не будешь? — спросил я.

— Чего мне переодеваться? — захохотал Жеглов, полыхнув зубами. — Я, как Диоген, все свое при себе имею...

У меня был час на сборы, и весь этот час я добросовестно трудился. Наверное, ни разу в жизни я так долго не собирался. Докрасна раскаленным утюгом через мокрую тряпку я отпарил синие бриджи и парадный китель так, что одежда резалась на складках. Потом разложил мундир

на стуле, достал новенькие рантовые сапоги и полировал их до дымного блеска. Отправился в ванную и тщательно побрился, волосы расчесал на косой пробор. Пришил новый подворотничок. Уселся на стуле против всего этого богатства и великолепия и задумался. На правой стороне мундира зияли три дыры, проверченные Жегловым, и я сам себя уговаривал, что теперь мне уже хода нет назад и я должен — просто у меня другого нет выхода, — я должен теперь надеть свои ордена, хотя самому себе поклялся, что не покажусь с ними в МУРе до тех пор, пока сам не раскрою какое-нибудь серьезное дело и, как говорят спортсмены, подтвержу свою квалификацию. Но нельзя же идти на вечер с дырками на груди, это просто уставом запрещается, и главное, что до раскрытия собственного дела еще ух как далеко, а Варя будет на вечере сегодня!

Вот так я поборолся немного сам с собой, и эта борьба была с самого начала игрой в поддавки, как если бы я сам с собой играл в шахматы, заранее решив выиграть белыми. Я решительно встал и пробуравил шильцем еще дырку справа и две дырки слева. Полез в чемодан и достал оттуда увесистый фланелевый сверточек, развернул его и разложил на столе мои награды. Принес из кухни

кружку воды и зубной порошок, потер немного — так, чтобы высветлились, но и не сияли, как новенькие пятаки. Потом не спеша — я это делал с удовольствием, поскольку знал, что эти знаки должны удостоверить, что я не по тылам отирался четыре года, а был на фронте, — неторопливо привинтил справа оба ордена Отечественной войны, Звездочки, гвардейский знак, а налево пришпилил орден Красного Знамени, все семь медалей, польский крест «Виртути Милитари» и бронзовую медаль «За храбрость». Накинул на себя мундир, застегнулся до ворота, продел под погон портупею, посмотрел в зеркало и остался жутко собой доволен...

В гардеробе клуба Тараскин и Гриша Шесть-на-девять о чем-то сговаривались с ребятами из мамыкинской бригады. Увидев меня, Гриша и закричал:

— Ага, вот Шарапов пришел, мы его сейчас туда направим!.. Иди сюда, Володя!

— Сейчас. — Я сдал шинель и фуражку в гардероб, подошел к ним и шутя козырнул: — Для прохождения службы прибыл...

Тараскин смотрел на меня, как будто его заморозили, потом сказал медленно:

— Ну и даешь ты, Шарапов...

— Вот это иконостасик, — сказал восхищенно Гриша.

— Да ты не красней! — хлопнул меня по плечу Мамыкин. — Чай, свои, не чужие...

— Это я от удовольствия, — пробормотал я смущенно.

— Тихарь же ты, Шарапов, — мотал сокрушенно головой Тараскин. — Хоть бы словечко сказал...

— А что я тебе должен был говорить? — спросил я растерянно.

— Шарапов, я о тебе заметку в нашу многотиражку напишу, — пообещал Гриша.

— Да бросьте вы, в самом деле!

И в это время появился Жеглов. Он меня в первый момент, по-моему, не узнал даже и собирался пробежать мимо и, только поравнявшись, заложил вдруг крутой вираж, присмотрелся внимательно, оценил и сказал Мамыкину:

— Учись, каких орлов надо воспитывать! Не то что твои задохлики!..

Даже мамыкинские «задохлики», стоявшие тут же, рассмеялись, и я сам был уже не рад, что стал предметом всеобщего обсуждения и рассмотрения. А Жеглов, одобрительно похлопывая меня по спине, сказал:

— Вот когда за работу в МУРе тебе столько же

нацепят, сможешь сказать, что жизнь прожил не зря. И не будет тебя жечь позор за бесцельно прожитые годы...

Ребята гурьбой отправились в зал, а я стал прохаживаться в вестибюле. Подходили знакомые и неизвестные мне сотрудники, многие с женами, все принаряженные, праздничные, торжественно-взволнованные. Прошагал мимо начальник отдела Свирский в черном штатском костюме, на лацкане которого золотом отливал знак «Заслуженный работник НКВД», в красивом галстуке. Около меня он на минуту задержался, окинул взглядом с головы до ног, одобрительно хмыкнул:

— Молодец, Шарапов, сразу военную выправку видать. Не то что наши тюхи — за ремень два кулака засунуть можно. — Он закурил «беломорину», выпустил длинную синюю струйку дыма, спросил: — Ну как тебе служится, друг?

— Ничего, товарищ подполковник, стараюсь. Хотя толку пока от меня мало...

— Пока мало — потом будет много. А Жеглов тебя хвалит... — И, не докончив, ушел.

Наверху в фойе играл духовой оркестр, помаленьку в гардеробе стали пригашивать огни, а Вари все не было. Я сбежал по лестнице к вход-

ным дверям, вышел на улицу и стал дожидаться ее под дождем.

И тут Варя появилась из дверей троллейбуса, и, пока она шла мне навстречу, я вспомнил, как провожал ее взглядом у дверей родильного дома, куда она несла найденного в то утро мальчишку, и казалось мне, что было это все незапамятно давно — а времени и месяца не простучало, — и молнией пронеслась мысль о том, что мальчонка подкидыш и впрямь принес мне счастье и было бы хорошо, кабы Варя согласилась найти его в детдоме, куда его отправили на жительство, и усыновить; ах как бы это было хорошо, как справедливо — вернуть ему счастье, которое он, маленький, бессмысленный и добрый, подарил мне, огромное счастье, которого, я уверен, нам с избытком хватило бы троим на всю жизнь!

А Варя, тоненькая, высокая, бесконечно прекрасная, все шла мне навстречу, и я стоял под дождем, который катился по лицу прохладными струйками, и от волнения я слизывал эти холодные пресноватые капли языком. Дождевая пыль искрами легла на ее волосы, выбившиеся из-под косынки, и я готов был закричать на всю улицу о том, что я ее люблю, что невыносимо хочу, чтобы завтра мы с ней пошли в ЗАГС и сразу же

расписались и усыновили на счастье брошенного мальчишку и чтобы у нас было своих пять сыновей, и что я хочу прожить с ней множество лет — например, тридцать — и дожить до тех сказочных времен, когда совсем никому не нужна будет моя сегодняшняя работа, ибо людям нечего и некого будет бояться, кроме своих чувств; и еще я хотел сказать ей, что без нее у меня ничего этого не получится...

Но не сказал ничего, а только растерянно и счастливо улыбался, пока Варя раскрывала надо мной свой зонтик и прижимала меня ближе к себе, чтобы я окончательно не вымок. Мне же хотелось рассказать ей об Эре Милосердия, которая начинается сейчас, сегодня, и жить в ней доведется нашему счастливому подкидышу-найденышу и остальным пяти сыновьям, но Варя ведь еще не знала, что мы усыновим найденыша и у нас будет своих пять сыновей, и она не слыхала в глухом полусне смертельной усталости рассказа о прекрасной занимающейся поре, имя которой — Эра Милосердия...

Поэтому она весело и удивленно тормошила меня, гладила по лицу и говорила:

— Володенька, да ты настоящий герой! И какой ты сегодня красивый! Володенька...

Мы вошли в зал, когда люстру на потолке уже погасили и с трибуны негромко, размеренными фразами говорил начальник Управления. Каждую фразу он отделял взмахом руки, коротким и энергичным, словно призывал нас запомнить ее в особенности. От его золотых генеральских погон прыгали светлые зайчики на длинный транспарант, растянутый над всей сценой: «Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» Мне нравилось, что он не доклад нам бубнил, а вроде бы не спеша и обстоятельно разговаривал с нами всеми и старался, чтобы до каждого дошло в отдельности.

— Никогда перед нами, товарищи наркомвнудельцы, не стояло более серьезной и ответственной задачи, — говорил генерал. — Год прошел после решения МГК ВКП (б) и приказа наркома «Об усилении борьбы с уголовной преступностью». Многого мы уже добились, но оперативная обстановка в городе все еще весьма напряженная. И каждый гражданин вправе нас спросить: как же так, дорогие товарищи, мы Гитлеру шею свернули, мировой фашизм уничтожили, вынесли на своих плечах неслыханную войну, а пойти погулять вечером в Останкинский парк

рискованно, и ночью ходить через Крестовский мост небезопасно?..

Он поднял вверх руки, будто сам и спрашивал нас об этом, и просил объяснить, почему мы дошли до жизни такой.

— ...А ведь люди помнят, что перед войной в Москве уже было практически спокойно! Немалыми усилиями, но своего мы тогда добились: большинство опасных жуликов переловили, выявили и позакрывали все малины, пересажали особо злостных, не желающих завязывать с прибыльным ремеслом, барыг-перекупщиков. Мы официально и абсолютно справедливо объявили об уничтожении в стране организованной преступности...

Он преподнес нам этот факт коротким взмахом, как на ладони.

— ...Но в сорок первом, когда на фронт ушла бóльшая часть сотрудников — можно уверенно сказать: золотой фонд московской милиции, — когда все внимание, все силы, все материальные и людские ресурсы нашей страны были сосредоточены на организации отпора немецко-фашистским оккупантам, здесь у нас зашевелился уголовный элемент. Еще Владимир Ильич Ленин указывал, что уголовник и спекулянт —

первые пособники контрреволюции. Пока наш народ, истекая кровью, защищал великие социалистические завоевания, нашу Отчизну, здесь зашевелились, проросли воровские недобитки, организовались и срослись в шайки и банды, появились малины, расцвели на народной нищете барыги, спекулянты, как пауки, стали пухнуть на общем горе; они радовались, что от голода и бедности любая вещь, любой кусок опять превратится в доходный воровской товар...

Генерал отмахнул рукой так, будто ударом своим сшибал головы всем этим тарантулам, и голос его грозно поднялся:

— ...И сейчас, когда самая страшная в человеческой памяти война позади, еще шевелится это болото. Преступники пользуются тем, что для полного и окончательного искоренения их временно не хватает людей, кадров. Многие опытнейшие сыщики полегли на фронтах войны, новых специалистов пока еще недостаточно, и поэтому мы огромные надежды возлагаем на пополнение, поступающее к нам из рядов вчерашних воинов-фронтовиков. Мы надеемся на их бесстрашие, самоотверженность, высокую воинскую дисциплину, фронтовую смекалку и армейскую наблюдательность...

Варя подтолкнула меня в бок:

— Это он о тебе говорит...

— Товарищи фронтовики! Обстановка не позволяет обстоятельно и не спеша преподать вам курс юридических и розыскных наук. Вы должны учиться, сразу же активно включаясь в работу, беря пример с таких наших работников, как майор Любушкин, капитан Жеглов, майор Федосеев, капитан Мамыкин, майор Мурашко, капитан Сапегин. Вам лучше, чем кому-либо, известен армейский принцип: «Делай, как я!» И если вы сможете делать еще лучше, вы обретете благодарность и признание миллионов московских тружеников, которые вправе от нас потребовать полного уничтожения уголовной нечисти в нашем прекрасном социалистическом городе!

Начальнику Управления дружно и охотно хлопали. Потом объявили приказы о поощрениях и награждениях, и торжественная часть закончилась. Зажегся свет, и мы вышли в вестибюль. Оглушительно загремел духовой оркестр, закружились пары танцующих. К нам подошел радостно улыбающийся Жеглов:

— Слышал, Шарапов, высокую оценку руководства? Давай, бери пример...

Варя улыбнулась и, невинно глядя на него,

сказала:

— А мне показалось, что генерал как раз больше внимания уделил Шарапову. В смысле оценки заслуг перед Родиной...

Жеглов посмотрел на нее снисходительно и засмеялся:

— Ладно ядовитничать! Недаром я читал где-то, что «Варвара» по-латыни или по-гречески, точно не помню, значит «злобная». Ты на ней, Шарапов, не женись, загрызет она тебя. Ты человек мягкий, безответный, а она — ух!..

— Это точно! — кивнула Варя. — Знаешь, Жеглов, я когда с тобой разговариваю, то чувствую, как у меня во рту растет еще три ряда зубов. И все на тебя!

И смотрел я на них обоих с удовольствием, потому что они хоть и ретиво препирались, но весело, без сердца. Жеглов в конце концов махнул рукой:

— Тебя, Варвара, не переговоришь! Идемте, я вас приглашаю на товарищеский ужин. Ты, Шарапов, пока регалии примерял, не забыл про жратву?

— Нет, не забыл. В кармане у меня, в шинели...

— Давай чеши за харчами, а я Варвару твою пока постерегу. Да не бойся, иди, не откушу я

от нее...

Подошли Тараскин с Пасюком, и Коля, заглядывая Жеглову в глаза, просительно сказал:

— Что-то чешется под ушком, не послать ли за чекушкой?

— Ох, бисов хлопец, — хохотнул Пасюк. — Тильки бы ему про горилку!

— Ну да, тебе-то она только в компрессах нужна, — огрызнулся Коля. — Я же для общего веселья...

Появился Копырин, он чинно шел под руку с женой, тощей, еще не старой женщиной, очень ярко одетой и все время вертевшей по сторонам головой. Копырин важно сказал ей:

— Поздоровайся, Катерина, с сотрудниками. Это руководитель наш — Глеб Егорыч Жеглов, выдающий человек...

Проворно крутя маленькой костистой головкой, жена Копырина с нами всеми поручкалась, всовывая нам в руку свою узкую, как совок, прохладную ладошку. «Выдающий человек» Глеб Егорыч не произвел на нее впечатления, а пялилась она главным образом на мои ордена, видимо полагая, что Копырин по своей обычной безалаберности все перепутал и толком не знает, кто у него начальник, и уж конечно им не мог быть Жеглов в его защитной штопаной гимнастерке —

рядом со мной, в парадном мундире, при всех-то регалиях! И все мы, в том числе и Варя, оказывали ей всяческие знаки внимания и уважения, для того чтобы сделать приятное Копырину, который млел от безусловного успеха своей супружницы в глазах товарищей.

В буфете всем давали бесплатный чай, по два бутерброда — с сыром и сухой колбасой — и по три соевые конфеты «Кавказ». Но многие притащили из дома свои харчи, вино и устраивались компаниями у столиков.

— Нам всем толпиться здесь нелепо, — сказал Жеглов. — Пусть Тараскин с Пасюком пока займут стол, а мы сходим потанцуем...

Я был уверен, что за четыре года совсем разучился танцевать, поскольку и до войны не бог весть какой танцор был. Но Варя потащила меня за собой, и я сам не понимал, то ли в ногах тоже какая-то память живет, то ли Варя меня так уверенно вела, а может быть, летел я на крыльях радости, но танцевал я легко и, оттого что в руках моих была Варя и глаза ее светили перед моим лицом, совсем исчез в водопаде обрушившегося на меня счастья.

Духовой оркестр, который Коля Тараскин неуважительно называл пневматикой, старался

не отставать от моды и играл «последний крик» — блюзы и свинги, — но мне это было все равно: кроме выученных еще в техникуме танго и фокстрота, я не умел танцевать ничего. А Тараскин объяснял, что он еще умеет танцевать «линду», но она считается чуть ли не неприличным танцем, и он на всякий случай воздержится.

Потом оркестр сделал перерыв, и на эстраду вышел Боря Шилов, лейтенант из комендантского взвода. Он очень здорово играл на аккордеоне «хоннер», и, когда он разогнал на басах «русскую», в круг ступил Жеглов. Ах как он прекрасно плясал! Мускулистый, весь натянутый как струна, шел Жеглов неспешно по кругу, и, когда он, постепенно убыстряя шаг, раскидывал в стороны руки — широко, легко и радостно, — все девушки одновременно тихо вздыхали: они знали, что он их всех может обнять крепко и ласково. А он, подчиняясь ритму пляски, все быстрее и быстрее перебирал своими блестящими сапожками, и дробь они стучали, как армейский барабанщик «Зарю». И ударил вприсядку, и, опускаясь почти до самого пола, он одновременно хлопал по паркету ладонями и взмывал в прыжке вверх, словно доски подкидывали его цирковой сеткой-трамплином.

— А-а-ах! — выкрикивал Жеглов, сверкая зубами на смуглом лице, вихрем проносясь по кругу, и все разом хлопали в такт, любуясь его ловкостью и стройностью.

Две девчонки выскочили ему навстречу и, поводя круглыми плечами, прикрытыми цветными косынками, наступали на него разом, а только Жеглов бросался к ним, отмеряя каждый шаг четким приступом, как они в притворном испуге подавались назад, и видно было, что они его не боятся, а заманивают. А он не заманивался, он гордо подзывал их к себе, и они плавными утицами бесшумно плыли за ним следом, и все повторялось снова, пока он одновременно обеих не подхватил под руки, и они закружились все вместе под пронзительные крики, посвист и хлопанье зрителей...

Жеглов подбежал к нам, чуть запыхавшийся, красный, с бешеными искрами в глазах:

— Ну, видали, как надо ногами работать?

— Ничего не скажешь, здорово! — засмеялась Варя.

— То-то! — победно крикнул Жеглов и потащил нас за собой в буфет.

Хозяйственный Пасюк уже застелил бумагой два сдвинутых столика и расставил на них наши

припасы, две бутылки водки, казенные бутерброды и чай. С одной стороны рядом с ним сели Тараскин и Гриша Шесть-на-девять, а напротив — Копырин с женой, Варя, я, и только Жеглов стоял еще во главе стола, оглядывая каждого из нас, как он обычно делал, стоя на подножке «фердинанда», готового уже тронуться в путь. Осмотром, видимо, остался доволен, махнул рукой и щелкнул пальцами:

— Тараскин, сумку!

Коля нырнул под стол и достал из клеенчатой хозяйственной сумки бутылку шампанского. Шампанского! Я его давненько не видел. Толстая зеленая бутылка с серебряным горлом и закрученной проволокой пробкой перелетела через стол и плотно легла к Жеглову в ладонь. Мгновение он мудрил с пробкой, и она вылетела с негромким пистолетным хлопком, золотистое вино рванулось, бурля, по граненым стаканам, в каждом стакане бушевала буря пузырьков — во мне вот так же бушевали сейчас пузырьки радости.

— За праздник! За нас! За тех, кого нет с нами! — поднял стакан Жеглов...

Я только пригубил свой стакан и придвинул его ближе к Варе — там всего-то ничего было

налито, и мне хотелось, чтобы ей досталось чуть больше, я ведь мог и водки хлопнуть. И еще меня томила мысль, что, может быть, правда есть в поверье: если пить из одного стакана, то можно узнать тайные мысли; и мне мечталось, чтобы Варя узнала из моего стакана все мои мысли о ней и ничего бы мне не надо было говорить ей о счастливом найденыше и наших пяти сыновьях.

Подошел Мамыкин, сказал со смехом:

— Наш стол вашему кланяется! — И протянул Варе огромную, яростно желтую, насквозь просвеченную солнцем пшенку — горячий кукурузный початок, заботливо присыпанный крупной серой солью. — Ешь, Варюха, на здоровье...

Варя укусила кукурузу, и это было очень смешно — будто на желтой флейте играла, — потом передала ее мне, а я и попробовать не успел: Жеглов выхватил и так грызанул початок своими ослепительными резцами, что там после одного его укуса зерен осталось не больше половины.

Пришел Боря Шилов приглашать Варю на танцы, но Жеглов упредил его, строго сказав:

— У тебя, Шилов, компас есть? Вот и иди, и иди, и иди...

И сам повел Варю танцевать вальс. Я смотрел на них и мучился даже не от ревности, а от того,

что Варя сейчас весело хохочет в объятиях Жеглова и он чего-то ей на ухо говорит и говорит... А как он умеет говорить, я знаю, и лучше было бы, чтобы Варя сейчас была со мной, потому что я-то еще ничего не успел ей сказать обо всех планах, которые одолевали меня сегодня вечером...

Вспышкой, ослепительно и незаметно, промчалось время, смолкла музыка, погасли огни, разошелся народ, и уже в раздевалке Жеглов сунул мне в руки пакет:

— Держи, может быть, сгодится. Меня сегодня дома не будет... — И куда-то умчался, не попрощавшись с Варей. Я разодрал угол пакета и увидел, что в нем бутылка шампанского.

Дождь на улице кончился, только ветер носил водяную пыль и горьковатый запах мокрых деревьев. Желтые лампочки иллюминации засвечивали серый рваный подзор низких облаков, и от этого колеблющегося света лицо Вари было бледно и прозрачно. С шипением вспарывали лужи редкие автомобили, и этот трескучий шорох еще сильнее подчеркивал тишину, непроницаемо-ватную, как замершая у моих губ клубочками пара немота. И воздух затвердел, как желто-серый натек на сосне.

Мы дошли до Лесной улицы, где была оста-

новка трамвая, и мне надо было что-то сказать, что-то сделать, потому что, если Варя перейдет на другую сторону дороги, это путь к ее дому, а если мы останемся здесь, то это маршрут ко мне. Но я будто окаменел, я не мог рта раскрыть, во мне все тряслось от напряжения, от ужасного волнения — я так хотел сказать Варе, что не могу больше жить без нее! И не мог произнести ни слова...

От Савеловского вокзала показался красный завывающий трамвайный вагон. Я взял Варю за руку, я весь подался к ней, но она, не глядя на меня, сказала негромко:

— Не надо ничего говорить, Володя. Я знаю все...

В трамвае было полно свободных мест, но мы стояли на задней площадке, на всех перекрестках и поворотах нас нещадно мотало из стороны в сторону, я держался одной рукой за поручень, а другой крепко прижимал к себе Варю. Полыхала неживым пронзительным светом над головой синяя длинная лампа, а Варя чуть слышно шептала мне:

— Когда я была маленькая, я перед праздниками старалась пораньше лечь спать, чтобы проснуться — и праздник уже наступил. Володя, милый, я все время сейчас как перед праздником,

как перед полетом, как перед удачей. Володя, любимый, я хочу закрыть глаза и проснуться счастливой. Господи, какая радость — жить накануне счастья...

И оттого, что ее волосы были на моем лице и совсем рядом был мерцающий полумрак ее морозных серых глаз, которые казались сейчас сине-зелеными, оттого, что я слышал бой ее сердца под своей рукой, казалась мне трясущаяся и прыгающая трамвайная площадка огромными качелями, замахнувшими меня так нестерпимо высоко, пугающе и сладко, что я закрывал глаза и тихо постанывал, и счастье было острым, как боль.

Я не зажигал света в комнате, мне не хотелось, чтобы Варя видела холостяцкую убогость нашего жилья. И мне помогали машины на улице — они настырно вламывали в комнату молочно-белые дымные сполохи своих фар, и по комнате носились — со стены на потолок и в угол — голубоватые размытые пятна, рвавшие тьму в клочья.

На стуле рядом с кроватью тихо шипело в стаканах шампанское, которое подарил мне мой друг Жеглов. И так же тихо дышала на моей руке Варя, и я боялся шевельнуться, чтобы не

разбудить ее, и я смотрел все время на ее тонкое лицо с чуть запавшими скулами и глубокими тенями под глазами, и сердце мое рвалось от нежности, благодарности и надежды, что с этой девочкой мы проживем вместе сто лет, усыновим нашего найденыша и вырастим пять сыновей, которые в какие-то сроки выйдут на улицы моего огромного города, Города Без Страха, и то, чем занимался много лет их отец, будет им казаться удивительным и непонятным. Они и знать не будут, чего стоило, чтобы на этих улицах, где они гуляют со своими девочками, томимые нежностью и предчувствием завтрашнего счастья, никто никого не боялся, не ловил и не убивал. Им будет казаться, что Эра Милосердия пришла к людям сама — естественно и необходимо, как приходит на улицы весна, и, наверное, не узнают они, что рождалась она в крови и преодоленном человеческом страхе...

Я лежал неподвижно, слушая тихое Варино дыхание, и перед моими глазами проплывали лица — сержант Любочкин, взорвавшийся на заминированном лазоревом лугу, и звероватая цыганская рожа штрафника Левченко, с которым мы плавали через Вислу за «языком», и круглое детское личико Васи Векшина, которого бандит

приколол заточкой к лавке на Цветном бульваре, и все те бесчисленные люди, которых я успел порастерять навсегда за свои двадцать два года, и не давала мне покоя, волновала и пугала мысль — почему мне одному из них досталось все счастье, а им ничего?..

Я слышал в ночи бесшумный гон времени, и в счастье моем появился холодок неприятного горького предчувствия, тонкая горчинка страха: что-то должно со мной случиться, не может человек так долго и так громадно быть счастлив.

Варя, не открывая глаз, спросила:

— Ты не спишь, мой родной?

Я поцеловал ее в плечо и снова поразился, какая у нее нежная, прохладная кожа. Гладя ее вьющиеся волосы и тонкие гибкие руки, я весь сгорал, а она была утоляюще свежая, тоненькая, и пахло от нее солнцем и первыми тополиными листочками, и грудь ее маленькая с нежными лунами светила мне в сиреневом сумраке занимающегося рассвета, а ноги были длинны и прохладны, как реки.

Уткнувшись лицом в ее волосы, я шепнул:

— Варя, давай сегодня поженимся...

Она помолчала немного и, все так же не открывая глаз, ответила:

— Давай, мой родной. Мне так хорошо с тобой, хороший мой...

Я засмеялся счастливо, освобожденно и спросил:

— Варюша, а что же мне подарить тебе на свадьбу? Ведь на свадьбу надо что-нибудь очень хорошее подарить невесте...

Она обняла меня за шею, улыбнулась; я видел, как шевельнулись ее мягкие губы:

— Ты мне подарил себя...

— Ну-у, тоже подарок!

— Ты еще ничего не понимаешь, — сказала она, закрывая мне рот ладонью. — Когда-нибудь ты поймешь, почему я тебя полюбила.

Она положила мне голову на грудь, поцеловала в подбородок и сказала:

— Мы сами не очень-то знаем цену нашим подаркам. Лет сто назад далеко отсюда, в городе Париже, жил студент-музыкант, который очень любил девушку. Но эта девушка почему-то вышла замуж за его друга, и студент подарил им на свадьбу марш, который он написал перед венчанием в церкви Оноре Сен-Пре, — денег на другой подарок все равно у него не было...

— И что?

— Он преподнес подарок невестам всего мира.

— А как звали студента?

— Его звали Феликс Мендельсон-Бартольди...

Мы пришли в ЗАГС к открытию. В помещении, сером, неприбраном, было холодно, стекло в одном окне вылетело, и фрамугу заколотили фанерой. Уныло чахнул без воды пыльный фикус. Пожилая тетя с ревматическими пальцами спросила нас строго:

— Брачевание или регистрация смерти?

Варя засмеялась, а я суеверно сплюнул через плечо.

— И совсем нечего смеяться! — нравоучительно сказала тетя. — С каждым может случиться...

— Мы на брачевание, — сказала Варя, светя своими огромными веселыми глазами, и лицо у нее было розовое с холода, свежее, такое отдохнувшее: и следа не осталось теней под глазами, только заметны были маленькие веснушки на переносице.

— Тогда после праздника приходите. Инспектор сейчас болеет, а я только по регистрации смерти...

— А почему же у вас такое странное распределение? — спросила Варя.

— Потому как со смертью не подождешь, документ срочно родным нужен — кому для похорон,

кому для наследства, кому еще зачем-то. А со свадьбой и подождать можно, пока инспектор выздоровеет. Он вас и запишет по всей форме, как поп в церкви...

Мы расстались с Варей на углу Колхозной — я уже опаздывал к себе в МУР. Она притянула меня к себе, поцеловала быстро и сказала:

— Береги себя...

— А как же! Я тебе вечером позвоню...

— Я сегодня вечером дежурю. Звони завтра. Утром. Жду, мой родной...

* * *

ОБМУНДИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ

Учащиеся нового набора ремесленных и железнодорожных училищ получают полное обмундирование: шинели, костюмы, белье, обувь. 1200 шинелей уже изготовила для московских училищ швейная фабрика им. Клары Цеткин.

«Труд»

Все эти дни я буквально с сумасшедшей настойчивостью преследовал эксперта-криминалиста: меня интересовали результаты стоматологической экспертизы; и вот сегодня, перед обедом, эксперт Родионов позвонил мне по внутреннему телефону и попросил подняться к нему в лабораторию. Мой интерес к этой экспертизе и опасения, которые я в последнее время испытывал, оправдались.

— Ничего утешительного для вас у меня нет, — сказал, разводя руками, Родионов. — По моей просьбе два очень опытных зубных техника сделали слепки из пластической массы по образцу...

Родионов любил выражаться научно и образцом называл надкусанную плитку шоколада, которую мы обнаружили на месте происшествия. Он достал из шкафа и показал мне два желтоватых слепка, на которых отчетливо вырисовывались следы зубов.

— Аналогичным образом мы сделали слепки зубов подозреваемого и потерпевшей, — продолжал Родионов, показывая мне еще четыре зубастые желтые пластинки, отчего мне стало немного не по себе. — И сравнили их как по совокупным, так и по отдельным характерным признакам...

— Ну попроще, Родионов! — поторопил я.

Он даже взглядом меня не удостоил:

— Анализ всех этих признаков побуждает прийти к заключению, что следы на образце не оставлены зубами подозреваемого либо потерпевшей...

Я замер: многое из той картины, которую мы себе нарисовали, основывалось на том, что Груздев, создавая видимость спокойной беседы, принес вино и шоколад любимых марок, дабы усыпить возможную подозрительность Ларисы...

— Извольте убедиться сами... — гудел тем временем Родионов. — У лица, оставившего следы на образце, нижние центральные резцы имеют зна-

чительные промежутки с остальными зубами. К тому же они несколько повернуты вокруг своей оси. Этих признаков очевидно не наблюдается в сравнительных слепках...

Это он был прав, эксперт Родионов, — преодолев отвращение, я сам сравнил слепки, ничего общего между ними не было.

— Надо же, заваруха! — подосадовал я вслух. — Что же нам теперь-то делать?..

— Искать третье лицо, оставившее данный след, — невозмутимо сказал эксперт Родионов, будто мне всего-то и надо было вытряхнуть из карманов содержимое и там среди пятиалтынных, папирос «Норд» и связки ключей обнаружить третье лицо.

Неторопливо спускаясь к нам в кабинет, я размышлял о том, что все в этом деле запуталось окончательно. С самого начала мы полагали, что, желая избавиться от Ларисы и завладеть квартирой, Груздев обманом и угрозой — «Неужели тебе некогда? Решай, иначе я сам все устрою!» — организовал мирную встречу с бывшей женой. Воспользовавшись ее беспечностью, убил, создал видимость ограбления и ушел, весьма несвоевременно повстречав на лестнице соседа Липатникова. На квартире в Лосинке спрятал

пистолет «Байярд» и уговорил сожительницу подтвердить его алиби, вообще-то надеясь, что никому и в голову не придет обвинять его в убийстве. Потом возникла загадочная фигура Фокса, у которого обнаружились вещи Ларисы. Первая версия заколебалась, потому что у Груздева оказался соучастник. А может быть, и исполнитель. Несомненный уголовник, человек, способный на все, даже по мнению любящей его женщины...

Я пришел к себе, уселся за стол, взял лист бумаги и начал рисовать на нем какие-то бессмысленные фигуры. Сейчас бы самый раз посоветоваться с кем-нибудь знающим, опытным, умным. Но Жеглов в эти «мерихлюндии» вникать не станет, скажет: «Опять умничаешь, Шарапов, работать надо...» — а Панков, как назло, выехал на два дня в Калугу на какое-то серьезное происшествие...

А может, они втроем там, у Ларисы, чай пили перед убийством? Непохоже, стол явно был накрыт на двоих. Это еще само по себе не доказательство, но все-таки... Скорей всего, там были все же двое... И что из этого? Ну да, важно знать, кто там был — Груздев или Фокс? Если Груздев, тогда нет вопросов. И его видел сосед Липатников. А если Фокс? Его никто не видел, но... вещи-то у него — тоже трудно представить, что Груздев за-

брал вещи и принес их Фоксу... Тьфу, чертовщина какая-то!

Еще раз, сначала: какие доказательства вины Груздева? Его намерение завладеть квартирой, получить развод. Впрочем, тут еще надо пораскинуть мозгами — мало ли людей хотят завладеть квартирой или получить развод? Сколько угодно! Но ведь они же не идут убивать ради этого? Дальше — он отрицает, что был в этот вечер у Ларисы. Как бы я рассуждал на его месте? Да очень просто: раз был там, значит я и убил. Выходит, лучше отказаться... М-да-а, закруточка... Что дальше? Пистолет «Байярд» в Лосинке. Вот тут уж не открутишься. На этом мы, в общем, и стоим сейчас. Что, если даже не сам убил, то потребовал от Фокса, чтобы тот немедленно принес ему пистолет?..

Прямо башка трещит, никак не могу все эти вещи в одну горсть ухватить. Груздев, Лариса, Фокс, Соболевская, чемодан у Верки, ящерица у Маруськи, пистолет в Лосинке... Груздев и Фокс, Груздев и Фокс... Постой-ка, друже, а почему это Груздев и Фокс у нас все время вместе, вроде близнецов неразлучных? А если их разлучить? Ведь Соболевская ясно сказала, что у Фокса с Ларисой было «серьезно». Не зря же Лариса и с работы уволилась, и деньги из сберкассы вдруг взяла? Тогда

при чем здесь Груздев?.. Ага, при том, что пистолет-то все-таки у него, против такого факта не попрешь... А если они независимо друг от друга...

На этом мои рассуждения прервались, потому что пришел Жеглов и начал накручивать со страшной силой телефон — это только он один и умел за десять минут позвонить в сто мест и со всеми поговорить исключительно содержательно: «Але, Жеглов звонит. Ну как?.. Ага, жми...», или «Але, Жеглов... Значитца, так: сегодня не стоит, завтра посмотрим...», или, наконец, «Петюня, от Гордеича привет, к нему забеги, он скажет...». Я хотел поделиться с ним своими сомнениями, но в это время задребезжал мой внутренний телефон — звонили из лаборатории дактилоскопии. Лаборантка сказала канцелярским голосом:

— Передайте капитану Жеглову, что пальцевый отпечаток на бутылке «Кюрдамира» оставлен не Груздевым, не Груздевой, а третьим лицом. Акт можете получить у секретаря отдела... — И положила трубку.

Опять это треклятое третье лицо! Ох, пора бы уже с ним познакомиться! Я хотел передать это миленькое сообщение Жеглову, но снова меня отвлек внутренний телефон:

— ОББ? Дежурный по КПЗ старший лейтенант

Фурин. Числящийся за вами арестованный Груздев просится на допрос...

Перешагивая, по своему обыкновению, через две ступеньки сразу, Жеглов мне крикнул:

— Все, поплыл наш клиент, сейчас каяться будет!

Я молча кивнул, хотя особой уверенности в этом не испытывал. Ну да что загадывать — через минуту узнаем.

Груздева привели в следственный кабинет сразу же, он угрюмо, не глядя в глаза, поздоровался, опустился на привинченный табурет. Мне стула не было, и, хотя я мог принести его из соседней камеры, я остался на ногах, выглядывая в окно, из которого виднелась внутренность «собачьего дворика» — места для прогулок служебных собак.

Жеглов развалился за следовательским столом, но лицо его было внимательным и сочувственным; я понял, что он хочет подыграть Груздеву, всячески войти в его положение, не раздражать его победным видом. Но Груздев не обращал на Жеглова ровно никакого внимания, он просто сидел на табурете и тоскливо молчал, бездумно уставившись в верхний переплет окна, сквозь которое виднелся голубой кусочек неба и длинное, похожее на бесконечный железнодорожный со-

став, облако. Жеглов понял, что разговор придется начинать ему — не сидеть же здесь до вечера.

— В молчанку играть будем? — спросил он вежливым голосом.

Груздев пожал плечами, скривив тонкие губы.

— Дежурный доложил, что вы хотите поговорить со мной, — сказал Жеглов терпеливо. — Так, нет?

— С вами или с кем-нибудь еще, мне все равно... — разлепил наконец губы Груздев. — С вами меньше, чем с кем бы то ни было...

— Да почему же, Илья Сергеич? — искренне удивился Глеб. — Чем же я-то лично вам досадил? Ведь вот товарищ Шарапов, например, или следователь — мы ведь одним делом занимаемся!

— Слушайте, бросьте вы это словоблудие! — выкрикнул Груздев и еще передразнил: — Де-елом вы занимаетесь! Не делом — то-то и оно, что не делом, невинного человека в тюрьме держите!

— Во-она, значитца, что-о... — пропел Жеглов. Встал, подошел вплотную к Груздеву. — Я-то думаю, заела человека совесть, решил грех с души снять... А ты опять за старое!

— Вы мне не тыкайте! — яростно закричал Груздев. — Я вас чуть не вдвое старше, и я советский гражданин... Я буду жаловаться!..

— Между прочим, это ведь все равно, как обращаться — на «ты» или на «вы», суть не меняется, — сказал Жеглов, возвратился к столу и уперся сапогом в стул. — Какая в самом деле разница будущему покойнику?..

Даже у меня дрожь прошла по коже от тихого и вроде ласкового голоса жегловского, а уж у Груздева и вовсе челюсть отвисла, бледный он стал прямо до синевы. Но держится молодцом.

— Кто из нас раньше покойником будет, это мы еще посмотрим, — говорит. — А засим я с вами разговаривать не желаю.

— А я желаю, — улыбнулся Жеглов. — Я желаю услышать рассказ о соучастнике убийства Фоксе. Я желаю между вами соревнование устроить: кто про кого больше и быстрее расскажет. От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет паровозом, а кто — прицепным вагоном. Понятно излагаю?

Груздев так впился в него взглядом, — видно, что волнуется, но молчит. Потом на меня посмотрел и давит из себя:

— Мне давно, из книжек конечно, известен прием: один следователь грубый и злой, а другой — контратип. И по психологии допрашиваемый стремится к «доброму», чтобы рассказать то, что собирался скрыть... Тем не менее я вас очень про-

шу — уйдите, а с ним вот, — тут Груздев на меня указал, — с ним мы поговорим...

Жеглов расхохотался:

— Добро! Шарапов у нас следователь молодой, но настырный. Пусть попрактикуется, не возражаю...

Мне, конечно, комплимент жегловский не понравился: в моем-то возрасте уже не учеником желторотым — мастером пора быть... Но я, конечно, промолчал, а Жеглов сказал уже в дверях:

— Спасти свою шкуру можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. Как говорится, зуб за зуб, ребро за ребро, а печенка за селезенку... Про Фокса надо все рассказать... пока не поздно... — Захлопнул тяжелую, с «волчком», дверь, и долго еще слышался его смех под аккомпанемент сапожного скрипа, и я почему-то подумал, что Глеб, хоть и не «тыкал» больше Груздеву, но и на «вы» ухитрился к нему ни разу не обратиться. Я сел за стол и сказал попросту:

— Илья Сергеич, я действительно в милиции недавно, и опыта нет никакого, и в юриспруденции этой самой я не очень, но... вот какая штука. Я, когда разведротой командовал, любил к наблюдателю нового человека подсылать — старый ему видимую обстановку докладывал, а тот свежим

глазом проверял. И, представьте, очень удачно это порой получалось, потому что у наблюдателя от целого дня напряженного всматривания глаз, что называется, замыливался; он, чего и не было, видел и, наоборот, не замечал порой того, что внове появлялось. Понимаете?

Груздев, мне показалось, слушал меня с интересом. И кивнул. А я дальше свою мысль развиваю:

— Тут ведь какая штука? У Жеглова, может, и действительно глаз на что-то замылился. Да и характером вы не сходитесь, ну прямо как кошка с собакой, черт побери! Вы мне-то хоть поверьте: не собираюсь я вас делать козлом отпущения. Виноваты — ответите. Невиновны — идите, как говорится, с миром. Но я хочу разобраться. Понимаете — *разобраться*.

— Но вы же не верите ни одному моему слову, — нерешительно сказал Груздев.

— И не надо! — горячо сказал я. — На что нам верить, не верить — нам надо *знать*. Вы мне тоже можете не верить, будем только на факты ориентироваться. Ну, еще... на здравый смысл.

— Хорошо. Если на здравый смысл, давайте попробуем, — согласился Груздев. — У меня тогда сразу вопрос, как раз на здравый смысл. Я, собственно, по этому поводу вас и вызывал.

— Слушаю, — сказал я.

— Мне предъявили заключение экспертизы, из которого следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартной пулей, так, нет?

Я подтвердил, не подозревая еще, куда он клонит. А он продолжал:

— При вас во время осмотра в шкафу нашли пачку фирменных патронов «Байярд», если вы помните, я сам указал, где они лежат. Теперь скажите на милость вы, человек военный, зачем же мне, имея фирменные патроны, заряжать пистолет нестандартным, рискуя, что его в самый ответственный момент перекосит, заест и тому подобное. А? Не знаете? Так я вам отвечу: настоящий убийца не знал, где патроны, и зарядил пистолет первым попавшимся, более или менее подходящим по размеру! Ясно?

— Допустим. Но вот как вы объясните, что пистолет обнаружен в вашей новой квартире?

— Вот! Вот это вопрос вопросов, — задумчиво сказал Груздев. — Им вы меня наповал бьете. Но при желании можно ответить и на него. Я уже ответил — не знаю. А вам — вам надо искать как следует...

Хитер он, конечно, бесовски хитер — я это давно заметил!

— Мы и ищем. И кое-что уже нашли. Поэтому товарищ Жеглов и спрашивал вас про Фокса, — сказал я.

— Я не знаю никакого Фокса! — горячо воскликнул Груздев. — Поверьте, я бы сразу сказал... Я только догадываюсь, что это у него нашли браслет Ларисы — в виде ящерицы. Так или нет?

Все-таки Груздев не тот человек, с которым можно на откровенность идти. И я сказал:

— Это вы не совсем в точку попали, но, как у нас на фронте говорили, действия ведете в правильном направлении.

— Хорошо, — кивнул Груздев, — не хотите говорить, не надо. Но вы же сами предложили разбираться с точки зрения здравого смысла...

— И, главное, фактов, — вставил я.

— И фактов. Но начнем со здравого смысла. Вы во всяком случае исходите из того, что убийца — я. И уже все факты рассматриваете под этим углом зрения. Вы, может быть, этого не знаете, но в науке существует способ доказательства от противного. Допустите на десять минут, что я к этому делу не причастен...

— Да как же это я могу допустить!.. — взвился я.

— Подождите, подождите. Я же говорю, на де-

сять минут. Ну что вам стоит?

— Хорошо, допустим.

— Если это допустить, вся ваша система доказательств начнет рушиться, как карточный дом, — сказал Груздев.

Я вспомнил, как уже пытался сегодня связать все наши факты, чтобы подпереть обвинение Груздева, и как эти подпорки все время ускользали из рук, шатались, не хотели стоять на месте. Ну пусть теперь он их попробует на прочность. Но сказал бодро:

— Интересно поглядеть, как это у вас получится?

— Сейчас увидите, — пообещал он и начал: — Уже на первом допросе вы исходили из того, что, ненавидя Ларису, я решил избавиться от нее. Я действительно любил ее когда-то, но... Долго рассказывать, что там и как у нас происходило, но любовь выгорела — вся, дотла. Вы считаете, что антипод любви — ненависть. Но, поверьте, это вовсе не так! Настоящий антипод любви — равнодушие... И ничего, кроме равнодушия, Лариса у меня в последнее время не вызывала. Квартира... Квартира, как вам известно, моя, и вопрос ее обмена был лишь вопросом времени. Кстати, известно ли вам, что Лара хотела вернуться к ма-

тери, но именно я решил оставить ей часть своей площади? Если нет, спросите у Наденьки, у их матери — они подтвердят. Неужели я произвожу впечатление человека столь нетерпеливого и к тому же столь жестокого, что мне легче убить, чем подождать месяц-два? — Груздев внимательно смотрел на меня, рассчитывая увидеть, какое впечатление производят его слова, но я хоть и думал, что наши мнения здорово совпадают, просто он до конца эти вещи закругляет и додумывает, но виду не подавал, сидел и слушал — давай, мол, излагай, раз условились...

Я протянул Груздеву папиросу, он поблагодарил кивком, заломил мундштук по-своему — стабилизатором, прикурил и продолжал:

— Важной уликой против меня вы считаете заявление этого алкоголика Липатникова о том, что он меня видел на лестнице. Но я вам еще раз говорю: я был там не в семь часов, а в четыре! И Ларису дома не застал, поэтому и написал записку... Я не знаю, как мне это доказать, но помогите мне! В конце концов, почему слова Липатникова ценнее, чем мои? Но ему вы верите безоговорочно, мне же вовсе не верите...

— Ваш сосед — человек незаинтересованный, — подал я голос.

— Ну, допустим. Но он ведь только человек, эраре гуманум эст — человеку свойственно ошибаться... Тем более, как это положено, всех соседей расспросите, осмотрите его часы, — может быть, они врут, — еще что-нибудь сделайте! Только делайте, не сидите сиднем, успокоившись на одной версии. Еще раз мою жену допросите, квартирохозяйку, сопоставьте их рассказы — тут миллиграммы информации могут сыграть счастливую или роковую роль...

— Хорошо, — перебил я его. — Я обещаю вам еще раз все это проверить досконально. Но вы отвлеклись...

— Да. Действительно... — Груздев тряхнул головой, словно освобождаясь от порыва чувств, который он себе только что позволил. — Главная улика против меня, просто-таки убийственная, — этот злосчастный «байярд»...

— Еще и страховой полис... — напомнил я.

— И этот дурацкий полис, о существовании которого я даже не подозревал! Если предположить, что я не имею отношения к убийству...

— То выходит, вы прямо так и сказали Жеглову, что мы их вам подбросили, — встрял я. — А зачем — вы об этом подумали? Наши ребята каждый день жизнью рискуют...

— Подумал, — сказал Груздев твердо. — Вероятно, я был не прав. Не вдаваясь в обсуждение ваших моральных качеств, я подумал, что для того, чтобы эти вещи мне подбросить, вы должны были иметь их сами... А это уже маловероятно. Значит, их подбросил мне убийца, и отсюда следует, что он меня знал. Вот в этом направлении вам и надо искать...

Я невольно усмехнулся: войдя в роль, Груздев начал давать мне указания, будто он сам был моим начальником, а не Глеб Георгиевич Жеглов. Наверное, что-то такое есть в моем характере, если все вокруг меня, только познакомившись, уже пробуют мною командовать. Но я, честно говоря, командиров таких самозванных недолюбливаю, с меня тех хватает, которые по уставу положены. Потому я и сказал Груздеву:

— В каком направлении искать, это вы меня не учите, сообразим сами кое-как!

Он, видно, понял, что хватил лишку, потому что сразу же вроде как извинился:

— Да мне и в голову не приходило... без меня учителя найдутся. Я просто хотел сказать, что самая у вас неблагодарная задача — доказать мою вину. Поскольку я не виноват и рано или поздно это откроется, я в это свято верую, а то бы и жить

дальше не стоило... — Он тяжело, судорожно как-то вздохнул, добавил: — Был такой китайский мудрец, Конфуций его звали, вот он сказал однажды: «Очень трудно поймать в темной комнате кошку. Особенно если ее там нет...»

Поймать в темной комнате кошку — это значит доказать, что он убил Ларису. А кошки в комнате вовсе нет... М-да, это он лихо завернул, красиво, надо будет Глебу рассказать, он такие выражения любит. К слову вспомнилась мне «Черная кошка», и от этого я почему-то почувствовал себя неуверенно, тоскливо мне стало как-то. Помолчал я, и Груздев сидел молча, в камере нашей было тихо, и только на первом этаже слышался смех и крепкие удары костяшками о стол — свободная от караула смена забивала «козла». Ввел он меня все-таки в сомнение, Груздев, надо будет все, о чем он толкует, до ногтя проверить. А я, выходит, никак на него повлиять не смог? Сильнее он меня, выходит? Это было как-то обидно осознавать.

— Илья Сергеич, все, про что мы говорили, — это, куда ни кинь, воображение. Ну поскольку мы вообразили, что вы не виноваты. А факты остаются, и для суда их, по моему разумению, будет вполне достаточно, чтобы вас осудить. А какой будет приговор, вы сами знаете, у вас в

камере Уголовный кодекс имеется. Так не лучше ли сознаться — ведь у вас наверняка какие-то причины были, ну, не уважительные конечно, а эти... смягчающие, что ли. Суд учтет и может вам жизнь сохранить...

Груздев вскочил, лицо и шея пошли у него красными пятнами, он закричал:

— Нет! Никогда! Признаться в том, чего не совершал, да еще в убийстве? Никогда! Как же я жить-то дальше буду, убийцей?.. Не-ет... Уж если мне суждена эта Голгофа... я взойду на нее... я взойду... Не-ет, мой друг, — сказал он глухо, но очень твердо, окончательно: — Раз уж я человеком родился, надо человеком и умереть...

По комнате растеклось, всю ее до отказа заполнило тяжелое наше молчание; каждый думал о своем, а внизу по-прежнему с треском, с хрустом врубали «козла», гомонили, смеялись. На окно, шелестя здоровенными крыльями, слетел сизарь, он заглядывал в комнату и смешно крутил крохотной головкой, словно приглашая выйти из прокуренного помещения, подышать свежим воздухом. Груздев долго смотрел на него, а когда голубь, захлопав крыльями, взлетел в небо, проводил его взглядом, и вдруг лицо его, суровое, сухое, с жесткими складками вдоль рта, утратило

на моих глазах четкость, черты стали расплываться, губы жалко задрожали — Груздев плакал! Я неуклюже попытался успокоить его, и так мне было невыносимо видеть взрослого плачущего мужчину, что я отвернулся к окну, делая вид, что не замечаю его слез, и он сам, видимо, старался сдержаться изо всех сил, и за моей спиной раздавалось тяжелое сопение и храпящие всхлипы, похожие на рычание.

Успокоившись наконец, он сказал:

— Не вижу я выхода! Весь в уликах, — будто меня кто-то нарочно запутал... Я ведь всю жизнь был практическим человеком, но... Я не могу бороться с неведомой тенью, да еще отсюда, из тюрьмы... Я не могу искать в темной комнате кошку... И мне отсюда не вылезти... — Он судорожно вздохнул, как вскрикнул, по-детски, ладонью, утер мокрое от слез лицо, поднял на меня глаза: — Послушай, Шарапов! Я вижу, ты хороший парень, неиспорченный... Пойми, меня может спасти только пойманный настоящий убийца. Прошу, заклинаю тебя всем святым — ищи его, ищи! Найди! Ты сможешь, я верю. Пойми, если вы его не найдете, вы сами станете убийцами — вы убьете ни в чем не повинного человека!..

Я нажал кнопку, вызывая дежурного надзи-

рателя, поднялся, и Груздев крикнул мне, уже в дверях, руки назад:

— Даже если меня осудят, ищи его, Шарапов! Не жизнь, хотя бы честь мою спаси!..

С тяжелым сердцем ехал я в радиокомитет — Груздев не то чтобы убедил меня в своей невиновности, но и мою уверенность в противоположном он размыл основательно. Конечно, стоило бы все это обсудить с Жегловым, но он, скорее всего, назовет меня сентиментальной бабой и поднимет на смех, и я был даже рад, когда после допроса Груздева не застал его в кабинете: умчался куда-то в город. А я решил узнать на радио, когда и какой именно матч транслировался двадцатого октября, во сколько точно кончился, с каким результатом и так далее, — больше полагаться на приблизительные вычисления Жеглова я не хотел.

Совсем молоденькая девчурка — на улице я бы ей больше шестнадцати ни за что не дал — оказалась редактором спортивных передач и дежурила в тот день. Разговор у нас с ней предстоял короткий, по моим расчетам, но, вместо того чтобы ответить путем на мой вопрос, редакторша сама спросила, порывшись в аккуратных папках-скоросшивателях:

— Вас какой матч интересует?

Я удивился — только что я уже сказал ей, что интересуюсь матчем двадцатого октября. На что девица спокойно мне возразила:

— Двадцатого транслировались два матча — конец сезона и очень напряженная таблица розыгрыша...

* * *

В Москве семьсот детских садов. Ежедневно их посещает 70000 ребят. Количество садов все время возрастает. В хорошем помещении на Лефортовском валу создан детский сад для 250 детей. Недавно гостеприимно открыл свои двери для ста маленьких хозяев детский сад в Свердловском районе.

«Вечерняя Москва»

...Меня, как говорил старшина Форманюк, будто пыльным мешком по голове из-за угла стукнули; во всяком случае, редакторша спросила с недоумением:

— Случилось что-нибудь очень серьезное?

— Да, золотко, — сказал я торопливо. — Говорите, да поскорее, какие были матчи, где, во сколько и тому подобное...

Редакторша пожала узкими плечиками:

— Пожалуйста. Двадцатого октября, четырнадцать часов. Трансляция со стадиона «Динамо». Ведущий — Вадим Синявский. Двадцать две тысячи зрителей. Кубок СССР. Играли ленинградский

«Зенит» и московский «Спартак». Счет 4:3. Передача окончилась в пятнадцать пятьдесят пять. Там же — календарная встреча ЦДКА — «Динамо», в семнадцать часов...

— Стоп, девушка, хватит!.. — заорал я и умчался, наверняка оставив у молодой редакторши не самое лучшее впечатление о московских сыщиках.

Когда я вернулся из Лосинки, переполненный самыми поразительными новостями, какие только можно себе представить, Жеглов уже сидел в кабинете за своим столом и сосредоточенно работал над какими-то записями. Он поднял голову, довольно хмуро взглянул на меня, буркнул:

— Ты где шляешься, Шарапов? Время уже к семи, а тебя все нет...

— Сейчас доложу, — пообещал я, скинул плащ, причесался и занял выжидательную позицию. Глеб дочитал записку, перевернул ее вниз текстом, ухмыльнулся:

— Ну, валяй, орел, докладывай. По лицу вижу, сейчас будешь хвастаться.

— Так точно, — сказал я. — Только не хвастаться, а сообщать о результатах проверки. Хвастаться нескромно как-то...

— Ну-ну, скромник... Слушаю.

Я выждал немного, чтобы как в театре, эффект-

но, и сказал:

— Груздев невиновен. Освобождать его надо!

Получилось не так, как в театре, а наоборот, будто бухнул я холостым. Жеглов поморщился, сказал хладнокровно:

— Да ты шутник, оказывается. Ну ладно, шути дальше.

— Я не шучу, — сказал я. — В книжке, которую ты мне дал, написано, что сила доказательств — в их вескости, а не в количестве. И я с этим согласен...

— Тогда порядок, — не удержался Жеглов.

Я не стал заводиться, кивнул:

— Ага, точно. Вот я поговорил по душам с Груздевым и понял, что у нас с ним что-то получается не то. Калибр не такой у человека, чтобы из-за квартиры на душегубство пойти...

Жеглов снова перебил меня.

— Я, конечно, не Лев Толстой, — сказал он. — Но тоже отчасти психолог... И хочу внести некоторую ясность с Груздевым. Почти все сослуживцы характеризовали его как человека скрытного. Да мы и сами в этом убедились. А скрытность обязательно означает притворство, — значит, ложь... Уже одного этого немало, потому что притворщик, врун — потенциальный преступник...

Я эти рассуждения даже дослушивать не стал.

— А если человек скрытный от застенчивости, например? — сказал я, но сообразил сразу, что к Груздеву это, пожалуй, вряд ли относится, и поправился: — Или от скромности? Тоже потенциальный преступник?

Жеглов, конечно, зацепился:

— Скромный он — это да, точно, прямо институточка голубая, чистая, как мак! — И, довольный собой, посмеялся немного, а потом посерьезнел как-то с ходу, будто тряпкой с лица смех стер, сказал: — Давай к делу, что ты бодягу развел...

— Так я и собирался к делу, а ты тут со своей психологией, — сказал я досадливо. — Можешь ты меня минуту послушать, не перебивая?

— Ну?

— Мы рассчитали, что сосед Ларисы видел Груздева на лестнице около семи часов — как раз в это время кончился матч ЦДКА — «Динамо»...

— Ну?

— Ты помнишь, что сосед этот, Липатников, времени не знал, только по футболу мы и сориентировались?

— Так.

— И кто играл, он не помнил, помнишь? Он еще сказал, что не болеет...

— Заладил: «помнил», «помнишь»! Не тяни кота за хвост, что у тебя за привычка!..

— Я не тяну, я хочу, чтобы ты все до мелочи вспомнил — это очень важно. Так вот, на радио мне сказали, что в этот день был еще один матч, «Зенит» — «Спартак», и трансляцию его закончили в четыре. Понимаешь — *в четыре*! Соображаешь, что это значит? — спросил я и протянул Жеглову справку из радиокомитета.

Он взял справку, внимательно прочитал ее, с недоумением посмотрел на меня, повертел справку в руках, будто хотел еще что-нибудь из нее выжать, но больше там ничего не было написано, и он сказал:

— М-да... Это несколько подмывает показания соседа... Но мы ведь на них меньше всего базировались.

— Я извиняюсь, — сказал я запальчиво. — Это, по-моему, подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Сосед что? Он утверждает, что видел Груздева после матча, а когда это было, ему неизвестно. А Груздев сразу сказал, что встретил Липатникова в четыре. Это как будем понимать? Он ведь показания соседа предусмотреть не мог?

— Да черт с ними, с этими показаниями, — сердито сказал Жеглов. — Мы и без них бы

обошлись.

— Пока не обходились. Ты же сам про скрытность Груздева толковал и целую теорию из нее вывел: раз скрывает, что был в семь, значит... и все такое прочее...

Жеглов разозлился всерьез:

— Слушай, орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвокаты идти! Вместо того чтобы изобличать убийцу, ты выискиваешь, как его от законного возмездия избавить.

И оттого, что он разозлился, я, наоборот, как-то сразу успокоился и сказал ему уважительно:

— Глеб Георгиевич, ну что ты на самом деле... Мы ж с тобой одну работу работаем, просто я хочу, чтобы возмездие действительно законное было, — как говорится, без сучка-задоринки. Ты же лично против Груздева ничего не имеешь, верно? Но уверился, что он преступник, и теперь отступать не хочешь...

— А почему это я должен отступать? — рассердился Жеглов.

— А потому, что факты. Вот ты послушай меня спокойно, без сердца. Я после разговора с Груздевым думал много... плюс все делишки Фокса этого растреклятого. Понимаешь, ведь между ними ничего не может быть общего, не могу я себе

представить, чтобы такие разные люди могли промеж себя сговориться как-либо...

— Ты еще много чего не можешь представить, — вставил Жеглов.

— Не заедайся, Глеб, — попросил я его. — Лучше слушай. Соболевская мне малость глаза приоткрыла. Мы с тобой все время считали, что Груздев, в крайнем случае, мог навести Фокса на Ларису, так? Оказывается, Фокс и без Груздева ее знал, и у них были отношения. Серьезные, ну, со стороны Ларисы, стало быть...

Глеб закурил, сильно затянулся, так что щеки впали, сказал:

— Ну-ну, продолжай, психолог...

Я на это не обратил внимания, мне важно было ему все разъяснить, чтобы он, как и я, уразумел расстановку сил.

— Когда я про второй матч узнал, у меня в башке будто осветилось. Ты сам посмотри, все ведь как нарочно складывается: патрон нестандартный, палец на бутылке не его, след на шоколаде чужой. И что в четыре был, а не в семь, вполне возможно. А если в четыре, а не около семи, то остается одна-единственная улика — пистолет...

Глеб снова затянулся и процедил:

— Одна эта улика сто тысяч других перевесит...

— Ага. Вот я и понял, что точно так же может думать Фокс. Поэтому я поехал в Лосинку и расспросил обеих женщин о том, что было двадцатого и двадцать первого октября — подробно, по минутам...

Глеб даже со стула поднялся:

— И что?..

— Утром двадцать первого, часов в одиннадцать, пришел проверять паровое отопление перед зимой слесарь-водопроводчик. Крутился по дому минут двадцать. Высокий, черный, красивый, под плащом — военная одежда. В хозконторе поселка водопроводчик с такими приметами не значится... — Я с торжеством посмотрел на Глеба: — Вопросы есть, товарищ начальник?

Жеглов в мою сторону даже не высморкался. Нещадно скрипя блестящими сапогами, принялся ходить по кабинету из угла в угол, долго ходил, потом остановился у окна, снова долго там рассматривал что-то, ему одному интересное. Не поворачиваясь ко мне, сказал:

— Жена Груздева, чтобы мужа выручить, под любой присягой покажет, что это ты пистолет подбросил. Или расскажет, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем в корчме на литовской границе. Квартирохозяйку тоже можно

заинтересовать. Или запугать. Это не свидетели.

Опять вся моя работа к чертовой бабушке! Беготня, все волнения мои — коту под хвост. Я аж задохнулся от злости, но спросил все-таки негромко:

— А кто же свидетели?

По-прежнему глядя в окно, Жеглов кинул:

— Фокс. Вот единственный и неповторимый свидетель. Для всех, как говорится, времен и народов. Возьмем его, тогда...

Чуть не плача от возмущения, я заорал:

— Но ты же сам знаешь, Груздев не виноват! Что же ему, за бандита этого париться?! У него, может, каждый день в тюрьме десять лет жизни отымает!

Жеглов наконец повернулся, но глядел он куда-то вбок, и голос у него был злой, холодный:

— Ты лишние сопли не разводи, Шарапов. Здесь МУР, понял? МУР, а не институт благородных девиц! Убита женщина, наш советский человек, и убийца не может разгуливать на свободе, он должен сидеть в тюрьме...

— Но ведь Груздев...

— Будет сидеть, я тебе сказал. А коли окажется, что это Фокса работа, тогда выпустим, и все дела. И больше об этом — хватит, старший лейтенант

Шарапов. За дело несу персональную ответственность я, извольте соблюдать субординацию!..

Замолчал он, и мне как будто говорить нечего стало, хотя и вертелось у меня на языке, что Жеглов — это еще не МУР, что во всем этом нет логики и нет справедливости, но как-то заклинил он меня своим окриком: ведь я как-никак военная косточка и пререкаться с начальством в молодые еще годы отучен... В репродукторе голос певца старательно, с коленцами выводил: «В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю-ю-ю...» Только он и звучал в нехорошей тишине между нами, двумя довольно упрямыми мужиками, приятелями можно сказать...

В пепельнице лежали и дымили обе наши «нордины», и случайно залетевший сквозь окно лучик солнца пересекали две струйки дыма — одна ярко-голубая, плотная, другая светлая, почти прозрачная, — и я подумал: как странно, у двух одинаковых папирос дым совсем разный, вот один, голубой, выстлался понизу, вдоль стола, а другой, белый, тянется вверх. Я посмотрел на Жеглова, он снова отвернулся к окну, загораживая весь проем широкой спиной, а я думал о его шуточках, о всей его умелости, лихости и замечательном твердом характере. «Железный

парень наш Жеглов», — сказал однажды о нем Коля Тараскин, и это было, конечно, правильно...

В девять часов утра конвой доставил Ручечника к нам в кабинет. Камера никому, видать, не в пользу — за эти дни он сильно сдал: пожелтело лицо, редкая жесткая щетина прибавила добрых два десятка лет, крупная тяжелая челюсть, придававшая ему мужественное выражение, как-то неуловимо вытянулась, стала просто длинной, старческой, глаза запали и недобро поблескивали из глубоких глазниц. Я усадил его на стул в углу кабинета, и он уставился на свои пижонские штиблеты, которые из-за вынутых шнурков сразу приобрели какой-то жалкий, нищенский вид. Жеглов разгуливал по кабинету, напевая под нос: «Первым делом, первым делом самолеты», я сидел за своим столом, глядя на Ручечника, и длилась эта пауза довольно долго, как в театре, пока он, хрипло прокашлявшись, не сказал:

— Чего притащили, начальники? Покимарить вдосталь и то не дадут...

На что Жеглов быстро отозвался:

— Не лги, не лги, Петр Ручников, тебе спать сейчас совсем не хочется, бессонница у тебя сейчас!

Ручечник спорить не стал, он уныло смотрел куда-то в стену за спиной Жеглова, взгляд был

у него грустный и сосредоточенный. Потом без видимой причины повеселел, попросил у Жеглова чинарик, и тот, лихо оторвав зубами конец папиросы, протянул ее вору:

— На, пользуйся моей добротой... — И, подождав, пока Ручечник сделал несколько жадных затяжек, осведомился: — Не надоело бока давить в нашем заведении?

— Ох надоело, начальник! — искренне сказал Ручечник. — Можно сказать, от одной скуки тут околеешь. Сидит со мною хмырь какой-то залетный — деревня, одно слово, ни в очко, ни в буру не может...

— А на воле благода-ать... — соблазнял Жеглов. — По нынешнему времени ты бы уже огрел бутылочку, поехал бы на бегах рискнул...

Ручечник аж всхлипнул огорченно от таких замечательных, но — увы! — недоступных возможностей:

— Чего толковать, на воле жизнь куда красивше, чем в седьмой камере, да куда денешься? — Он с хрустом потянулся, широко зевнул: — О-ох, тошно мне, граждане начальники, отпустили бы мальчишечку...

— И отпустим, — с готовностью и вполне серьезно сказал Жеглов. — Ты мне Фокса, я тебе

волю. Мое слово — закон, у любого вора спроси!

— Точно. Ты мне волю, а Фокс? — Ручечник опустил голову и говорил тоже серьезно: — Он ведь меня погубит. Фокс — человек окаянный. На первом же толковище не он, так дружки его меня по стене размажут, ась?

Он поднял голову, смерил Жеглова глазами, и ничего в его лице не осталось дурашливого, что было еще минуту назад, а видны были только испуг да тоска по свободе, такой близкой и такой невозможной.

— Не так страшен черт, как его малюют, — построил улыбку Жеглов. — Мы ведь его все равно возьмем...

— Только не через меня, только не через меня, — быстро забормотал Ручечник. — Мне главное, чтобы совесть чиста, я тогда на любом толковище отзовусь...

Глеб пожевал губами, лицо его стало суровым.

— Ты Фокса боишься... — сказал он не спеша. — Напрасно... Тебе пока что меня надо бояться, я тебя скорее погублю, коли ты так...

— Эхма, тюрьма, дом родной! — отчаянно махнул рукой вор. — Отпилюсь на лесоповале — и с чистой совестью на волю! Вы не подумайте, начальнички, что я злыдень такой... — Лицо его

сморщилось, казалось, он вот-вот заплачет. — Что я, вам помочь не хочу? Хочу, истинный крест! Но не могу! Я вам вот байку одну расскажу — без имен, конечно, но так, для примеру. Хочете?

— Ну-ну, валяй, — разлепил губы Жеглов.

— Есть такое местечко божье — Лабытнанга, масса градусов северной широты... И там лагерь строжайшего режима — для тех, кому в ближайшем будущем ничто не светит. Крайний Север, тайга и тому подобная природа. Побежали оттуда однова мальчишечки — трое удалых. Семьсот верст тундрой да тайгой, и ни одного ресторана, и к жилью не ходи — народ там для нашего брата просто-таки ужасный. И представьте, начальники, вышли мальчишечки к железке. Двое, конечно.

— А третий? — спросил я. — Не дошел?

Ручечник сокрушенно покачал головой, вздохнул:

— Не довели. За «корову» его, фраеришку, взяли.

— Как это?! — оторопело спросил я.

— Как слышал. Такие у нас, значит, ндравы бывают. Жизнь — копейка. А уж для Фокса — тем более...

Ручечника увели — дальше разговаривать с

ним было без толку, он явно предпочитал отсидку встрече с Фоксом. Оставалась Волокушина. Жеглов сбегал, переговорил с ней, и она без особого сопротивления согласилась позвонить Ане. Со связистами все было заранее договорено, и не прошло и часа, как мы сидели в маленькой уютной комнате Волокушиной в Кривоколенном переулке, 21. В комнате даже после обыска было чисто и уютно; массивный торгсиновский буфет сиял промытыми резными стеклами, кружевной подзор на кровати и такая же салфеточка под телефоном топорщилась от крахмала, мраморные слоники — семь штук по ранжиру на буфете — сулили счастье, которого Волокушина так жадно хотела, да не дождалась...

После того как Волокушина позвонила по телефону бабке Задохиной, разговаривать нам было особенно не о чем — инструкции полной мерой были выданы по дороге, — мы сидели молча, думая каждый о своем, и только старший сержант Сафиуллин из отдела связи, приехавший с нами для обеспечения нормальной работы аппаратуры, время от времени проверял, не фонят ли наушники, которые он для нас с Жегловым подключил к телефону параллельно. Конечно, прождать можно было черт те сколько — и сутки,

и двое, — но нам повезло: минут через сорок телефон задребезжал, и Волокушина, резко побледнев, сняла трубку. Мы тоже прижали к ушам наушники. Мужской низкий голос прозвучал так, будто звонили из соседней квартиры:

— Света?

— Да, я... — Волокушина глазами, всем лицом, головой показала нам, что это Фокс.

— Где Петька? — требовательно спросил Фокс.

Точно так, как было уговорено, Волокушина зашлась в плаче, сквозь который прорывались отдельные несвязные слова.

— Ты что ревешь, дура? — спросил Фокс злобно. — Говори толком!

— Пе-е-етеньку посадили, — заверещала Волокушина. — Фоксик, миленький, помоги, что же я теперь делать-то бу-у-уду-у?..

— А ты как выскочила? — спросил он подозрительно.

— Его с номерком взяли, на карма-а-ане-е...

— Понял, — сказал Фокс деловито. — Слушай внимательно: я ему помогу, чем возможно. Раз. Ты больше к Аньке не звони, я тебе потом сам позвоню. Это два. Если тебя лягавые возьмут, молчи, как немая. Тогда выручу. Будешь болтать — язык отрежу. Все...

Гудки отбоя возвестили, что разговор окончен, и почти в ту же секунду раздался зуммер полевого телефона Сафиуллина. С телефонной станции сообщили: Фокс звонил из автомата в булочной у Сретенских ворот. Прямо со станции туда уже мчался на машине Пасюк — прочесать с группой сотрудников прилегающую территорию.

Но Фокс как сквозь землю провалился, хотя поработал Пасюк истово. Узнали мы об этом немножечко позже — когда приехали в Управление и выслушали его рапорт.

— Ничего, — утешил расстроенного Пасюка Жеглов. — Он, гад ползучий, от меня не уйдет. Слово чести!

Я видел, что от злости он прямо искрился, словно только что заряженный танковый аккумулятор.

— По домам! — скомандовал Жеглов! — Отдохнуть по силе возможности и в девятнадцать пятьдесят быть у входа в «Савой». Марш!..

* * *

ЭКСПОНАТЫ ИЗ БЕРЛИНА
Выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941–1945 годах, продолжает пополняться новыми экспонатами. В Москву доставлено много образцов боевой техники, отбитой у врага в Берлине, Будапеште и в других районах недавних боев.

«Известия»

Глупо, конечно, но факт — очень я взволновался перед походом в «Савой». Как там ни говори, а все-таки первый раз в жизни собирался я в ресторан. Еще до демобилизации побывал я пару раз в немецких «гештетах», но какой же это ресторан — забегаловка, и все! И еще я очень жалел, что в ресторан я иду искать Фокса, вместо того чтобы нам отправиться туда с Варей, попробовать жареного мяса, выпить винца, потанцевать, и все бы увидели, что я тоже кое-чего стою, коли пришла со мной туда самая красивая девушка.

Но об этом и думать нечего, потому что мы отдали Шурке Барановой карточки, и нам с Жегловым

еще надо смикитить, как дотянуть до конца месяца хотя бы на хлебе с картошкой. Наши талоны на второе горячее блюдо были действительны только для управленческой столовой. Нет, коммерческие рестораны нам пока не по карману!

Об этом и сказал нам Жеглов в автобусе, когда мы остановились неподалеку от входа в «Савой» без десяти минут восемь. Он выдал нам по замусоленной синей сотняге и сказал:

— Деньги казенные, не вздумайте там шиковать на них! Тем более что вовсе не известно, явится ли он сюда...

Все засмеялись: в коммерческом ресторане на сотню зашикуешь, пожалуй! Гриша Шесть-на-девять спросил:

— А чего можно взять на сто рублей?

Жеглов неодобрительно покосился на него:

— Две чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада. Но тебя это все не касается — ты нас вместе с Копыриным будешь здесь дожидаться...

— Ну-у, тоже придумал, я, может быть...

— Отставить разговоры! Вы здесь не прохлаждаться должны, а прикрывать наш тыл. Неизвестно, как там все сложится, поэтому у вас с Копыриным должна быть все время готовность номер один. Не отвлекаться, газет не читать,

байки не травить — все время вы должны просматривать зону перед входом в ресторан. Если случится так, что Фокс придет и вы его опознаете, дайте ему спокойно войти, после чего ты, Копырин, остаешься на месте, а Гришка идет ко мне. Задача вам ясна?

— Чего там неясного! — невозмутимо сказал Копырин.

— Ясна, но мне хотелось бы... — начал Гриша, но Жеглов махнул рукой:

— С тобой все! Теперь задача для Тараскина и Пасюка. Значитца, ресторан имеет два зала в форме буквы «Г». В оба зала есть входы — один с улицы, другой из гостиницы. Вы проходите и садитесь в самом конце второго зала, блокируя вход-выход из гостиницы. Я зайду в ресторан первым и сяду в самой середине — у фонтана, так, чтобы меня видно было из обоих залов. Шарапов двигается замыкающим. У входа в первый зал находится стойка с высокими стульчиками, называется «бар». Вот ты, Шарапов, со своей заграничной внешностью, и будешь нести службу у стойки. Сидеть тебе надо спиной к входу, вполоборота к стойке — тогда ты будешь всех просматривать, а твое лицо почти никто не увидит. Диспозиция ясна?

— Ясна.

— Как только мы уйдем, Копырин отгонит автобус к углу Пушечной и Рождественки — с этой точки вы можете наблюдать оба входа: и в ресторан, и в гостиницу.

Я спросил:

— Что делаем, если опознаем Фокса?

— Спокойно пьем кофе на всю отпущенную финчастью сотню. Не глазеем на него, не дергаемся, не ерзаем. Все сидим на своих местах и ждем, пока Фокс отгуляет и начнет собираться домой или в туалет. Брать его можно только в гардеробе — он вооружен и в зале может положить несколько человек. Начинать по моей команде.

— Последний вопрос, — сказал я. — Глеб, мы его не можем перепутать? Ну, за другим погнаться? Мы ведь его в лицо не знаем — только по словесному портрету...

— Знаем, — твердо кивнул Жеглов. — Есть у меня человек, который его знает... Все, оперативка закончена. Тараскин и Пасюк, на выход!

Через минуту после них ушел Жеглов, а потом и мне отворил дверь своим костылем-рукоятью Копырин:

— Давай, старшой, ни пуха тебе, ни пера, — сказал он мне вслед и хлопнул по спине.

Я отдал гардеробщику свой плащ, потрогал локтем пистолет в боковом кармане, причесался перед зеркалом и поднялся по четырем мраморным ступенькам в зал. Народу было не очень много — я знал, что ресторан работает до трех часов ночи и собираются люди около девяти. Огляделся я быстренько и увидел, что нахожусь около той самой стойки с высокими табуретами, о которой говорил Жеглов. Табуретки, кожаные, мягкие, крутились на шарнире, как сиденья у пулеметной турели, и сверху мне было очень удобно озираться. А зеркала буфета в лучшем виде отражали входную дверь. Ко мне подошла буфетчица и вежливо сказала:

— Добрый вечер, добро пожаловать...

Я даже удивился — чего это она так обрадовалась моему приходу? И тоже ей приветливо сказал:

— Здравствуйте, давненько я не бывал у вас...

Бровки у нее белые, выщипанные, подведенные, крендельки шестимесячной аккуратненько выложены под сеточкой с мушками.

— Что желаете выпить? Коньяк, водка, ликер, коктейль, пунш?

И спрашивает негромко, доверительно, будто о секрете между собой мы сговариваемся и она

мне тоном своим дает понять, что никому не разболтает, нигде не проговорится, что я у нее в баре выпивал.

— Вы мне кофе пока налейте и меню дайте, — сказал я ей тоже по секрету.

— Меню в обеденном зале, а у нас карточка, — сказала она не очень обрадовано.

— Ну карточку давайте, — покладисто кивнул я.

Она ушла варить кофе, а я стал оглядывать каждый стол в отдельности. Прямо передо мной, слева от входа, торцами к окнам стояли четыре стола и к ним были приставлены диваны с высокими спинками, так что сидящие за столом будто в купе поезда находились — их никто не видит, и они ни на кого не смотрят. За стойкой бара вход на кухню, потом зал кончался и переходил в площадку, посреди которой бил настоящий фонтан! Маленький бассейн с медными загородками, а в середине фонтан! В потолок были вмазаны зеркала, и в них я видел дно фонтана, и это было невероятно красиво — по потолку плавали золотые рыбки с пышными хвостами! Это ведь надо придумать такое! Напротив фонтана на маленькой сцене сидел оркестр, а вокруг стояли двухместные столики.

За одним из них уже устроился Жеглов, с ним за столом сидел еще какой-то человек вполоборота ко мне, и с затылка он казался почему-то знакомым. Жеглов прицепил ко второй пуговице гимнастерки крахмальную белую салфетку, и со стороны казалось, будто он готовится к обильному обеду. Это же надо, на сто его рубликов — смех один! Мне с моей табуретки было очень хорошо видно лицо Жеглова, высокомерно-насмешливое, со злым блеском в глазах. Время от времени он что-то цедил своему собеседнику сквозь зубы и учительски помахивал пальчиком у него перед носом. Во дает!

— Вот ваш кофе. И карточка. — Я обернулся к буфетчице, которая протягивала мне дымящуюся чашку и картонку с ценником. Я смотрел на карточку углом глаза, чтобы не терять зал из поля зрения. «Крюшон-фантазия», «Моккоглинтвейн», «Шампань-Коблер», «Абрикотин», «Порто-Ронко», «Маяк». Все очень красиво и загадочно, но все мне не по деньгам. Взял я себе самый дешевый пунш — «Лимонный», пятьдесят шесть рублей порция. Буфетчица смотрела на меня прозрачными белесыми глазами, и лицо у нее было вытянутое, постное, как у сытой утицы.

— И все? — спросила она.

— Пока все, — бросил я ей небрежно, и она стала колдовать с какими-то кувшинчиками, бутылками, бросила в бокал две вишенки и кусок льда. В общем, получалась довольно большая порция — высокий хрустальный бокал. И еще воткнула в него утица длинную соломинку — за бесплатно. У меня еще оставались деньги на чашку кофе — с таким боекомплектом я на этой огневой точке продержусь долго. Вот только одно плохо: все время с кухни мимо меня еду носят. Очень меня все эти запахи сильно раздражали и отвлекали. Уж в тарелки-то я старался и не смотреть! Да как — все мимо меня несут. Особенно хороша была баранья отбивная на косточке — кусок красного, прожаренного, горячего мяса, вокруг него румяная золотистая картошечка, горочкой жаренный на масле лук, соленый огурчик сложен сердечком, а на баранью косточку надет большой бумажный цветок, вырезанный фестонами. У-ух, красота!

Самое обидное, что у меня в плаще, в кармане, лежал завернутый в газету большой кус хлеба. Эх, если бы его можно было сейчас взять сюда и закусить им пунш со сладким кофе — не жизнь бы настала, а малина! Но нельзя, к сожалению: я ведь, предполагается, уже в другом ресторане сытно поел, а сюда так забежал — пуншиком

побаловаться, музыку послушать, станцевать при случае...

Короче, размышлял я обо всей этой ерунде, а сам, облокотившись на стойку, внимательно зал прощупывал — стол за столом, человека за человеком. Офицеры с женщинами, какие-то хорошо одетые гражданские и, что очень досадно, много людишек, по всем статьям смахивающих на спекулянтов. Вид у них какой-то нахальный и в то же время трусливый, женщины с ними шумные, сильно намазанные. Оркестр гремел на всю катушку, и оттого, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне их рассматривать и сортировать было удобно. И все входящие в ресторан мимо меня обязательно дефилировали и, как по команде, рядом со мной притормаживали — осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было.

Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой.

Саксофонист на сцене сказал своим рокочущим

раскатистым голосом:

— Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе. — И джаз заиграл «Сулико».

В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника, тот повернулся, и я чуть не упал со своей шикарной табуретки: за столом Жеглова сидел Соловьев! Дежурный Соловьев! Ну конечно, он-то видел Фокса в упор, и я понял, что имел в виду Жеглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся.

Жеглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне: мол, пусть гад хоть так поможет делу.

Все это время я, естественно, не видел Соловьева, и надо сказать, что у него видик был не преуспевающий. Как-то он весь облез, усох, в изгибе спины появилось что-то трусливое, и, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово, а чего ему улыбаться, и непонятно вовсе — чего уж там ему веселого или доброго мог сказать Жеглов?

Пока я глазел на них, вынырнула у меня откуда-то из-под мышки буфетчица-утица и спросила

своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным:

— Чего-нибудь еще, молодой человек, желаете? — И звучало это у нее так, что, мол, нечего тут зазря высокий кожаный табурет просиживать.

— Желаю, — ответил я ей весело и, посмотрев в глаза долго и внимательно, добавил не спеша: — Кофе сварите мне еще. Мне тут у вас нравится. Я у вас тут буду долго сидеть. Очень долго...

Люди постепенно подпивали, становилось все шумнее, яростнее ревел джаз, быстрее бегали официанты с тарелками и графинами, вертели подносами, махали салфетками, надсаднее выкрикивал в зал саксофонист:

— Тамара Подшибякина поздравляет своего брата Василия, прибывшего из далекой Воркуты! — И джаз взрывался: «Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей», а брат Василий, который, судя по желтым фиксам и косому шраму на роже, в Воркуте не геологом служил, пускался вокруг фонтана вприсядку...

Жеглов сидел, уперши крутой подбородок в сжатые кулаки, и смотрел на бушующих вокруг него людей добрым глазом, и я был уверен, что он изнемогает от желания проверить у них всех документы. Но он не за этим сюда явился сегодня

и потому сидел совершенно неподвижно, слушая, как что-то жалобное лепечет у него под ухом Соловьев.

По залу ходила красивая статная брюнетка очень важного вида, уже в годах, лет за тридцать, в белой наколке на волосах, и катала перед собой стеклянный столик на колесах. На полочках столика лежали коробки шоколада «Олень», печенье «Красная Москва», конфеты «Мишка», бутылки марочного коньяка, папиросы «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Дюшес». Эта самоходная буфетчица подкатывала к столам свое богатство и предлагала мужчинам сделать подарок дамам. Некоторые отворачивались, другие говорили ненатурально бодрым голосом: «У нас своего полно», а третьи брали что-то со стеклянной тележки. Брат Василий из Воркуты взял вазу с фруктами, папиросы и бросил на поднос пачку денег. Я подумал почему-то, что Фокс, наверное, тоже у нее покупает с лотка. Как странно, что за эти глупости и другую подобную чепуху он готов убить человека! Наверное, все-таки уголовник — это немного сумасшедший тип...

Самоходка-буфетчица подкатила ко мне, улыбнулась сахарно, спросила:

— Не желаете взять чего-нибудь? Папиросы?

Шоколад?

Я еще раз посмотрел на ее стеклянную телегу и подумал, что она должна стоить больше моей зарплаты за год.

— Нет, ничего не хочу...

За моей спиной хлопнула дверь, я бросил «косяка» назад: мимо прошел высокий мужчина в военной форме без погон и остановился в середине зала, оглядываясь не спеша, хозяйски в поисках места. Или просто осматривался, не знаю, мне ведь его лица уже было не видно. Я только Жеглова с Соловьевым видел.

— Возьмите тогда «мускат», его в буфете нет... — не отвязывалась от меня самоходка.

— И «мускат» не хочу, — сказал я негромко, но твердо, глядя в сторону Жеглова.

А Жеглов вообще смотрел вбок, будто его больше всего на свете интересовали золотые рыбы в фонтане. Дико гремел джаз: «Путь далекий до Типерери», и прямо в мою сторону было повернуто лицо Соловьева; белое, смазанное во всех чертах, слепое от страха и ненависти, оно обращалось к вошедшему, как немой вопль ужаса и злобы, и я понял, что в десяти шагах от меня стоит Фокс.

И понял, что Жеглов тоже видит Фокса. Я понял это потому, что, глядя в сторону, Жеглов что-то

быстро беззвучно шептал этому трусливому идиоту Соловьеву; он наверняка приказывал ему отвернуться, но тот впал в паралич. Ничто — ни страх наказания, ни позор, ни презрение товарищей — уже не имело над ним власти, и только звериный, животный страх перед Фоксом, видимо напугавшим его на всю жизнь, царствовал над ним безраздельно.

Я соскользнул с табурета на пол, а самоходка мне сказала:

— Вот наверняка понравится вашей девушке печенье «Птифур»...

— Отвяжитесь, мамаша, — сквозь зубы процедил я. — Сколько раз говорить...

Фокс увидел Соловьева, он медленно поводил сухой головой на мускулистой шее, взгляд его замер на Жеглове, равнодушно разглядывавшем рыбок, только мгновение он смотрел на него, и я понял, что побоище разразится именно в зале, а не так, как мы планировали. Он стоял шагах в десяти от меня, и я мог бы броситься на него сзади, но Жеглов приказал: «Начинать по моей команде...»

— Фу, как вы грубо разговариваете! — задудела рядом самоходка. — А еще совсем молодой человек, офицер наверное...

— Отойдите... — успел я сказать. А Фокс быстро обернулся назад, взгляд его метлой прошел по залу, и я понял, что он меня зацепил. Ну и черт с ним, он все равно в мышеловке — впереди Жеглов, сзади я. И мимо меня он не проскочит, это уж будьте уверены!

Фокс еще стоял несколько секунд, будто раздумывая, остаться здесь или идти дальше, повернулся к самоходке и коротко, властно бросил:

— Марианна, иди сюда!

Сейчас он стоял лицом ко мне, и я видел, как поблескивают у него на кителе золотые лучики ордена Отечественной войны. Ну подожди, подонок! И за чужие ордена ответишь!

Самоходка рванулась к нему, забыв обо мне, обо всем на свете:

— Добрый вечер! Здравствуйте, дорогой вы наш!.. Что вы желаете?..

Фокс наклонился над телегой, словно его и впрямь интересовал ее коммерческий гастроном. Он брал в руки бутылки, перебирал неторопливо коробки, а сам исподлобья присматривался к Жеглову и косил в мою сторону. Я сообразил, что он хочет взять в руки пару бутылок для рукопашного боя, и сделал два шага к двери, посмеиваясь в душе: значит, Фокс опасается доставать здесь

пушку, а бутылок его паршивых я не сильно боялся.

— Белый танец! Дамы приглашают кавалеров! — заорал саксофонист.

Все встали со своих мест, я на миг потерял из виду Жеглова, и тут произошло нечто совсем непонятное — Фокс громко сказал самоходке:

— Ну что, давай, Марианна, потанцуем напоследок...

— Мне нельзя... — начала говорить она, но Фокс уже крепко ухватил ее в объятия, и я увидел, что он стоит с ней у пустого столика перед окном. И дальше все закрутилось с невероятной скоростью, безумие и ужас происходящего поглотили меня полностью.

Фокс рывком поднял Марианну в воздух, и она еще не сопротивлялась, лишь по ее лицу, красивому, смуглому, потерянно плыла испуганная улыбка. Ногой она задела свою стеклянную лавку, и по полу со звоном, треском и грохотом покатился весь гастроном. Испуганно вскрикнула какая-то женщина, дико заголосила Марианна, я бросился к ним, видя, как толпу рассекает наперерез Жеглов, но Фокс нас всех опередил. Отшвырнув ногой стулья, он как-то по-рачьи бежал спиной вперед к окну, неуклюже, но проворно. И

стрелять мы не могли, потому что он все время прикрывался визжащей и дергающейся у него в руках Марианной.

Несколько шагов нас разделяло, когда Фокс, упершись головой в живот Марианны, как щитом вышиб ею с ужасным дребезгом и звоном огромную оконную витрину, и они оба вывалились на улицу. В стекле появилась здоровенная дыра с острыми, как сабли, зубьями. И когда я нырнул в эту щель, я видел, как вскочил и побежал по улице Фокс, и одновременно рухнули на меня остатки остекления, и боль ожогами рванула сразу по лицу, рукам, вцепилась в плечи, судорогой полоснула по спине. Я только за глаза испугался в первый момент, но потом сообразил, что ничего им не сделалось: я хорошо видел, как бежит вниз по Пушечной улице Фокс.

— Врешь, гад, не уйдешь, — бормотал я, целясь в него из пистолета, но кровь натекала на веки и мешала поймать его на мушку. Я выстрелил раз, другой — мимо!

Из выбитого окна выпрыгнул Жеглов и почти сразу же за ним — Пасюк и Тараскин. Рядом безжизненно валялась на тротуаре Марианна.

— Стой, Шарапов, не стреляй! — заорал Жеглов. — Некуда ему деться, мы его так возьмем!..

Рядом фырчал уже наш автобус, а я смотрел, как, петляя после моих выстрелов, бежит Фокс, — там улица прямая, насквозь просматривается; и никак я не мог взять в толк, почему он бежит по улице, а не уходит проходными дворами.

— Быстрее в автобус! Гриша, остаешься! — орал Жеглов, подсаживая меня на ступеньку. Я плохо видел, кровь сильнее пошла, а Глеб уже мчался вниз по Пушечной вдогонку Фоксу, за ним припустили Пасюк и Тараскин.

Копырин рванул с места, но мы и пяти метров не проехали, как Фокс прыгнул на подножку медленно движущегося впереди грузового «студебеккера». Мы грузовик раньше в темноте не заметили, а Фокс именно поэтому бежал по улице, рискуя попасть под пули. «Студебеккер» ждал его здесь!

Он свернул на Неглинку и погнал, не включая фар.

Копырин догнал оперативников, они влетели в автобус, и Жеглов крикнул:

— Копырин, не отставай!

— Как же, не отставай! — бормотнул Копырин. — У «студера» мотор втрое...

* * *

В годы 4-й сталинской пятилетки московские заводы будут выпускать три новые марки автомобилей: «Москвич», ЗИС-110 и ЗИС-150.
«Москвич» — это небольшой малолитражный 4-местный автомобиль, окрашенный в серый цвет...

«На боевом посту»

— Давай, давай, давай! — орал Жеглов. — На всю железку жми!

Метров триста было до грузовика, и он ходко набирал скорость. Наш шарабан тоже трясся, как молодой. На Трубной «студебеккер» свернул направо, с ревом попер в гору, и мы завыли от злости — на горе-то мощный мотор себя сразу покажет! Но Копырин вдруг резко крутанул на Рождественскую улицу.

— Ты куда?! Куда, я тебя спрашиваю?! — взвился Жеглов за спиной Копырина.

Тот сердито обернулся:

— В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч! А здеся я!..

— Потеряем! По-отеряем!

— Никуда мы их не потеряем, — спокойно сказал Копырин. — На Сретенке сегодня ночной марш — аэростаты через Кировскую повезут, движение перекрыто. Никуда они от нас не денутся...

Копырин крутанул налево, в Варсонофьевский переулок, выскочил на улицу Дзержинского — и прямо перед нашим носом промчался с гулом «студебеккер» с погашенными огнями. Зазвенела пружина сцепления, глухо пророкотали подшипники в моторе. Копырин врубил вторую скорость и погнал за грузовиком в сторону Кузнецкого моста. Расстояние между нами сократилось метров до двухсот.

Пасюк стирал какой-то ветошью кровь с моего лица, я отталкивал его руку, а боль невыносимо полыхала во всем изрезанном стеклом теле.

От Манежа нам навстречу неторопливо тянулся троллейбус, весь засвеченный голубовато-желтым сиянием.

— Тараскин, около «Метрополя» пост ОРУДа — прыгай на ходу, предупреди их, пусть объявят общегородскую тревогу! — скомандовал Жеглов, но в этот момент «студер» с душераздирающим воем покрышек вильнул налево, на встречную

полосу движения, прямо в лоб троллейбусу — огромная светящаяся коробка его, такая мирная, пассажирская, неуклюжая, просто дыбом встала, осаживаясь на задние колеса под визг и скрежет тормозов, полетели с проводов штанги, погас свет, полоснул воздух оглушительный треск отрываемого буфера. «Студер», надсадно фырча, нырнул в узкий проезд и исчез под аркой...

Нас всех скинуло со скамеек — Копырин, чтобы не врезаться в замерший троллейбус, заложил за его кормой крутой вираж и выскочил через бордюр на тротуар, выровнял автобус и метнулся вслед за грузовиком под арку около первопечатника Федорова. На повороте Копырин еще успел рвануть костыль-рычаг, распахнулась, запарусила дверь, и Коля нырнул в мокрый темный проем на улицу, перевернулся через голову, но, когда я посмотрел в заднее стекло, он уже вскочил и, согнувшись пополам, прихрамывая, бежал к «Метрополю»...

«Студер» снова оторвался от нас на несколько десятков метров и мчался по улице в сторону Красной площади. Здесь он не мог, никак не должен был уйти от нас — там впереди были милицейские посты, они должны перекрыть трассу... На повороте я ударился головой о стен-

ку, и кровь снова сильно засочилась по лицу, я утирался рукавом и почему-то вспомнил о брошенном в «Савое» плаще — в кармане был платок и завернутый в газету довольно большой кус хлеба...

Копырин резко затормозил, крутанул налево руль и сразу же отпустил тормоз — задок автобуса мгновенно забросило вперед, машина повернулась почти перпендикулярно, прыгнула в глубокий черный провал подворотни, и я подумал, что это, наверное, один из хитрых копыринских проходных дворов. Направо, направо, прямо, налево, палисадник, налево, сарай... С пулеметным перещелком досок снес Копырин штакетный забор... удар... направо, ухаб... налево, еще налево, подворотня — вылетели в Ветошный переулок. Налево... Направо...

— Вон он!.. Вон он, гад!.. — закричал Пасюк, показывая быстро удаляющуюся в сумрак тень — «студер» снова был почти рядом и мчался к улице Куйбышева.

— Глеб Егорыч, еще немного — и баллоны мои не сдюжат, — сказал Копырин. — Я ведь просил...

— Давай, давай, отец! Не время...

— В Зарядье он, сука, рвется. Там есть где притыриться...

— Отсеки его! Давай налево...

— Нельзя! Он себе на набережную ход оставит — мне его там не прищучить...

На спуске к улице Разина мы почти настигли «студер», повисли прямо на его хвосте. И тут откуда-то появилась эта треклятая «эмка» — откуда, из какого двора она вынырнула, черт ее знает, но она словно из-под земли выросла между нашим капотом и железным задним бортом «студера»! Пасюк сердито бормотал что-то в усы, скрипел зубами и матерился Жеглов, дергая поводок сирены, которая заклинила в самый нужный момент, а Копырин врубил весь свет, нажал и не отпускал свою бибикалку, и она гудела над ночным городом жалобно, неостановимо и зло. В свете фар нам был виден на заднем сиденье в кабине «эмки» полковник, который, повернувшись к нам, махал кулаком и что-то кричал своему шоферу, который нарочно притормаживал машину и старался закупорить проезд, чтобы остановить нас...

— Ах, идиотство! Ах, дураки! — хрипел в исступлении Жеглов, а «студер» уже вылетел на улицу Разина и поворачивал налево, к Зарядью.

Высунувшись в окно до половины, Жеглов дико заорал:

— Прочь! С дороги! Прочь! Милиция!..

Но в «эмке» его не слышали и всерьез намерились задержать «автохулиганов». В руке у полковника блеснул пистолет.

Жеглов тихо сказал Копырину:

— Давай, отец, сделай его...

— Ох, Глеб Егорыч, — неуверенно бормотнул Копырин. — Ответим за это, ох ответим...

— Ответим, Копырин, мы все время за что-нибудь отвечаем. Давай!..

Копырин вздохнул, дал газ, чуток руля подвернул, выскочил одним колесом на тротуар, сделал еще рывок, поравнялся с «эмкой», дернул налево и столкнул ее с дороги. С воплем разорвалось железо на борту — полосой обшивку вырвало, — «эмку» развернуло в обратную сторону, а Копырин уже срезал угол поперек улицы Разина к Щепотинкину переулку, где промелькнул кузов «студера». Не успели мы его прихватить на зигзагах Зарядья — быстроходный грузовик проскочил на Москворецкий мост. А Копырин давил акселератор на всю железку, удерживая крайний левый ряд, чтобы не дать «студеру» поворот на Болотную площадь.

У вылета Москворецкого моста наглухо горели красные огни светофора, и я увидел, как из орудовского «стакана» вылез милиционер и по-

бежал наперерез «студеру», свистя и размахивая полосатой палочкой. Он добежал до середины проезжей части, и грузовик снова вильнул на встречную полосу, на один миг он заслонил от меня милиционера, и в первую секунду я не смог понять, что это, большое, темное, как мешок, вылетело из-под носа «студебеккера», и только когда фары автобуса полоснули на мостовой безжизненное тело с запрокинутой головой, сразу же исчезнувшее в ночи, Копырин глухо сказал:

— Убили, бандиты...

«Студер» с грохотом, как в трубе, прокатил по булыжнику и погнал к Балчугу, на Яузскую набережную.

— Глеб Егорыч, тут он от нас уйдет! Тут у мотора его ресурс...

Но Жеглов уже лег животом на рамку окна, высунулся наружу, и его длинноствольный парабеллум качался в такт прыжкам машины.

— Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут проклятые!.. — плачущим голосом говорил Копырин.

Жеглов не отвечал, он чего-то дожидался, и выстрел грохнул совершенно неожиданно. «Студер» впереди дернулся, вильнул, но продолжал набирать скорость.

И опять медленно покачивался черный писто-

летный ствол, и капля огня вдруг сорвалась с него, и снова — раз-раз — плюнул он огнем.

Глухо ревел мотор, с воем бились по мостовой старые баллоны, где-то далеко зазвенел трамвай и пронеслась трель милицейского свистка.

И, наповал убивая все эти звуки, ночь треснула подряд несколькими новыми выстрелами: Жеглов стрелял серией, и, глядя на борт «студебеккера», плавно поворачивающего направо, в сторону чугунного парапета набережной, я не мог понять, куда же это бандит направляется, пока с чудовищным гулом «студебеккер» не врезался в ограждение и прошил его, как ножом прошел, и какое-то время еще крутились в воздухе задние колеса, даже дым из выхлопной трубы был виден в свете наших фар, и с мощным плеском, глубоким вздохом усталости и наступившего наконец облегчения, «студер» нырнул в воду...

...Копырин осветил фарами реку, поставив автобус носом на тротуар в том месте, где грузовик сшиб ограду. Здесь было мелко, и «студер» ушел в воду только до кабины.

— Неужели обоих?.. — растерянно спросил Жеглов.

Около нас стали тормозить машины, примчался милицейский мотоцикл, с сиреной подкатила

оперативная машина с Петровки, появились какие-то поздние прохожие. Жеглов приказал одному из милиционеров очистить место происшествия от посторонних.

— Давай, Пасюк, надо в воду лезть, — сказал он, и Пасюк молча стал стягивать сапоги.

— Я тоже полезу, — сказал я.

— Сиди уж, — отрезал Жеглов и крикнул орудовцу: — Вызовите «скорую помощь» и перевяжите нашего сотрудника!..

В этот момент в полузатопленной машине дрогнула дверь, и на подножку медленно вылез Фокс — у него было разбито лицо, кровь текла по рукам, он был черный, мокрый, страшный, и только лучился на свету орден Отечественной войны. Он ухмылялся разорванным ртом, но улыбка была жалкая, неестественная, чужая, как у сумасшедшего.

— Ваша... взяла... граждане... Повезло... вам... — сказал он раздельно.

Жеглов перегнулся к нему через барьер:

— Кому поведется, у того и петух несется. И такая поганая птица, как ты, тоже у меня нестись будет! Лезь наверх, паскуда, пока я ноги не замочил...

Фокс обернулся назад, словно прикидывал,

сколько до другого берега будет, но был тот берег далеко, а Жеглов — прямо над головой.

— Ты еще не угомонился? — спросил Жеглов. — Я ведь тебе уже показал, как стреляю. Вылезай, тебе говорят!

Фокс спрыгнул с подножки в воду, и холода он наверняка сейчас не чувствовал. Он медленно подошел к парапету, поднял руки, и, хоть он протягивал их, чтобы его наверх вытянули, вид у него был такой, будто он сдается.

Жеглов распоряжался в это время:

— Установите пост, вытащите тело второго, дактилоскопируйте его — и в морг, срочно вызовите кран достать грузовик, экспертов из ГАИ известите...

Потом подошел к Фоксу и совсем не сильно, исключительно презрительно дал ему пинка под зад — а большего унижения для уголовника не придумать — и сказал:

— Влезай в автобус, паскуда...

— Подожди! — крикнул я, и оба они обернулись.

Я рванул у Фокса на груди китель и содрал с него орден Отечественной войны.

И поехали все на Петровку, в МУР.

* * *

Десятки предприятий страны выполняют многочисленные заказы строительства газопровода «Саратов — Москва». Сложнейшее оборудование для магистралей и компрессорных станций изготовляют московские предприятия.

ТАСС

Все собрались в кабинете и теперь просто сидели, во все глаза рассматривая Фокса. А он непринужденно устроился на стуле около двери, нога за ногу, и тоже смотрел на нас — с интересом, с легкой ухмылкой, без всякой злости. И все молчали. Фокс достал из кармана красивый носовой платок, приложил его к здоровенной царапине на правой щеке, укоризненно покачал головой. Потом посмотрел на свои руки, окровавленные, изрезанные стеклами, на свои пальцы, измазанные после дактилоскопирования типографской краской, и сказал легко и спокойно, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Одеколончику не найдется, граждане-товарищи сыщики? Я не привык с грязными руками.

Или бензину, на худой конец, а?

Пасюк молча вынул из стола пузырек со скипидаром, протянул Фоксу. Тот вытер пальцы, с поклоном вернул пузырек и, безошибочно выбрав среди нас Жеглова, сказал:

— И долго еще будет продолжаться это представление? Я хочу и имею право знать, в чем дело.

Жеглов долго, внимательно смотрел на Фокса, в прищуренном его взгляде не было ничего особенного, разве что на миг промелькнуло лукавство, словно он на базаре к понравившейся вещи приценивался, да показать продавцу не хотел, вытащил пачку «Норда». Фокс приподнялся со стула, вежливо, без угодливости протянул Глебу коробку «Казбека», мокрую, совсем измятую в схватке. Жеглов, по-прежнему неотрывно вцепившись в лицо Фокса коричневыми ястребиными своими глазищами, небрежным движением руки, не глядя, отвел руку Фокса с «Казбеком», процедил:

— Представление, говоришь? Ну-ну... — Он раскрыл лежавшие на столе документы Фокса, постучал по ним пальцем: — Твои?

— Мои... — вежливо ответил Фокс и, не поднимая голоса, пообещал: — Вам еще придется, гражданин, доставить мне их по месту житель-

ства... в зубах... с поджатыми лапками... — И широко улыбнулся, показав ослепительные крупные зубы с заметным промежутком между передними резцами.

— Ух ты! — фыркнул Жеглов, тоже расплываясь в милой добродушной улыбке. — В зубах? Эко ты, брат, загнул... да-а... — Он повернулся ко мне, кивнул на Фокса: — Нахал парень, а, Шарапов? Тебе небось таких еще видеть не приводилось?

Я помотал головой, а Жеглов заговорил тихо, совсем тихо, но в голосе его было такое ужасное обещание, что даже мне не по себе стало, а уж Фоксу, надо полагать, и подавно.

— Значитца, так, Шарапов, — сказал Глеб Жеглов. — Этот — добыча твоя. Твоя, и не спорь. Посему отдаю тебе его на поток и разграбление. Делай с ним что хочешь, веревки из него вей — разрешаю. Мордуй его, обижай и огорчай сколько влезет, потому что он сам душегуб, ни совести в нем, ни сердца, ни жалости. Дави его, Шарапов, в бога, в мать и святых апостолов, пусть от него, гада, мокрое место останется... Пошли, орлы!

И он поднялся, за ним пошли наши ребята, но в дверях, около Фокса, Глеб остановился и сказал ему:

— Одна у тебя на этом свете надежда осталась

— Шарапов за тебя заступится. Но для этого надо очень сильно постараться. Понял, бандит? — И, не дожидаясь ответа, вышел.

Фокс посмотрел ему вслед, покачал головой и спросил:

— Он что, псих?

— Нет, — ответил я коротко, глядя на его руки — сильные, красивые, смирно лежащие на коленях, с длинными холеными ногтями на мизинцах — и думая о том, что же он успел ими натворить в своей жизни. А Фокс, будто догадавшись, сказал доверительно:

— На руки мои смотрите? Руки артиста!.. К сожалению, жизнь моя пошла по другому пути...

Манжета на правом рукаве его рубашки была разорвана, и я увидел начало татуировки. Я подошел, довольно бесцеремонно завернул рукав и прочитал наколку: «Кто не был — побудет, а был — не забудет».

Фокс улыбнулся и пояснил:

— Ошибки молодости. Пришлось побывать и запомнить навсегда. Чтобы не повторять...

— Вы работаете? — спросил я хмуро.

— Конечно, — живо отозвался он. — Как говорится, кто не работает, тот не пьет... Я снабженец на сатураторной базе...

— А в свободное от снабжения время?

— Буду с вами совершенно откровенен — я играю. На бильярде, в карты, в «железку» — все равно, лишь бы играть. Иногда это мне дорого обходится, но... страсти бушуют! Лишь бы не связываться с Уголовным кодексом — ибо я честный человек, даже не по воспитанию, а по рождению! И теперь это неожиданное задержание! Помилуйте, что же это такое делается?!

Я как можно спокойнее спросил:

— А зачем же вы стекло в «Савое» выбили? От нас зачем убегали?

Он поморщился, как от горькой пилюли:

— Избыток впечатлительности, черт знает что! Мне показалось, что ваш приятель — или начальник, бог его ведает, — ну, в общем, он внешне очень похож на одного головореза, которому я, к несчастью, проигрался в карты. Он предупредил, что если я не отдам долга, он меня зарежет — подумать только! — Фокс закурил, пустил в потолок замысловатую струю дыма, закончил: — Когда я вашу компанию увидел, до ужаса, до беспамятства перепугался и стал спасаться любой ценой... Я, конечно, готов уплатить за витрину ресторана и принести свои извинения Марианне, но... ваш начальник что-то такое, простите, нес,

что в голове не укладывается — это насчет того, что я душегуб, что вы меня раздавите и так далее. Здесь хоть и МУР, но все-таки учреждение, а не малина. Я хотел бы знать, что он имел в виду...

Зазвонил телефон. Эксперт научно-технического отдела Сапожников быстренько сверил свежую дактилограмму Фокса с контрольными материалами и теперь спешил выложить мне ворох новостей: отпечаток на бутылке «Кюрдамира» соответствовал безымянному пальцу левой руки Фокса; отпечатки на карасе-ломике, который мы нашли в ограбленном магазине, — оставил он же, только правой рукой. Фокс что-то говорил мне, но я его почти не слушал, только прикидывал, что еще надо для формы проверить, — по сути, картина была мне уже ясна.

Пришел эксперт Родионов. Он принес в фаянсовой баночке какое-то вязкое вещество розового цвета, стеклянными палочками извлек катышек вроде небольшой картошины и вопросительно посмотрел на меня.

— Что надо делать? — спросил я.

С опаской поглядывая на Фокса, Родионов сказал:

— Пусть он откусит половину массы...

Фокс гордо воздел плечи:

— Это еще что такое?

Эксперт заверил:

— Да вы не беспокойтесь, это безвредно...

— Кому безвредно, а мне, может быть, вредно, — сказал Фокс сварливо.

— Да бросьте выламываться, Фокс, — сказал я ему. — Если вы честный человек, как утверждаете, вы охотно подвергнетесь проверке, так ведь?

Фокс, видимо, не совсем понимал значение опыта, который мы производили, но и роль портить не хотел, поэтому небрежно взял «картошину» и с гримасой отвращения перекусил ее, вытолкнув изо рта остаток массы на стол. Родионов поколдовал немного над ней и спустя две-три минуты подозвал меня; на столе рядом с контрольным образцом лежал гипсовый оттиск откуса от шоколада из квартиры Ларисы Груздевой.

— Он самый, вот поглядите... — сказал Родионов, но я уже и без него видел, что следы зубов одинаковые: щель между передними резцами, поворот их по сравнению с остальными зубами, размер.

Я похлопал эксперта по плечу, мы поулыбались друг другу, и он ушел, а я стал рассматривать сберегательную книжку Фокса. Двести шестьдесят

семь тысяч рублей на ней было! И я сказал:

— Четверть миллиона с гаком... М-да-а... Это все с базы сатураторной... или из бильярдной, а?

Фокс поерзал немного или сделал вид, что поерзал, открыто, по своему обычаю, улыбнулся и сказал:

— У вас, товарищ Шарапов, лицо доброго и милого человека. Оно располагает к откровенности...

Знаю я прекрасно, какое у меня лицо и к какой откровенности оно располагает. Нос мой курносый особенно или гляделки крохотные. Ну-ну, пой, пташечка, пой... Я широко улыбнулся и вопросительно посмотрел на Фокса. А он сказал:

— Поэтому я буду с вами совершенно откровенен. В моем возрасте мальчишество — штука стыдная, конечно... Но я холост, люблю встречаться с женщинами, а женщины, что бы там ни говорили идеалисты, любят людей богатых... А я нищий. Да-да, не удивляйтесь, я нищий служащий, только удача на зеленом сукне позволяет мне изредка сводить свою даму в ресторан...

— А четверть миллиона? — напомнил я.

— Момент, все объясню. Женщина предпочитает, как это ни печально, жадного богача щедрому нищему. Да-да-да! Поэтому любая раскрывает

объятия человеку, у которого на книжке больше четверти миллиона. Неважно, что он прижимист, как я, она рассчитывает своими прелестями заставить его раскошелиться...

Я почувствовал, как волна холодной, просто-таки леденящей злобы подкатилась у меня к горлу: я вспомнил Шурку Баранову, катающуюся по полу на кухне, а потом сразу же — Варю, огромные ее нежные глаза — этот мерзавец своими словами пачкал их, оскорблял, даже не подозревая об их существовании. И нечаянно для самого себя я крикнул:

— Ну-ну, вы потише тут насчет женщин распространяйтесь! Привыкли с продажными...

Фокс перебил меня:

— Да что вы, товарищ Шарапов, я далек от обобщений! Разумеется, я говорю о своих знакомых...

— Давайте-ка лучше к делу. Что там с вашими миллионами?

— А ничего, — спокойно сказал Фокс. — Нет никаких миллионов. Фикция. К предыдущему вкладу в сто рублей я приписал следующую строчку. Проверьте — и узнаете, что, к великому моему сожалению, в сберкассе числятся только сто рублей... — И он широко развел руками, извиняясь вроде за свое легкомыслие.

А я ему поверил. Сразу поверил, даже проверять не стал, потому что все мне стало ясно, все его действия паскудные. И сам он сделался мне неинтересным и противным, как будто я ненароком мышь раздавил. Но арестованного не бросишь, как надоевшего попутчика в купе, и я ему сказал, чуть ли не зевая — мне в самом деле вдруг очень сильно захотелось спать:

— Ты не только снабженец и картежник, Фокс. Ты бандит и убийца. Ты убил Ларису Груздеву, сторожа в магазине на Трифоновской и еще за тобой достаточно всякого водится. За все это ты ответишь. Дай только срок, приедет следователь прокуратуры товарищ Панков, он это дело ведет, и будешь ты мертвее всех своих покойников, понял? Он все оформит, будь спок...

В лице немножко изменился Фокс, но так, самую малость, уставился в окно, сказал без всякого волнения:

— Во-он чего! Клепальщики вы известные, зайцу волчий хвост пришьете, не то что человеку дело...

Я опять разозлился:

— Ты на моих товарищей суп не лей, они из-за таких, как ты, сволочей, под пули идут... И на окно глазеть нечего, оно не на улицу, а во двор

выходит, прямо в собачий питомник. Рискнешь?

Он помотал головой, сказал с укоризной:

— Не думал я, что в МУРе так с людьми обращаются... Ведь это все, что вы наговорили, доказать надо.

— Докажем, не бойтесь, все докажем. И про Ларису, и про «Черную кошку» вашу пресловутую...

— Да не знаю я никакой Ларисы, что вы на самом деле? — с подковыркой сказал Фокс, и я сообразил, что ему ужасно интересно хоть что-нибудь выведать. Ну ладно, сволочуга, ну, пожалуйста, я тебе сейчас подброшу. И я сказал:

— На самом деле мы вот что. Ну, например... Познакомились вы через Соболевскую Иру — она вас еще опознает, погодите, — с Ларисой Груздевой, охомутали ее — это вы умеете. Ввели в заблуждение: любовь на всю жизнь и все такое прочее. Уговорили в Крым переезжать, дом купить и так далее, тем более что двести шестьдесят тысяч на книжке уже есть, на все хватит: и на обзаведение, и на собственный лимузин марки «Хорьх». Плюс друг в драмтеатре. С работы ее сняли, чемоданы велели уложить, деньги, горбом накопленные, с книжки снять...

Зазвонил телефон. Пасюк привез Галину Желтовскую, новую жену Груздева. Я ему сказал:

— Пусть она там посидит, а для нас подбери двух подставных и понятых — будем опознанием заниматься...

Фокс поинтересовался:

— Это Соколовская, о которой вы говорили?

Как будто не знает, что Соболевская, а не Соколовская. Но я его опровергать не стал, а продолжил:

— ...А потом устроили прощальный ужин с «Кюрдамиром» да с шоколадом...

Фокс опять перебил меня:

— Минуточку! Я хочу сделать небольшое признание. Я действительно имел связь с Груздевой. Но, во-первых, не следует мужчине без нужды афишировать это, а во-вторых, знаете, влезать в историю с убийством как-то не хотелось...

Ага, это он сообразил, что коли привезли Соболевскую, то она его сейчас по всем швам опознает, и поторопился со своим «небольшим признанием».

— Ну и что? — спросил я.

— Никакого прощального ужина я не устраивал — вы это все придумали.

— На бутылке остался отпечаток вашего пальца — это уже установлено.

Он подумал немного, потом, пожав плечами,

сказал:

— Это еще ничего не доказывает. Мы действительно пили с Ларисой вино... припоминаю, в самом деле «Кюрдамир», но это было за неделю до несчастья! Тогда и палец мог остаться...

Я подошел к сейфу, отпер его и достал бутылку из-под «Кюрдамира», ту самую, аккуратно взял ее, уперев горло и донышко между ладонями, подозвал Фокса:

— Смотрите на свет. Вот отпечаток безымянного пальца вашей левой руки. Тут и другие пальцы есть, но нечеткие...

— Угу, вижу, — охотно подтвердил Фокс.

— Значит, вы утверждаете, что оставили эти следы за неделю до убийства?

— Точно, числа 11–12 октября...

— Тогда внимательно посмотрите на оборотную сторону этикетки...

Я включил настольную лампу, поднес к ней бутылку. На просвет сквозь зеленое стекло отчетливо просматривался штамп: «18 окт. 1945». Не дожидаясь его новых выдумок, я сказал:

— Вы, конечно, можете сейчас «вспомнить», что пили «Кюрдамир» не за неделю, а за день до убийства, но пора уже сообразить, что все эти враки ни к чему...

— А я и вспомнил... — начал с наглой улыбкой Фокс, но отворилась дверь и вошел Пасюк, ведя за собой двух рослых молодых людей.

— От ци хлопци будут подставные, — объяснил он. — Понятые в коридоре.

— Так пригласи их сюда...

Вошли понятые — две седенькие старушки, исключительно похожие друг на друга и, как выяснилось, родные сестры. Старушки дожидались в коридоре допроса как потерпевшие, по какому-то делу, там их и нашел Пасюк. Я разъяснил собравшимся цель и порядок опознания, потом предложил Фоксу занять место среди подставных — опознавать надо было из них троих.

Открылась дверь, и вошла Желтовская — испуганное милое лицо, мягкие ямочки на щеках. Она, видимо, не понимала, что происходит, и от этого волновалась еще больше — лицо было бледно, губы тряслись, глаза поминутно заволакивались слезами.

— Гражданка Желтовская, не волнуйтесь. Успокойтесь, — сказал я с досадой. — Сейчас вы осмотрите троих молодых людей. Не спешите, будьте внимательны. Если вы кого-нибудь из них узнаете, скажете нам. Предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний. Вот

эти люди. Посмотрите на них...

Опознаваемые сидели вдоль стены. Желтовская остановилась посреди кабинета, молча смотрела на них, и я даже забеспокоился: неужели не опознает? А потом понял, что она их просто не видит — глаза в слезах, взгляд отсутствующий.

— Желтовская, я еще раз прошу вас успокоиться, — сказал я как можно мягче. — Посмотрите на этих людей.

Она неожиданно как-то по-детски всхлипнула, кусая губы, удерживала рыдания. Потом вытерла платочком слезы и сказала:

— Вот этот... — И кивнула на Фокса.

— Как его имя, давно ли вы его знаете, при каких обстоятельствах познакомились?..

— Имени я не знаю, — почти шепотом сказала Желтовская. — Мы не знакомы. Этот парень — слесарь из жилконторы в Лосинке.

— Вы его часто видите? — «накинул» я.

— Да нет, я вообще его видела один раз — в тот злосчастный день, когда Илью... — И она снова расплакалась.

— А что произошло в тот день? — настырно выяснял я.

— Он пришел к нам проверить отопление...

— И вы вот так, сразу, его запомнили? — спро-

сил я вроде с недоверием.

Она развела руками, ответила просто:

— Да.

— Что вы делали, пока он занимался отоплением?

— Я была на веранде, заканчивала автореферат... Потом он вышел из кухни, сказал, что все в порядке, и ушел. Вот и все, собственно...

Пасюк увел всех из кабинета, остался со мною один Фокс, но что-то не было у меня ни малейшего желания дальше разговаривать с ним. Да и он не проявлял инициативы — ждал, что скажу или сделаю. А я подумал немного и предложил:

— Рассказали бы вы, Фокс, все чистосердечно, как есть. Ведь за вас ни в чем не повинный человек в камере мается. Совесть-то надо иметь, хоть немножко?

На что Фокс сказал дерзко:

— Он не из-за меня мается. Вы же его посадили, не я...

Не мог я с ним спорить, ну, будто оторвалось что-то внутри. Но и на полслове не остановишься.

— Спорить не будем. Нам все про вас известно — вы активный участник банды. За вами убийство Груздевой...

В кабинет вошли Жеглов и Панков. И я очень обрадовался, что мне можно прекратить этот мучительный для меня допрос. Я поздоровался с Панковым:

— Сергей Ипатьевич, вот этот самый пресловутый Фокс. Вы с ним прямо сейчас займетесь?

Панков кивнул.

Не глядя на Фокса, не спеша снимал он в углу свои красно-черные броненосцы, подвешивал зонтик на гвозде, размеренными движениями протирал старомодные очки без оправы, с желтеньким шнурком, трубно сморкался в клетчатый платок, и ничего в его сутулой тщедушной фигуре и сером морщинистом лице не выдавало волнения или интереса: «Бандит и убийца ваш Фокс, за это ответит в точном соответствии с законом, стоит ли еще волноваться из-за всякой дряни?..»

И Жеглов, не обращая внимания на Фокса, сказал мне:

— Хорошего шоферюгу подобрал он себе...

— А что? — поинтересовался я.

— Его уже дактилоскопировали. Помнишь заточку, которой накололи Васю Векшина?

— Да...

— Отпечатки пальцев на ней те же, что и у

шофера, которого я застрелил, — сказал Жеглов и повернулся к Фоксу: — Ты шофера Есина, что тебя на «студере» возил, тоже не знаешь, конечно?

— Впервые увидел около ресторана, — прижал руки к сердцу Фокс.

— Ну и черт с тобой! — кивнул Жеглов. — Пошли, Шарапов...

Я сказал Фоксу:

— Это следователь прокуратуры товарищ Панков. Я вам уже говорил, он будет заканчивать дело. Он его и в суд оформит.

Фокс вежливо кивнул головой. А я, уступив Панкову место за столом, взял Глеба за плечо, и мы вышли в коридор. Настала наконец пора заниматься Груздевым.

Мимо съежившейся на скамейке Желтовской мы прошли в соседний кабинет. Допотопные деревянные часы с римскими цифрами, висевшие на стене, вдруг заперхали, закашляли и пробили четыре раза. Жеглов устало потянулся, сказал мечтательно:

— Эх, тарелочку бы супу сейчас... Так хочется горяченького. Как, Шарапов, не отказался бы от рассольника, а? С потрошками гусиными?

— Я бы лучше щей поел. И баранью отбивную на косточке. Но поскольку «Савой» далеко, а

столовая откроется только утром, придется отложить этот вопрос. Давай с Груздевым решим.

— А что с ним решать? — легко сказал Жеглов. — Завтра с утречка вызовешь его да отпустишь. Напишешь постановление об освобождении от моего имени, я подпишу — и все дела. Меня сейчас больше Фокс занимает...

— А меня Груздев, — покачал головой я. — Хоть Фокс и крепкий орешек, да куда он от нас денется? Выспимся — и возьмемся за него всерьез. Все улики по-настоящему против него. Неужели уж ты его на таком материале не расколешь?

И тут Жеглов очень удивил меня.

— У тебя опыта нет, Шарапов, — уныло сказал он. — Иначе ты бы знал: такие, как Фокс, не колются. У них воровской закон сам по себе ничего не стоит — они из материалов дела исходят: и чем больше улик, тем труднее их заставить сознаться.

— А какая здесь логика?

— А такая, что они понимают: суд в их бумажное раскаяние не поверит, все равно отвесит на полную катушку. Вот они и оставляют себе шанс свалить обвинение на кого-нибудь из лагерных, кто согласится взять на себя — бывает и такое... Так что нам его самим изобличать придется — до

фактика, до словечка, до минутки.

— Ну что ж... Не знаю, как ты, а я готов для него постараться! Я ведь таких негодяев не только сроду не видел, даже в книжках не встречал...

— Ну и добро... — кивнул Жеглов. — Давай домой собираться, что ли? Двадцать часов на ногах...

— А Груздев?

— Так я же сказал тебе: ночь на дворе, что мы его будем с постели поднимать?..

— Я думаю, с той постели и среди ночи помчишься. И жена его здесь...

— Теленок ты, Володька. Им и домой-то добираться не на чем!

— Ничего, я думаю, они в крайнем случае пешком пойдут. Ну давай закончим с этим, Глеб, и тогда уж домой.

— Да ты не понимаешь, это ведь на час бодяга...

Мне надоело с ним препираться, и я сам снял трубку, вызвал КПЗ, велел дежурному направить к нам Груздева. Жеглов лениво проворчал:

— Ты, салага, хоть сказал бы дежурному, что с вещами. А то возвращаться придется...

Да, об этом я не подумал. Я перезвонил дежурному — и он в самом деле меня не понял, решив, что мы вызываем Груздева на допрос.

— А коли так, то требуется постановление, — сказал дежурный.

Я заверил его, что сейчас же принесу сам, и Жеглов милостиво согласился продиктовать мне коротенький текст. Постановление заканчивалось словами... «...Изменить меру пресечения — содержание под стражей — на подписку о невыезде из города Москвы». Тут мы опять заспорили — мне казалось правильным написать: «освободить в связи с невиновностью», но Жеглов сказал:

— Ну что ты, ей-богу, нудишь? Если мы так напишем, начнутся всякие вопросы да расспросы. Без конца от дела отрывать будут, а у нас его, дела-то, полны руки! Если же изменение меры пресечения — это никого не касается. Следствие само решает, под стражей обвиняемого держать или под подпиской, понял? Закончим с Фоксом, тогда и для Груздева подписку отменим...

Я действительно в тонкостях этих еще слабо разбирался, не представлял себе, каково человеку жить под подпиской — это ведь значит находиться под следствием; у меня было одно желание — как можно скорей выпустить Груздева на свободу. Поэтому я мирно согласился, дождался, пока Жеглов поставил на бумаге свою знаменитую, в

пятнадцать колен, подпись, и сбегал в КПЗ. Жеглов тем временем наведался к Панкову, который успел добиться от Фокса твердого уверения в том, что он никогда никаких преступлений не совершал, что все наши доказательства — это чистейшая «липа номер шесть» и следствие никоим образом не должно рассчитывать на какую-нибудь иную позицию в этом, как выразился Фокс, жизненно важном для него вопросе.

— Значитца, так, Шарапов... — сказал мне Жеглов. — Ты тут выруливай с Груздевым, а я пойду еще с Панковым посижу для приличия...

— А с Груздевым попрощаться не думаешь? — спросил я.

— Чего мне с ним прощаться? — холодно сказал Жеглов. — Он мне не сват, не брат...

— Я думаю, перед ним извиниться надо, — нерешительно сказал я.

Глеб захохотал:

— Ну и даешь ты, Шарапов! Да он и так от счастья тебе руки целовать будет!

Мне это не показалось таким смешным — не за что было, по-моему, Груздеву нам руки целовать.

— Мы же невиновного человека засадили, Глеб, — сказал я. — Мы его без вины так наказали...

— Нет, это ты не понимаешь, — сказал Глеб

уверенно. — Наказания без вины не бывает. Надо было ему думать, с кем дело имеет. И с бабами своими поосмотрительнее разворачиваться. И пистолет не разбрасывать где попало... — И повторил еще раз, веско, безоговорочно: — Наказания без вины не бывает!

Не понравилось мне это рассуждение, такое чувство у меня было, что все-то он ухитряется наизнанку вывернуть, поставить с ног на голову. И я продолжал упрямо:

— Ты мне мозги не пудри! Я просто по-человечески разбираюсь. Заставили человека страдать? Заставили. Не виноват? Извинитесь: не по своей ведь прихоти сажали, так уж, мол, обстоятельства сложились. Будьте здоровы и не поминайте нас лихом. Это, по-моему, будет по-людски.

Жеглов снова засмеялся:

— Да пойми ты, чудак, что ему наше «извините» нужно не больше, чем зайцу стоп-сигнал. Не в словах суть, а в делах. Вот ты его сейчас отпустишь — это есть для него главная суть. А слова что? Ерунда! Помнишь, я как-то начал тебе свои правила перечислять?

— Ну?

— Нас перебило тогда что-то. Но сейчас я закончу: вот тебе еще два правила Глеба Жеглова,

запомни их — никогда не будешь сам себе дураком казаться!.. Первое: даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы смертельно оскорбить человека. И второе: даже «сволочь» можно сказать так, что человек растает от удовольствия. Понял? Действуй! — Он весело хлопнул меня по плечу и направился к двери.

Опять он верх взял, опять я в дураках остался, и такая меня, сам не знаю почему, злость взяла, что крикнул я ему вслед:

— Я еще одно правило слышал — можно делать любые подлости, подставляя человеку стул. Но мягкий... К остальным его присоедини, подойдет, ты слышишь, Жеглов?!

Но он даже не обернулся, до меня донесся лишь скрип его сапог и песня: «...Первым делом, первым делом самолеты...»

Я посидел немного без всякого дела — просто чтобы успокоиться. Часы показывали пять. Хотя в голове плавал какой-то туман, спать уже не хотелось, да к тому же саднили порезы от витрины «Савоя», особенно на лбу. Вдруг я вспомнил, что сейчас должны привести Груздева, а Желтовская сидит в коридоре. Я торопливо выглянул из двери и позвал ее к себе в кабинет: мне вовсе не хотелось, чтобы она видела, как конвой поведет

— руки назад — ее мужа.

Она вошла, отупевшая от переживаний, от бессонной ночи, по-прежнему не зная, что ее ждет: ведь Фокс до сих пор оставался в ее глазах поселковым водопроводчиком, и она наверняка не могла взять в толк, какое он имеет отношение ко всем этим делам. Я усадил ее, предложил воды из графина, она покорно отпила несколько глотков, потом подняла на меня покрасневшие глаза, ожидая вопросов. Но я молчал, и тогда, набравшись храбрости, спросила она:

— Скажите, ради бога, скажите, что же это происходит? Ведь Илья Сергеевич ни в чем не виноват...

— Я знаю... — начал я и услышал шаги в коридоре, ровный солдатский топот конвоя и не в такт шаркающую неровную поступь арестованного.

Я замолчал, посмотрел на дверь, и в этот момент шаги приблизились, затихли. В дверь постучали:

— Разрешите? — И конвоир заглянул в кабинет.

Я кивнул, и он ввел Груздева, всклокоченного, в измятой одежде, в которой он спал на нарах — постели тогда не полагалось. Даже сквозь недельную щетину было видно, что лицо его отечно, бледно характерной землистой серостью

заключенного, веки припухли, почти закрывали красные измученные глаза. Груздев глянул на меня, и тут же его взгляд метнулся к женщине — в ней был главный интерес арестованного: кого привели к нему на допрос, что ждать ему от свидетеля?!

И в тот же миг он узнал Желтовскую и бросился к ней. Она поднялась Груздеву навстречу, но он остановился на полпути, с мольбой посмотрел на меня — уже сказалась привычка жить не по своей воле. Я кивнул ему, а конвоиру знаком показал: «Свободен!» — и он ушел. Груздев обнял Желтовскую, на какое-то мгновение они замерли, потом послышались всхлипывания и голос Груздева:

— Не надо. Галочка, нельзя... не надо.

Я не смотрел в их сторону, только чувствовал, как жарко полыхало у меня лицо от невыразимого стыда за то, что я принес этим людям столько горя. Я сидел, отвернувшись к окну, и, может, впервые в жизни думал о том, что власть над людьми — очень сильная и острая штука, и, может быть, именно тогда поклялся на всю жизнь помнить, какой ценой ты или другие должны заплатить за сладкие мгновения обладания ею...

Груздев кашлянул, и я повернулся к ним. Они стояли уже врозь и смотрели на меня с бесконеч-

ным ожиданием и надеждой. Кивнув на тощий узелок, брошенный у двери, Груздев медленно спросил:

— Меня... что... в Бутырку... или... — Голос его предательски дрогнул, он закашлялся, замолчал, только глаза впились в меня с мучительным вопросом.

Мне захотелось встать, торжественно объявить ему постановление об освобождении, но тут же устыдился этого желания — я ведь не награждал его свободой, она была его правом, его собственностью, которую мы походя, силой обстоятельств, силой своей власти отобрали, и гордиться тут было вовсе нечем. По-прежнему сидя, я просто сказал ему:

— Илья Сергеич, дорогой, я очень рад за вас — мы поймали Фокса, настоящего убийцу... Вы свободны...

Груздев секунду стоял неподвижно, будто не веря своим ушам, он даже закачался с закрытыми глазами, и я испугался, как бы он не упал, но он издал вдруг какой-то совершенно невнятный торжествующий крик, бросился ко мне и стал обнимать, прижимать к себе, и, может быть, потому, что был я совсем неопытный сыщик, но я тоже от души обнимал его, пока мы оба не за-

стеснялись этого порыва, и он чуть отодвинулся от меня и проговорил:

— Это вы все, Шарапов, голубчик вы мой, милый вы мой... Я в вас сразу поверил... Я вам все время верил... Спасибо вам сердечное, всю жизнь вас помнить буду... — И еще что-то в этом роде несвязно, со слезами бормотал Груздев, и я уже почти не слушал его, я думал о том, что Глеб Жеглов снова оказался прав, когда говорил, что Груздев будет нам руки целовать за свое освобождение, но меня не радовало это прекрасное жегловское знание человеческой сути, самого ее нутра, потому что человек подчас не волен в своих чувствах и поступках, и в неожиданной радости, и в горе — все равно. А сейчас речь шла не только о Груздеве, но и о человеке по имени Жеглов, и о человеке по имени Шарапов, и о всех тех, кто имеет право сажать людей в тюрьму, и о тех, других, кому выпадает горькая беда попасть в наше заведение, и о том, какие отношения, какие чувства это все между теми и другими вызывает. Но ничего этого я Груздеву, конечно, говорить не стал, у меня был свой долг, и я был обязан его отдать.

— Илья Сергеич, все сложилось так, — сказал я, глядя ему в глаза, — ну, что сомнений в вашей ви-

новности не было... И поэтому вас арестовали...

— Да я все понимаю! — горячо перебил меня Груздев. — О чем тут говорить...

— Тут есть о чем говорить, — сказал я твердо. — Я должен извиниться перед вами и за себя... и за своих товарищей. Мы были неправы, подозревая вас. Извините, и... вы свободны. Я вас провожу на выход...

Желтовская крепко обхватила Груздева, словно боясь, что я передумаю, а он, погладив ее по голове, протянул мне руку:

— Прощай, Шарапов. Ты хороший человек. Хорошо начинаешь. Побольше бы таких, как ты... Будь счастлив...

Уже на выходе, помявшись немного, он сказал:

— В нашей жизни очень важно правильно оценивать людей. Особенно если они твои друзья...

Я с удивлением посмотрел на него — к чему это он? А Груздев, будто решившись, закончил:

— У меня характер прямой. Ты меня извини, но я тебе скажу так: плохой человек твой Жеглов. Ты не подумай, я не потому, что с ним сцепился... Просто для него другие люди — мусор... И он через кого хочешь переступит. Доведется — и через тебя тоже...

Забрезжил серый сырой рассвет. На улицу

выходили дворники с метлами, по всему телу расплывалась уже ничем не сдерживаемая усталость, а я все стоял на тротуаре около первого поста и лениво размышлял о том, как подчас мы торопимся обвинить, осудить человека. Вот и Груздев сейчас сказал о Жеглове злые слова и ушел с горечью и ненавистью в сердце, даже не подозревая, что во имя того, чтобы мог он сейчас в предрассветном осеннем сумраке идти с любимой женщиной домой, Жеглов всего несколько часов назад без всяких колебаний бросился в схватку с Фоксом и бог весть, чем эта схватка могла кончиться...

* * *

ПЕРВЫЙ ЗАМОРОЗОК

Сегодня утром крыши Москвы покрылись инеем. Этот первый «белый утренник» наступил на месяц позже среднего срока. Инеем покрылись поля и лесные поляны. В еловые и лиственничные чащи заморозок еще не проник.

Заметки фенолога

Дыма табачного набралось в кабинете больше, чем когда бы то ни было: Свирский курил трубку, выпуская из черного обкуренного жерла каждые три секунды целое облако — мы четырьмя «нординами» за ним поспеть не могли. Собрались сегодня попозже, успев выспаться после вчерашнего, и вот уже добрых полтора часа обсуждали, как изловить банду. Заново зарядив свое «орудие» и шарахнув очередным залпом густого пахучего дыма, Свирский подытожил:

— Конечно, прекрасно, что вы взяли Фокса. Судя по всему, это один из активнейших участников банды...

— Если не главарь... — подал голос Жеглов.

— Да. Но в то же время у нас до безобразия мало каких-либо выходов на остальных. Предположение, что они базируются на район Сретенки, Марьиной рощи, следы ног, отрывочные сведения о внешности еще одного бандита... Все это даже не корыто, и будут ли к нему свиньи, очень пока не ясно. Конечно, можно подождать, не скажет ли Фокс...

— Не скажет, — утешил Жеглов. — На его разговорчивость рассчитывать не приходится.

— Изворачивается до последнего, — поддержал я. — Даже очевидных фактов не признает, все наотрез. Добром от него ничего не добьешься...

— Надо его подмануть, сукинова сына, — неожиданно предложил Пасюк.

— Да? А как? — с надеждой посмотрел на него Свирский.

— То я нэ розумию, Лев Олексеевич, — растопырил огромные ладони Пасюк. — То у нас Глеб Егорович мастак...

Немножко посмеялись, но я про себя подумал, что какая-то истина в словах Пасюка есть — на фронте довольно часто получалось, что доставали хитростью то, чего нельзя было добыть с бою. А Жеглов сказал:

— У нас остается пока что единственный канал,

где мы знаем хотя бы кого персонально искать. Это подружка Фокса — Аня.

— Да, я уже думал об этом, — сказал Свирский. — У вас кто ею занимается?

— Шарапов, — сказал Жеглов. — Он и по вокзалам, и по кличкам, и по оперучету ее проверяет.

— Ладно, — кивнул Свирский. — Тогда хватит заседать, все усилия направьте сейчас в эту сторону. Для проверки на вокзалах я вам еще шесть человек немедленно выделю, как раз в третьем отделе вчера группа Коногонова освободилась. Вечером доложите о результатах...

Время бежало быстро, а никаких сколько-нибудь приличных следов Ани не обнаруживалось. И все время скребла мыслишка: а на кой, собственно говоря, ляд мы приберегаем телефон бабки Задохиной? И незадолго до обеда я сказал Жеглову:

— Слушай, Глеб, что нам мешает попытаться вытащить Аню по телефону бабки?

— Спугнем их... — сказал Глеб механически, потом оторвался от своих бумаг и внимательно посмотрел на меня, словно додумывая мысль, которую я не высказал. Потом улыбнулся: — Смешно, Володька. Иногда принимаешь какую-нибудь вещь как аксиому. Дерево твердое, молоко

жидкое. А масло? Масло ведь бывает не только твердое, но и жидкое, так? Вот и телефон Задохиной конспиративный. И точка. А какой он сейчас, когда мы Фокса взяли, к богу конспиративный? Что мы, банду спугнем? Так их уже спугивать некуда. Тем более что жулики они отчаянные и нам нечего надеяться, что они угомонятся.

— Вот и я так полагаю, — сказал я. — Давай только подумаем, как хитрее ее вытащить.

— Не об этом надо думать, — покачал головой Жеглов. — Вытащим как-нибудь. Думать надо о другом — что мы с ней будем делать? А если она не знает или не захочет нам показать банду?

— А что мы теряем? — спросил я. — Допросим, а там видно будет...

— Не-е, это ты не прав, Шарапов, — протянул Глеб. — Нам надо иметь четкий план. Ты ведь небось разведкой так не занимался: пойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что? Надо себе точно представить, что именно нам от нее, от Ани, значитца, нужно и каким способом это добыть. Вот когда придумаем, тогда поговорим...

Долго я сидел и размышлял обо всем этом, и все время мне мешала мысль о том, что, прежде чем допрашивать Аню, ее надо как-то вытащить, зря Жеглов отмахивается от этой задачи, будто мож-

но взять ее и вытащить из кармана. Пасюк прав, конечно: надо ее как-то «пидмануть» — в лоб, нахрапом, с подругой Фокса не справиться. Так и этак выстраивал я разные комбинации, даже на бумаге рисовал, и каждый раз оказывалось, что от того, как мы ее заманим на встречу с нами, будет зависеть все остальное. И еще я понял: иначе как изнутри мы сейчас банду взорвать не сможем...

Значит, еще раз, сначала. Вытаскиваем Аню. Как? С помощью Волокушиной? Не годится. Фокс ей даже звонить-то по этому телефону запретил, и на свидание с ней Аня, скорей всего, не пойдет... А выстрел окажется холостым... С кем же Аня захочет встретиться? Пожалуй... пожалуй... только с человеком, у которого есть известие от Фокса... Так, так, вроде нащупывается... У кого может быть такое известие? Тоже ясно — только у человека, с которым Фокс сидел в одной камере. Так. И этот человек вышел на волю... Почему? Почему вышел на волю?.. Ну ладно, это мы придумаем... Есть, допустим, у сокамерника письмо для Ани... или поручение на словах... Письмо она может потребовать послать по почте... Хотя нет — надо же адрес дать!.. Так, так... Встретились, допустим... Но ведь тащить ее к нам нелепо... Ее самое и сажать-то не за что, пока не доказано

соучастие в банде...

Есть идея! Есть! И я помчался в управленческую библиотеку...

Конвоир прищелкнул сапогами, расцепил наручники, и Фокс с облегчением потряс затекшими кистями, приветливо мне улыбнулся:

— Здравствуйте, Владимир Иваныч...

Каким-то непостижимым образом он уже знал каждого из нас по имени-отчеству и на допросах преимущественно дурачился, сводя все ответы к шуткам, выступал этаким жизнерадостным придурком, которого несчастная страсть к игре и женщинам ввергает каждый раз в неприятности. Я протянул ему записку Груздева и сказал:

— Мы нашли ваше письмо с угрозами в адрес Ларисы Груздевой. Это будет очень веским доказательством по делу.

Он, небрежно улыбаясь, взял записку, прочитал ее, поцокал языком:

— Опять ошибка, Владимир Иваныч. Это не мое письмо.

— Как не ваше, а чье же?

— Не знаю! — Фокс развел руками. — Это не я писал.

На этот раз уже хитро заулыбался я:

— Мы предвидели, что вы будете отказываться.

Еще бы, такая улика! Но графическая экспертиза все докажет...

— Пожалуйста, — ухмыльнулся Фокс. — Доказывайте...

Я взял со своего стола листок тонкой оберточной бумаги, карандаш, передал Фоксу:

— Пишите: образец свободного почерка гражданина Фокса Евгения...

Фокс, не споря, написал, поднял голову в ожидании дальнейшего. Я объяснил ему:

— Для экспертизы потребуются три документа: образец свободного почерка, образец диктовки и, наконец, образец вашего письма, не связанного с этим уголовным делом.

Фокс снова ухмыльнулся:

— Тогда вам придется разыскать мои школьные сочинения. Правда, боюсь, что в войну они пошли на растопку за отсутствием художественной ценности...

— Ничего, нас устроят ваши снабженческие заявки на сатураторы.

Фокс пожал плечами, спросил:

— Ну, что дальше?

— Дальше пишите свободно, что хочется. На ваше усмотрение.

Фокс взял карандаш, послюнил его — на глянце-

витой поверхности оберточной бумаги химический карандаш оставлял слишком бледный след — и начал писать, преувеличенно старательно, хитро поглядывая на меня.

Вывел несколько строк, покрыв бумагу кривыми колючими буквами, показал мне:

— Хватит, что ли?

На бумажке было написано: «Добрый хороший мальчик Фокс мучается здесь в тюряге ни за что, нет правды на свете, нет счастья в жизни. Мучители не кормят, зажали мою служащую карточку, и в очко сыграть не с кем».

— Все шутите, Фокс, — сурово пробурчал я, в глубине души очень довольный, что он принял мою игру. Беспокоило только, не сорвался бы он с крючка в последний момент. — Теперь текст под диктовку. Вот еще бумага, надпишите ее: «Фокс Евгений Петрович».

Он взял бумагу, надписал. А я сказал, показывая ему книжку, взятую под честное слово на два часа:

— Вот из этого учебника я вам буду диктовать разные предложения. А вы записывайте, по возможности без ошибок.

— Ну, это еще надо посмотреть, кто из нас с ошибками пишет, — нахально сказал Фокс и

приготовился писать.

— «Лев Кассиль». С новой строки. «Что это значит — нет биографии? Это все старомодная интеллигентщина, дорогой мой. Не биография делает человека, а человек биографию. С биографией родятся только наследные принцы», — продиктовал я. — Готово? Давай дальше, с новой строки... «А. С. Пушкин». С новой строки. «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но переменять его на четвертого не желаю: от добра добра не ищут...»

Фокс старательно скрипел карандашом, время от времени слюня его, и я подумал, что, пока он с интересом относится к развлечению, которое я ему предложил, надо печь свои пироги.

— Готово? — спросил я. — Так, прекрасно. Еще одно. С новой строки. «Борский». Так. С новой строки. «Весточка моя с синего моря-океана. Здесь сильно штормит, боимся, как бы не потонуть. Боцман наш по болезни уволился, шлю тебе с ним, Анюта, живой привет, будь с ним ласкова, за добрые слова его одень, обуй и накорми — вечно твой друг». Так, число теперь поставь, распишись. — Я взял обе бумажки, вернулся за свой стол,

а Фокс принялся своим немыслимо красивым платочком с вензелями по углам вытирать руки. Покончив с этим, он поднял глаза, и, наверное, слишком уж самодовольное у меня было лицо, потому что он вдруг спросил с подозрением:

— Борский — это что за писатель такой? Я вроде и не слыхал.

На что я ему сказал важно:

— Есть, есть такой писатель, очень даже прекрасные романы пишет.

— Современный, что ли? — продолжал сомневаться Фокс.

— Уж куда современней... — засмеялся я; и до сих пор не знаю, что за бес меня дернул, или, может быть, от такой нечисти, как Фокс, таиться не хотелось, только разгладил я вторую бумажку, аккуратно сложил ее в том месте, где слова Пушкина кончались и фамилия Борского значилась, ногтем проутюжил и на глазах у Фокса весь низ оторвал. И лежало теперь передо мною письмо «с синего моря-окияна», адресованное Анюте и лично подписанное Фоксом, даже с числом сегодняшним!

Умный, конечно, мерзавец был Фокс, ничего не скажешь. Все, все сообразил он за одну секундочку, и моргнуть я не успел, как он уже птицей

перелетел через кабинет, целясь на мою глотку, а заодно и на письмо злополучное. Да уж верно сказано, что это он после драки кулаками надумал махать, — принял я его, субчика, прямым встречным в челюсть. Ей-богу, хрястнул я его по скуле от души и, чтобы впредь отбить охоту к ужимкам и прыжкам, сделал ему подсечку. Тоже мне кипяток какой горячий! Лег он поскучать на пол и приподняться не успел, как прибежал на шум конвоир и в два счета наручники, как по инструкции полагается, на него нацепил. Тогда снова вернулась к Фоксу улыбочка эта его паскуденькая, и он мне тихо сказал:

— Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе. Хитры вы, конечно, суки лягавые, с подходцами вашими. Но заточек у нас хватит для вас всех — всегда пожалуйста, наглотаетесь досыта. Как недавно на Цветном бульваре... Будь, Шарапов! И не кашляй!.. — И уже из коридора, не таясь, крикнул: — Песику вашему, Сенечке Тузику, персональный привет!

Затихли шаги в коридоре. Я снова прочитал письмо Фокса и от удовольствия его рукой разгладил. Молодец, Шарапов!

Вот теперь было о чем Ане звонить! Было о чем с ней разговаривать! Пришедшему Жеглову я

показал письмо и предложил:

— Звоним ей через бабку Задохину и назначаем свидание — мол, речь о жизни и смерти Фокса идет! Не может она на такую вещь не клюнуть.

— Не скажи, — покачал головой Жеглов. — Может, у них для такого случая другая предусмотрена связь?

— Да брось ты, Глеб, что они, в самом деле, шпионы, что ли?! Нормальные бандиты, уголовники. Странно, что они этот-то телефон обеспечили. По случаю, наверное...

— Ну-ну, — недоверчиво покачал головой Жеглов. — Не отвлекайся.

— Ну, представляюсь я ей уголовником, почему-либо освобожденным из камеры, где подружился с Фоксом. В доказательство даю письмо и поясняю, что главное он велел передать банде на словах, ну, чтоб с письмом не засыпаться. Так?

— Так.

— Она приводит меня в банду — благо личность мою из уголовников никто еще, считай, не знает, — и я «по указанию Фокса» назначаю операцию. Подробности мы с тобой потом обсудим, важно по существу решить. И на операции вяжем их к чертовой матери!

Жеглов расхаживал по кабинету, жевал мол-

ча губами, что-то хмыкал — это у него всегда признак глубокой задумчивости. Неожиданно остановившись посредине кабинета, спросил:

— А что с Васей Векшиным было, помнишь? — И по лицу его посеревшему, по губам, плотно сжатым, я видел, что он не для проформы спрашивает, что он в самом деле за меня переживает. — Я сам бы пошел, — сказал он чуть не со стоном, — да ведь меня они в момент расколют, каждая собака меня в лицо знает...

— О тебе нет речи, — сказал я серьезно. — Не в игрушки играем. Давай решай, Глеб, время дорого! Сейчас момент потеряем — больше не повторится такая возможность...

— Мне что решать, — сказал Жеглов глухо. — Я понимаю, надо идти. Но я не могу, просто не имею права взять это на себя. Ты ведь не знаешь, что творилось после Васи Векшина! — Он подумал еще немного, посмотрел на часы, махнул рукой: — Я к Льву Алексеичу, жди, Шарапов!..

И ушел. А я сидел один в кабинете, представляя себе встречу с Аней, наши разговоры, бандитов и то, как мы их повяжем. Все это сливалось в довольно сумбурную картину, но мне сейчас ясности полной и не требовалось, ведь когда в разведку идешь — тоже не знаешь, как там в

деталях сложится. Главное, представлять свою задачу, а решать ее надо по обстановке, на то тебе и голова дана, не только ведь каску носить!

Жеглов вернулся довольно скоро, и по его собранному виду я догадался, что «добро» начальства получено.

— Разрешил Свирский, — сказал Жеглов. — Он, конечно, поговорит с тобой, даст руководящие указания, но главное сделано. А я тут еще одну деталь надумал: скомандуем в КПЗ, чтобы отобрали у Фокса платочек его знаменитый — он тебе заместо пароля будет, а? — И широко улыбнулся.

— Все, тогда хватит травить, — сказал я деловито. — Время уходит, давай соображать...

* * *

— Кубок СССР по футболу. «Зенит» вышел в полуфинал.
— Миллион зрителей просмотрели новый, художественный фильм «Без вины виноватые», сценарий и постановка лауреата Сталинской премии Владимира Петрова.
— Московский театр сатиры купит старинные украшения: «драгоценности» из искусственных камней — кольца, браслеты, серьги, броши, кулоны; перчатки, кружева и веера.

Московское радио. Городская информация

— Ну что? Ждать, пожалуй, больше нечего, — сказал Свирский. — Звони, Шарапов. Послушаем, что нам скажут...

Свирский сидел верхом на стуле прямо перед столом, в углах кабинета маялись Тараскин, Пасюк и Гриша, а Жеглов стоял, подпирая спиной дверь, будто хотел нам показать, что не выйдем мы отсюда, пока дело не сделаем. Я еще раз по-

смотрел на них, и под ложечкой что-то екнуло и сжалось. Снял я телефонную трубку, и показалась она мне ужасно тяжелой, словно это была не эбонитовая пустяковина, а ложе «петеэровки», и горло перехватило спазмой, как перед командой «Ро-ота!..», когда поднимаешь людей из траншеи для первого броска разведки боем.

— Ну-ну, ничего, все будет нормально, — сказал Свирский и улыбнулся. Я почувствовал себя немного увереннее, и диск стронулся с места.

Долго бродили в проводах далекие гудки и шорохи, потом что-то щелкнуло, и старушечий шамкающий голос ответил:

— Але! Слу-ушаю!

— Здравствуй, бабанька! — быстро, задушливо сказал я. — Ты мне Аню к трубочке подзови...

— А иде я тебе ее возьму? Нету Анюты, нету ее сейчас. Коли надо чего, ты мене скажи, я ей все сообчу, как появится, конечно...

— Слушай, бабка, меня внимательно. Ты ее где хошь сыщи, скажи ей, что человек от Фокса весточку притаранил. Звонить тебе я более не хочу, ты так и скажи ей: сегодня в четыре часа я буду около памятника Тимирязеву, в конце Тверского бульвара. Росту я среднего, пальто на мне черное будет и кепка серая, ну, газетку еще в руки

возьму. В общем, коли захочет, узнает. Письмо у меня для ней имеется. Так и скажи — не придет, искать ее более не стану, время нет, я приезжий. Ты все поняла, чего сказал?

Бабка судорожно передохнула, медленно ответила:

— Понять поняла, а делов ваших не разумею. Коли появится, все скажу.

— Молодец, бабка. Покедова...

Положил трубку и почувствовал, что вся спина у меня мокрая — будто кули мучные на себе таскал. Свирский встал, хлопнул меня по плечу:

— Хорошо говорил, спокойно. Давай в том же духе. — Дошел до двери и, обернувшись, спросил: — Не боишься?

— Как вам сказать... Я ведь через линию фронта ходил. Вот там всегда боялся. А эту мразь мне бояться как-то совестно...

— Это ты не прав, — покачал Свирский головой. — Бандит опаснее фашиста, потому что носит чужую личину — вон на красавца вашего, на Фокса взгляни... Так что бояться, наверное, их не надо, а опаску против них иметь обязательно. Это для дела полезнее...

Жеглов ушел вместе со Свирским, а ребята принесли мне все новые регистрационные карточки

на всех интересующих нас женщин по имени Аня. Я специально читал не спеша, некоторые карточки перечитывал дважды, внимательно подолгу разглядывал фотографии, старался запомнить особые приметы. А стопа выросла на столе уже огромная.

Анна Шумкова, 23 года, воровка...

Анна Махова, самогонщица, 37 лет, отрезана мочка левого уха...

Анна Рождественская, безопределенщица, 26 лет, часто бывает с различными мужчинами в ресторанах, рыжая, подкрашивает волосы стрептоцидом...

Анастасия Шварева, она же Надежда Симонова, она же Наталья Кострюк, она же Анна Новикова, 24 года, красивая, маленький косой шрам на шее, воровка «на доверие»...

Анна Ларичева, она же Анна Пимус, она же Майя Федоренко, она же Хана Кацеленбоген, она же Анна Мерейно, 30 лет, сводня, на кисти правой руки татуированный голубь, сердце и имя «Аня», четырежды судимая...

Аният Алдабергенова, 32 года, торговка наркотиком «анашой»...

Ребята разошлись по своим делам, в нашей комнате было непривычно тихо. Я придвинул к

себе телефонный аппарат и набрал Варин номер.

— Алло-ало-ло-о-о, — прибежал по проводам ко мне ее голос.

— Здравствуй, Варенька, это я...

— Здравствуй, мой родной...

— Я тебя ужасно хочу увидеть...

— И я...

— Варюша, у нас сегодня дело есть, если оно не получится, я освобожусь рано и мы весь вечер будем вместе... Ты ведь с полуночи дежуришь?

— Да. А если получится?

— Тогда не знаю. Дня три меня не будет, если получится...

— А как ты больше хочешь — чтобы получилось или сорвалось?

— Не знаю, Варюша... Мне хочется и того и другого...

— Но так ведь не бывает...

— Не бывает. Дождись меня, Варюша, — сказал я неожиданно упавшим голосом.

Она помолчала, что-то негромко шоркало в трубке, будто мыши скребли где-то под землей провода; потом она спросила:

— Ты расстроен? Или волнуешься?..

— Нет, не расстроен я и не волнуюсь. Я все время о тебе думаю. Я не успел тогда тебе сказать

очень важную вещь.

— А сейчас?..

— Нет, по телефону нельзя о таком говорить. Я хочу твои глаза видеть...

— Вот и скажешь сегодня, если сорвется. Или через несколько дней.

— Да. Но мне хочется поскорее...

— И мне хочется скорее. Я тебе не рассказывала про Ветлугину?

— Нет...

— Мы с ней учились в школе. Она была голенастая, некрасивая, в очках. Зимой она ездила за город, собирала голые замерзшие прутья и ставила их дома в бутылки, банки, и среди снегов и морозов у нее распускались зеленые листочки. В феврале в комнате пахло тополиным медом. И еще у Ветлугиной была собака — дворняга Пунька, ее убило осколком, когда мы дежурили на крыше во время налетов. Пунька лежала у нее на коленях, и Ветлугина горько плакала. Я ее тогда считала придурочной — столько горя кругом, а она из-за дворняги плачет.

— И что?

— А теперь я ее понимаю, я теперь знаю, почему она плакала. Я ее вообще только сейчас стала понимать...

— Вы с ней раздружились?..

— Ее под Секешфехерваром убили... Она мне часто снится, будто хочет объяснить то, что я тогда не понимала... Я тебя люблю, Володенька...

И снова пачки справок — работницы железнодорожного нарпита по имени Аня или чем-то похожие на нее.

Анна Кондырева, официантка, 24 года... Анна Ерофеева, шеф-повар, 28 лет... Анна Букс, уборщица, 19 лет... Анна Клюева, 25 лет, судомойка... Анна Меренкова, 25 лет, агент по снабжению... Анна Пашкевич, 20 лет, товаровед... Анна Соломина, 24 года, буфетчица... Анна Зубова, 26 лет, калькулятор... Анна Дзюба, 22 года, разносчица... Анна Дьячкова, 24 года, завпроизводством... Анна Красильникова, 18 лет, коренщица... Анна Осокина, 23 года, кладовщица...

Не знаю, была ли среди них интересующая нас Аня, но тех, что были, я запомнил.

Около трех за мной зашел Жеглов. Он где-то добыл талоны на спецпитание, и мы с ним отправились в столовую, где обед нам дали прямо царский: винегрет с кильками, флотский борщ со свиным салом и гуляш с пшенной кашей. И кисель на третье. А перед тем Жеглов заглянул на хлеборезку и долго любезничал с Валькой

Бахмутовой, улыбался ей и так далее, ну, она ему и отжалела еще полбуханки белого хлеба. Так что порубали мы с ним знатно. Жеглов посмотрел, как я уписываю за обе щеки, поцокал языком, мотнул головой:

— Ну и нервы у тебя — позавидуешь! Мне и то в горло кусок не лезет, а тебе хоть бы хны...

— Вижу я, как у тебя кусок не лезет — тарелку мыть не надо...

Мы с ним шутили, посмеивались, а меня все время мучило желание сказать ему, что если — не дай бог, конечно, — если что-то случится со мной, чтобы он о Варе позаботился. Ничего не должно случиться, я не Вася Векшин, да и урок пошел мне впрок, но все-таки беспокоился я немного за Варю, хотелось мне хоть что-нибудь для нее сделать. И все же не стал я ничего говорить Жеглову, он ведь мог подумать, что я сильно дрейфлю. А мне не хотелось, чтобы он так думал.

Встали мы с ним из-за стола, и он сказал:

— Хорошо мы посидели с тобой на дорожку...

— Да, хорошо, — сказал я.

— Значит, когда с ней расстанешься, ты на Петровку не ходи: они за тобой протопать могут, ты ведь «хвост» за собой еще чувствовать не умеешь...

— Хорошо. Я в кино пойду. В «Повторный». Оттуда из автомата позвоню...

— Договорились. О месте второй встречи ты не спорь — пускай они сами назначают: им это будет спокойнее, а мы посты наблюдения подтянуть успеем...

Я хотел зайти попрощаться с ребятами, но Жеглов сказал:

— Не надо церемоний. Такие дела тихо делают. Поехали, Копырин уже ждет нас.

Мы спустились во двор, где Копырин на корточках сидел около «фердинанда» и, что-то рассматривая под ним, недовольно качал головой.

— Поехали, отец, некогда на резину жаловаться...

Молча доехали мы до Камерного театра. Копырин свернул в тихий переулок и затормозил. Я достал из карманов милицейское удостоверение, комсомольский билет, паспорт, жировки за квартиру, записную книжку, немецкую самописку и свой верный, уже потершийся до белого стального блеска ТТ. А больше у меня ничего не было. Протянул Жеглову, он это все распихал у себя, а мне дал носовой платок Фокса с завернутой в него запиской и справку об освобождении, где было сказано, что мне изменена мера пресечения

на подписку о невыезде.

— Все, время вышло, иди. И не волнуйся, мы с тебя глаз не спустим. Ни пуха ни пера тебе...

— Иди к черту...

— Шарапов! — окликнул меня Копырин. Я обернулся. Он не знал, куда и зачем я ухожу, но он ведь столько лет здесь крутил баранку!

— На́ тебе, защемит коли, потяни — легче на душе станет. — И отдал мне свой кисет с самосадом. — Там и газетка внутри имеется...

— Спасибо, Копырин. Может быть, сегодня вечерком верну твой кисет...

— Дай-то бог... — Он щелкнул своим костылем-рукоятью, и я выскочил на улицу.

Я шел по пустынному, залитому серым осенним дождем Тверскому бульвару, и сумерки сочились из грязно-белого тумана, повисшего на голых рукастых ветках совсем уже облетевших деревьев. И старался изо всех сил не думать о Варе и о некрасивой девочке Ветлугиной, лежавшей в тысячах километрах отсюда под деревянной пирамидкой с красной звездочкой. Кем ты была на фронте, добрая душа, плакавшая над убитой собакой Пунькой? Связисткой? Санинструктором? Наблюдательницей ВНОС? Техничкой в БАО? Зенитчицей? Машинисткой в штабе?.. Ах, бедные,

сколько нечеловеческих тягот вам досталось! Я хотел представить себе лицо Ветлугиной, но перед глазами, как в замедленном кино, проплывали только лица бесчисленных Ань, которые я так тщательно запоминал сегодня — молодые, потрепанные, красивые, отвратительные, — а лица Ветлугиной я представить не мог. И почему-то из-за этого я боялся забыть и Варино лицо, и оно все время стояло передо мной, заслоняя и стирая рожи всех этих воровок, спекулянток, скупщиц, сводней и проституток...

Я прошелся пару раз около памятника Тимирязеву, который успели поставить на место, после того как его сбросило взрывной волной от полутонной бомбы. Только был вымазан цементом треснувший цоколь. И глазами старался не рыскать по сторонам, а только глядел на памятник, будто ничего интереснее для меня здесь не было. И все-таки вздрогнул, когда похлопали меня по плечу сзади и голосок с легкой хрипотцой спросил:

— Алё, это ты меня спрашивал?

* * *

Театру им. Моссовета требуются:
— шофер на новую автомашину ЗИС-5,
— артисты-мужчины,
— певцы: басы и тенора для работы в вокальном ансамбле театра.

Объявление

— Алё, это ты меня спрашивал?

Я повернулся не спеша и увидел хорошенькую мордашку — лет двадцати двух, лицо удлиненное, белое, чистое, лоб узкий, переносье широкое, нос короткий, вздернутый, треугольной формы, губы пухлые, подбородок заостренный, уши немного оттопырены, рост средний, волосы светлые, крашеные, особых примет не заметно — и, прежде чем заговорил, уже знал, что в просмотренной мной картотеке ее не было. Наверняка не было.

— Не знаю, может быть, и тебя, если ты Аня...

— Я-то Аня, а ты что за хрен с горы?

Глазки у нее были коричнево-желтые, веселые, нахальные и глупые. Я повернулся, отошел к скамейке, уселся, положил ногу за ногу, закурил свой «Норд», так что и ей пришлось, хочешь не

хочешь, садиться на мокрую холодную лавку.

— Тебе бабка Задохина передала, зачем я звонил?

— Ну, допустим, передала. И что из этого?

Я старался в лицо ей не смотреть, чтобы совсем успокоиться и найти свою игру. И кроме того, что-то в ее поведении меня отпугивало — она ведь не артистка, ей никогда в жизни так не наиграть веселого равнодушия. А это рвало мой план. Допустим, я ошибся в своих расчетах и Аня не так уж сильно волнуется за своего распрекрасного Фокса. Но тогда бы она ни за какие коврижки не вышла на встречу со мной...

— Значит, штука такая — Фокса твоего прищучили всерьез...

— А тебя мусорá попросили передать мне об этом? — спросила она и улыбнулась, и во рту у нее тускло блеснули две стальные «фиксы». И сизый их блеск меня тоже насторожил.

— Мне с прибором положить на то, что ты там бормочешь или думаешь. Но мы с Фоксом три дня на одних нарах валялись, и он меня попросил помочь. Вот я и мокну здесь с тобой, дурой, мать твою...

— Ты не собачься, а дело говори, если звал. Мне тоже нет интереса здесь сыреть с тобой, — ска-

зала она, зябко передернув плечами; от сырости и холода она постукивала ногами в резиновых ботиках-полумерках — старые эти ботики на знаменитой подруге Фокса мне и вовсе не понравились.

— Записку он передал со мной. — Я протянул ей скатанную в толщину спички бумажку и носовой платок Фокса. Она жадно схватила записку и тут же стала разворачивать, а носовой платок механически вернула мне. Она не знала этого яркого шелкового платка с вензельками по углам.

Про себя я тихонечко засмеялся, хотя и сам не знал, радоваться или огорчаться своей первой удаче. Я их расколол. Я не случайно не признавал в этой красульке ни одной из тех Ань, которых я целый день запоминал по фотографиям. Со мной рядом сидела на мокрой бульварной скамейке не Аня. То есть, может, и Аня, да не та. Конечно, нет — это подсадная. Это какая-то воровская подружка, которая про них толком знать ничего не знает и которую запустили ко мне для проверки. И сейчас мне в спину наверняка смотрит не одна пара глаз, ждут с нетерпением, не буду ли я хватать и волочь в острог эту козу, уверенный, что мне удалось зацепить настоящую Аню.

Ну что же, это уже хорошо.

— Тут написано, что шлет он живой привет — на словах, значит, скажешь? — спросила недоверчиво Аня.

— Скажу, — кивнул я.

— Так говори, не телись...

— Ты, никак, грамотная? Ты там все прочитала?

— Все!

— Не видать, чтобы ты все прочитала. Там написано — обуй, одень, накорми и будь с ним ласкова! Понимаешь, ласкова!

— Не время сейчас тут ласкаться. Потом, вечерком, я тебя приласкаю...

Я посмотрел на нее с усмешкой, цыкнул слюной метра на два сквозь зубы, засмеялся:

— Видал я твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, что коли доставлю тебе записку, а главное, объясню на словах, что и как у него с мусора́ми на киче происходит, то получу за это пять тысяч. Вот мне какая ласка нужна! С пятью кусками меня и так кто хошь приласкает...

Глазки у нее от этого стали еще хитрее и глупее:

— Пожалуйста, получишь ты свои пять кусков. Рассказывай, что там и как, а вечером получишь...

— Ишь какая ты ушлая! Может, ты мне их через бабкин телефон переведешь? Паскудный вы народ, бабы! Суки! Там твой мужик парится, а ты несчастные пять кусков жмешь, жизнь его под корень сводишь...

— Да иди ты!.. Тоже мне поп нашелся — стыдить меня! Нет у меня с собой денег! Домой съезжу и привезу тебе, ужрись!..

— Во-во! Поезжай домой, возьми деньги и приезжай снова. И запомни, Фокс мне сказал, что шансов у него дня на два, на три осталось, потом переведут его в Матросскую Тишину, и тогда хана! А сейчас еще остается шанец выскочить. Нá тебе его платок, он мне зачем-то велел отдать обязательно! И вали за деньгами, я сюда через два часа снова подгребу!..

На ее маленьком лобике четко обозначилась сиротливая морщинка — она думала, ей надо было принять решение, или, может быть, вспоминала она запасной вариант, которым бандиты должны были обязательно ее снабдить.

— Мне далеко надо ехать, — сказала она наконец. — Давай так договоримся: встретимся с тобой на Первой Мещанской, угол Банковского. Там еще булочная есть. Вот около этой булочной в полвосьмого. Сделано?

— Мне туда тоже далеко... отсюда. Да черт с тобой! Только гляди без фокусов — я деньги вперед пересчитаю, ты не думай, не лопух...

Она кивнула и ухмыльнулась, и мне показалось, что в сизой ее стальной ухмылке было злорадство.

— До вечера, пока! — Махнула рукой и пошла в сторону Никитской. И ни одного из наших я поблизости не видел. Где-то здесь же были и Жеглов, и Пасюк, и Коля Тараскин, но я их никого не видел.

А я пошел в Кинотеатр повторного фильма. В четыре тридцать там шла картина «Светлый путь», я взял билет и вошел в вестибюль. И еще в кассе заметил, что около меня вьется парень в сапогах-гармошках, штанах с напуском и косой челочкой из-под модной малокопеечки — крохотной кепчонки с узеньким козырьком и пуговицей в середине.

Я добросовестно осмотрел фотографии всех киноартистов, которые были развешаны в вестибюле, и, переходя от стены к стене, углом глаза видел, как рядом мелькает малокопеечка. Потом спустился на первый этаж, и в уборной рядом со мной уже ныряла среди лиц и спин косая челка над юркими мышиными глазками. И недалеко от

автомата в упор меня кольнул этот настороженный взгляд, он отирался об меня, щупал, держал, он сам боялся — потерять меня или обнаружить себя? Я бесцельно покрутился еще несколько минут — мне надо было дать Жеглову доехать до места. И автомат был, как назло, не в будке, а просто висел телефонный аппарат на стене. Пошарил я в кармане, нашел пятнадцатикопеечную монету, юркнула она беззвучно в щель, и, прикрывая на всякий случай диск ладонью, набрал я наш номер. А за спиной все ошивался молодец в малокопеечке — я почти его дыхание слышал у себя за спиной. Один только гудок раздался в трубке, и жегловский быстрый баритончик плеснулся мне в ухо:

— Слушаю!..

— Маня? Это Маня? — неспешно начал я. — Маня, это я, Володя.

— Шарапов, слушаю тебя, говори...

— Да как же я теперь приеду, когда у меня права забрали?..

— Они что, рядом с тобой? Шарапов, ты знаешь, что за тобой «хвост»?

— Так я об этом и толкую! Никак мне теперь без прав. Но я думаю, числа, может быть, девятнадцатого или двадцатого выберусь я к вам...

— Володя, тебе назначили встречу между семью и восемью вечера? Я тебя правильно понял?

— Ну конечно, не от меня же это зависит. Я точно так и постараюсь. Где-нибудь посредине...

— В девятнадцать тридцать? Правильно, Володя? Я тебя понял?

— Ну конечно, ты ведь баба сознательная. За это и ценю тебя...

— Давай, давай, ты не резвись там! Сориентируй по месту.

— А че там! От моего дома прямая дорога, чешу себе по солнцу — и привет!..

— На Сретенке? — быстро спросил Жеглов.

— Не-а... От колхоза нашего асфальт идет...

— От Колхозной площади? На Мещанке?.. — Я чувствовал, что Жеглов просто дрожит на том конце провода.

Зазвонил первый звонок, открылись двери в зал, надо было кончать.

— Ага, конечно. Как на большак выедешь, там уже не собьешься. Пятый поворот, коли память не сшибает...

— Угол с переулком?..

— Ага. Бог даст, и я к вам приеду. Маня...

— Переулок Астраханский? Капельский?..

— Нет, Маня, не смогу, попозже...

— Банковский?..

— Это точно! Там и для детишек с хлебушком будет посвободнее...

— Ты про булочную на углу говоришь? — надрывался, исходил у телефона Жеглов.

— Верно, Маня. А? Да я в кинишку намылился сходить, времени у меня теперь навалом. Ну, прощевайте там, деток своих целуй. А я постараюсь выбраться к вам...

И повесил трубку, обернулся — юркнула в толпу, затерялась коричневая кепчонка. Разговор он весь слышал.

В зале этот поганец тоже сидел все время за моей спиной, ряда на два подальше, и его присутствие меня невольно нервировало. Почему-то все время стоял у меня перед глазами прибитый ножом к лавке Вася Векшин. На экране пела, плясала, стреляла глазками Любовь Орлова, двигалась она своим замечательным путем от девки-замарашки до знатной стахановки, но, честно говоря, ничего я не запомнил из этого фильма, потому что не до него мне было. В зале было душно, плавал кислый запах мокрого сукна, пота и гуталина, люди вокруг меня хохотали и топали ногами, а я сидел и думал о том, что дело, похоже, не сорвалось, и сегодня уж конечно мы

с Варей не увидимся, а с двенадцати ночи у нее дежурство — ей три смены осталось до демобилизации, — и если сегодня у меня все пройдет благополучно, то, может быть, на этой неделе вся история закончится и мы с Варей пойдем в ЗАГС, а потом устроим свадьбу, позовем Жеглова, всех наших ребят, Вариных подруг — это будет замечательный праздник. Только бы с этими проклятыми выползнями закончить!

К концу картины, когда все дела у Любови Орловой совершенно наладились и ее любимый инженер тоже понял, какая она замечательная, мне уже стало совсем невмоготу — от напряжения, ожидания, неизвестности. Это как перед атакой: уж лучше бы команда — и через бруствер вперед, чем это невыносимое тоскливое ожидание, когда знаешь, что ровно через час уже все будет решено, но неизвестно только как. Ах, Вася, Вася, как ты томился этот час!

Праздник, радость, свадьба, ордена, конец фильма! Зажегся свет, и народ ручьями потек между стульями на выход. Я уже не оглядывался, точно зная, что малокопеечка где-то на пятках у меня сидит.

Мокрая темнота совсем заволокла город. И фонари не разгоняли мрак, а мутными молоч-

ными пятнами высвечивали узкие пятачки вокруг столбов, и все было заштриховано косыми струями унылого ноябрьского дождя. Народу в троллейбус натолкалось до упору, двери не запирались, и люди гроздьями висели на подножках, надрывались кондукторы, требуя войти в вагон. Да мы бы и сами вошли, коли место нашлось бы: за одну остановку меня на ходу промочило насквозь. И «хвост» перестал стесняться, он висел прямо рядом со мной, держась за чью-то спину, и, признаюсь, было у меня желание навесить ему такого пендаля, чтобы он до следующей остановки катился на пятой точке...

Пересел на Колхозной площади, тут было чуть свободнее, чем на Кольце, и когда меня особенно сильно шпыняли, я думал с усмешкой, что, наверное, люди создали бы мне получше условия, кабы знали, за каким я делом толкаюсь здесь в час «пик»...

Остановился я у освещенной витрины булочной. Здесь был козырек, под которым обычно выгружают хлеб. Вот там я и спрятался от холодных струек, заливавших спину ледяной щекотиной. Огляделся — Ани еще не было. Только стоял у тротуара хлебный фургон, из которого два мужика вытаскивали пустые ящики. И пропал мой

«хвост», хотя я видел, как он спрыгнул вслед за мной с подножки. А теперь исчез куда-то. Я взглянул на часы — девятнадцать тридцать две. Еще несколько минут, и все решится — правильно мы продумали или они оказались осторожнее нашей хитрости. И в этот момент я увидел идущую ко мне женщину.

Она была высока, стройна, в красивом светлом пальто. Туфли у нее были заграничные, на рифленом каучуке. И зонтик. Протянула мне руку, как старому знакомому:

— Здравствуйте, вы от Евгения Петровича?

— Здравствуйте. — И я подозрительно стал смотреть на нее. Я и не скрывал интереса, с которым глазел на нее. И руку ее задержал на мгновение дольше, ощупывая на ее пальце кольцо с камнем-розочкой. Я даже приподнял на свет ее руку и откровенно посмотрел на кольцо. Она выдернула руку и зло спросила:

— Вы что́?

— А ничего. Мне Евгений Петрович первым делом велел передать вам, чтобы вы это кольцо как можно глубже заныкали. В розыске оно, по мокрому...

Это было кольцо Ларисы Груздевой — я не мог ошибиться, десятки раз я видел его описание

в деле.

— И для этого он прислал вас? — спросила она с усмешкой.

— Нет, он меня прислал, чтобы я объяснил, как его с нар вытащить. А вы тут меня за дурака держите, театры всякие, концерты разыгрываете! Подсылаете дуру какую-то! Что же, вы думаете, мне Фокс не объяснил, какая вы из себя, коли посылал меня на встречу?

— А почему же он вас к бабке направил, а не ко мне?

— Ха! Мы с ним не в парке Горького на лавочке расстались! Он тоже против меня опаску имел — а вдруг меня менты расколют? А вдруг я скурвлюсь и сам настучу? Так прямо к вам в теплую постелю их и доставлю. Надо думать, он этот резон имел. А там бог его ведает, что он думал: вы-то знаете, мужик он непростой...

— Так что же он сказал вам? Что вы должны передать мне?

— Инструкцию. Так он и сказал — инструкцию. Это, говорит, будет у тебя единственный в жизни заработок такой: запомни от слова до слова, передай и получишь пять кусков.

— Что-то больно дорого за такую работу...

— Ему-то там, на киче, это не кажется дорого.

Тем более что речь о шкуре его идет. Вышак ему ломится...

— Хорошо, я слушаю вас...

— Денежки пожалуйте вперед. Дружба дружбой, как говорится, а табачок...

Она открыла сумку и протянула мне завернутую в газету пачку. Я стал разворачивать сверток, но она сердито зашипела:

— Перестаньте! Там ровно пять тысяч. Говорите...

Я помялся немного, потом махнул рукой:

— Смотрите, на совесть вашу полагаюсь. Мне ведь тоже рисковать, с МУРом вязаться неохота...

— И попробуйте наврать только!

— Зачем же мне врать! — Я огляделся, в переулке никого было не видать, только неподалеку возились со своими ящиками грузчики около хлебного фургона, и я подумал, что это, наверное, наши ребята меня здесь прикрывают. Правда, это мне не понравилось — грубо; они совсем рядом стояли, и раз за Аней бандиты присматривают, то и их наверняка засекут.

— Значит, Фокс так сказал: его в МУРе колют по поводу ограбления продмага и убийства сторожа. Дела его неважные — там на карасе отпечатки его остались... Содержат его пока на Петровке,

на той неделе должны перевести в тюрьму — в Матросскую Тишину, а там уже хана — из тюрьмы не сбежишь...

— А с Петровки сбежишь? — спросила она, глядя на меня в упор своими черными, чуть раскосыми глазами. И ноздри у нее тоненько дрожали все время. Я уже вспомнил ее по справке, ребята точно отобрали, да разве угадаешь, кто именно нам нужен, какая именно Аня в списке нас интересовала. Анна Петровна Дьячкова, двадцать четыре года, завпроизводством в пункте питания на Казанском вокзале, незамужняя, несудима, характеризуется по службе положительно...

— И с Петровки не сбежишь. Но если на следственный эксперимент его повезут из тюрьмы, то там конвой другой, такие псы обученные, с автоматами. Это все дело пустое. А с Петровки его оперативники повезут — те ловить мастаки, а насчет охраны они, конечно, лопушистее. Их там всех можно заделать, — сказал я, понижая голос и наклоняясь к ней.

— Это как же?

— Ну что «как, как»? Что вы, маленькая? Пиф-паф — и в дамки!

— А какой следственный эксперимент? — спросила она недоверчиво.

— Ну сделал он признание: так, мол, и так, я убил сторожа и хочу на месте показать, как это все происходило. Поскольку он сидит в полной несознанке, оперативники обрадовались, захотели побыстрее закрепить его показания. Повезут его туда обязательно... По телефону договаривались — он сам слышал.

— Что еще сказал Евгений Петрович?

— Ну, детали всякие, как это сделать. И еще он велел, чтобы вы горбатому сказали: если его у муровцев не отобьют, он на себя весь хомут тянуть не станет — сдаст он его самого и людей его сдаст...

— Понятно... понятно... — протянула она и вдруг громко сказала: — Вы поедете со мной и расскажете про все эти детали — что надо делать...

— Нет, — покачал я головой. — Такого уговора не было, я и Фоксу сказал: постараюсь бабу твою разыскать и все обскажу, а никуда ходить с вами я не собираюсь и в дела ваши встревать не хочу...

— А тебя, мусор, никто и не спрашивает! — раздался тихий голос за моей спиной, и в бок мне воткнулся пистолетный ствол. — Садись в машину...

Я повернулся слегка и увидел грузчиков фургона — один жал мне ребро пистолетом, а другой

стоял, на шаг отступя, и руку держал в кармане.

Дух из меня вышибло. Ах, глупость какая, вот ведь почему пропала малокопеечка — он меня сдал с рук на руки. Может быть, Жеглов бы об этом и раньше догадался, а у меня, видать, еще опыта маловато. Я тупо смотрел на них, стараясь сообразить быстрее, что мне делать, и ничего путного не приходило в голову. Их тут все-таки двое с пушками, и даже если я затею с ними возню и наша засада, которую я сейчас и не видел, придет мне на помощь, то бандиты все равно успеют меня срезать, и главное совершенно бесполезно, бессмысленно — мы ведь все равно еще не уцепили кончик! Допустим, их тоже застрелят или похватают — что толку, это, возможно, пустяковые людишки, уголовная шушера, подхватчики...

И я начал быстро, гугниво бормотать:

— Граждане, товарищи дорогие, что же это такое деется? Я вам доброе хотел, а вы...

— Молчи, падло, — скрипнул зубами бандит; у него лицо было совершенно чугунное, серое, ноздреватое, с тухлыми белыми глазами, ну просто ни одной человеческой черточки в нем не было, будто господь бог задумал сделать его, сваялял из всякой пакости, увидел — брак и выкинул

на помойку, а он, гад, все равно ожил и бродит среди живых теплых людей, как упырь. Ткнул он меня сильнее пистолетом и сказал:

— Садись быстро в машину, ссученный твой рот!

Эх, чего же мне на фронте не довелось только увидеть, чего я не вытерпел, каких страхов не набрался, а вот никогда у меня не было такого ощущения, что смерть — совсем рядом! Он мне сам казался похожим на смерть, и воняло от него смрадно.

И я шагнул к распахнутому люку хлебного фургона. Второй бандит прыгнул за руль, вместе с ним в кабину села Аня, а чугунный мерзавец влез за мной в кузов и захлопнул складные дверцы.

Не успел я еще сесть на ящик, как фургон покатил. Сначала я пытался считать повороты, чтобы как-то ориентироваться, мне казалось, что машина едет куда-то в сторону Каланчовки, потом она стала крутить, разгоняться, тормозить, где-то посреди улицы развернулась, мотало нас на колдобинах и ухабах, и снова зашуршал под колесами асфальт, глухо пророкотали рельсы на переезде, по стуку судя, это были железнодорожные, а не трамвайные рельсы, и где-то совсем рядом засвистела электричка. Потом мы долго

стояли, тяжело прошумел шатунами, натужно вздыхая, паровоз, и снова начались ухабы и тряска неровной дороги, и опять зашелестел асфальт, и мне пришло в голову, что они нарочно кружат, проверяя, нет ли за фургоном слежки. Ехали то быстро, то медленно, потом остановились и снова поехали. И когда фургон затормозил, хлопнула дверца в кабине и распахнули снаружи люк, я даже приблизительно не представлял себе, где мы находимся.

Шофер спросил:

— Завязать глаза ему?

А Чугунная Рожа засмеялся:

— Зачем? Он никому ничего не разболтает...

Мы стояли во дворе скособоченного двухэтажного домика, замкнутого квадратом высоченного дощатого забора. Я подумал, что с улицы через этот забор крышу фургона, пожалуй, и не увидать. Ну ничего, покувыркаемся еще немного. Я как-то не хотел верить, изо всех сил отгонял я от себя мысль, что ребята, которые должны были обеспечивать меня, могли совсем потерять след фургона. Или хотя бы номер его не засечь...

И хотя Чугунная Рожа уже объяснил мне насчет моей судьбы, я надеялся выкрутиться. Ведь если бы они меня раскололи или совсем не поверили,

ни к чему им было бы катать меня по всему городу. Стрельнул на месте или ткнул заточкой — и все, большой привет! А они меня привезли сюда, — значит, пока еще план мой окончательно не завалился, игра продолжается, господа мазурики...

Я бы, наверное, чувствовал себя много скучнее, если бы знал, что у Ростокинского переезда машина службы наблюдения потеряла из виду хлебный фургон окончательно и Глеб Жеглов бьется на Петровке, стараясь задержать операцию по прочесыванию каждого дома в зоне Останкино, Ростокино и в то же время выясняя, где может находиться хлебный фургон номер МГ 38–03...

— Давай, Лошак, веди его, — сказал Чугунная Рожа шоферу. — Я огляжусь, не рыскают ли окрест лягавые...

Лошак подтолкнул меня в спину, не сильно, но вполне чувствительно, и я сказал ему:

— Не пихайся, гад!..

А впереди пошла Аня. Она шла через темные сени и длинный кривой коридорчик уверенно — не впервой ей здесь бывать. Она дернула на себя обитую мешковиной дверь, и свет из-под морковно-желтого абажура плеснул в глаза, ослепил после темноты.

Прищурясь, я стоял у порога, и билась во мне судорожно мысль, что если хоть один муровец вошел в их логово, то, значит, конец им пришел. Даже если я отсюда не выйду, а выволокут меня за ноги, тоже счет будет неплохой, коли шофера Есина уже застрелил Жеглов, Фокс сидит у нас и здесь их набилось пятеро. Я бодрил себя этими мыслями, чтобы вернулась хоть немного ко мне уверенность, и все время мысленно повторял про себя главное разведческое заклятие — «семи смертям не бывать», — и осматривал их в это же время, медленно обводя взглядом банду, и делал это не скрываясь, поскольку и они все смотрели на меня с откровенным интересом.

Вот он, карлик. Не карлик, собственно, он горбун, истерханный, поношенный мужичонка, с тестяным плоским лицом, в вельветовой толстовке и валенках. На коленях у него устроился белоснежный кролик с алыми глазами и красной точкой носа.

И здесь же старый мой знакомый — малокопеечка. Кепку свою замечательную он уже снял и сидит за столом, очень гордый, довольный собой, щерится острыми мышиными зубами.

— Что ты лыбишься, как параша? — сказал я ему. — Дурак ты! Был бы на моем месте мусор,

ты бы уже полдня на нарах куковал! Я тебя, придурка, еще в кино срисовал, как ты вокруг меня ошивался...

Он выскочил из-за стола, заорал, слюной забрызгал, длинно и нескладно стал ругаться матом, размахивая руками у меня перед носом.

— Да не шуми ты, у меня слух хороший! — сказал я ему. — И слюни подбери, мне после тебя без полотенца не утереться...

И горбун наконец раздвинул тонкие змеистые губы:

— Сядь, Промокашка, на место. Не мелькай... — И этот противный воренок сразу же выполнил его команду.

Лошак прямо от двери прошел к столу и сразу же, не обращая внимания на остальных, стал хватать со стола куски и жадно, давясь, жрать. Пожевал, пожевал, налил из бутылки стакан водки, залпом хлобыстнул и снова вгрызся в еду, как собака, — желваки комьями прыгали за ушами.

Вошел в комнату Чугунная Рожа — не знаю, как его звали, но мне он больше нравился под таким названием. Он уселся верхом на стул и тоже стал меня разглядывать. А я все еще стоял у порога и думал о том, как бы я с ними со всеми здесь разобрался, будь у меня в руке автомат мой ППШ,

и еще бы хорошо пару лимонок. Они ведь такие сильные и смелые, когда против них безоружный или если их всемеро больше. Ах как бы хорошо было: гранату на стол, сам на пол, за буфет, и длинной очередью снизу вверх, с боку на бок!

Я бы и Аню их распрекрасную не пожалел — такая же сволочь, бандитка, как они все. Это через нее сбывали они на пункте питания награбленное продовольствие! Десятки тысяч наворовала вместе с ними, а кольцо с убитой женщины на палец нацепила. Она в углу около буфета стояла, обнимала она себя руками за плечи — так трясло ее. Посмотрел я на нее и увидел, что кольца на пальце нет, и от этого чуть не заорал: значит, поверила, зацепил я ее, гадину!

Слева от горбуна сидел высокий красивый парень, держа в руках гитару. Один глаз у него был совершенно неподвижен, и, присматриваясь к его ровному недвижному блеску, я понял, что он у него стеклянный, и помимо воли в башке уже крутились какие-то неподвластные мне колесики и винтики, услужливо напоминая строчку из сводки-ориентировки: «Разыскивается особо опасный преступник, рецидивист, убийца — Тягунов Алексей Диомидович... Особые приметы — стеклянный протез глазного яблока, цвет — яр-

ко-синий...»

И спиной ко мне в торце стола сидел еще один бандюга, плечистый, с красным стриженым затылком. Он мельком посмотрел на меня, когда мы только ввалились, и отвернулся, а я его сослепу, с темноты, и не разглядел. А он, видимо, особого интереса ко мне не имел, сидел, курил самокрутку, плечами метровыми пошевеливал.

Долго смотрел на меня горбун, потом засмеялся дробненько, будто застежку «молнию» на губах раздернул:

— Ну что ж, здравствуй, мил человек. Садись к столу, поснедай с нами, гостем будешь... — И сам кролика за ушами почесывает, а тот от удовольствия жмурится и гудит, как чайник.

— В гости по своей воле ходят, а не силком тягают, пушкой не заталкивают, — сказал я недовольно; мне к ним ластиться нечего было, с ласкового теля уголовник две шкуры снять постарается.

— Это верно, — хмыкнул горбун. — Правда, если я в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. И ты садись за стол, мы с тобой выпьем, закусим, про дела наши скорбные покалякаем.

Сел я за стол — тут уж чем подкормиться было! Как в ресторане «Савой», бумажные цветочки на

косточку не надевали, но шмат мяса жареного на блюде лежало — килограмма четыре. Капуста квашеная, маслята маринованные, картошка печеная, селедка зало́м — да чего там только не было! Получше нашего питание у бандитов...

* * *

СОВЕТЫ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙКАМ
Вкусное повидло получается из тыквы, сахарной свеклы и моркови при условии, что они были взяты в равной пропорции. Повидло получается сладкое, добавлять к нему сахар не требуется, даже если оно пойдет для начинки пирогов.

Ольга Зорина, «Вечерняя Москва»

— ...Выпьешь? — спросил горбун.

— Нальете — выпью.

— Клаша! — не поднимая голоса, позвал горбун.

Из двери в соседнюю комнату появилась мордатая крепкая старуха. Она поставила на стол еще три бутылки водки, отошла чуть в сторону, прислонилась спиной к стене и тоже уставилась на меня, и взгляд у нее был вполне поганый, тяжелый, вурдалачий глаз положила она на меня и смотрела не мигая мне в рот. Хорошая компания здесь собралась, что и говорить! Да жаловаться не приходится, я ведь к ним сам сюда рвался...

— За что же мы выпьем? — спросил горбун.

— А за что хотите, мне бы только стакан полный...

— За здоровье твое пить глупо — тебе ведь больше не понадобится здоровье хорошее...

— Это чего так?

— А есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок! — ласково сказал горбун и смигнул дважды красными веками. — Дурилка ты кардонный, кого обмануть хотел? Мы себе сразу прикинули, что должен быть ты мусором...

Я развел руками, пожал плечами, сердечно ответил ему:

— Тогда за твое здоровье давай выпьем! Ты, видать, два века себе жизни намерил...

Он беззвучно засмеялся, он все время так усмехался — тихо, будто шепотом он смеялся, чтобы другие его смеха не услышали. И в смехе открывал он свои белые больные десны и неровные зубы, обросшие рыхлыми камнями, пористыми, коричневыми, как дно чайника:

— Никак, ты мне грозишься, мусорок? — спросил он тихо.

— Чем же это я тебе угрожу, когда вокруг тебя кодла? С пушками и перьями вдодачу? От меня тут за минуту ремешок да подметки останутся...

— А дружки твои из МУРа-то где же? Они-то что

же тебе не подсобят?

Я посидел молча, глядя в пол, потом медленно сказал:

— Слушай, папаша, мне аккурат вчера, об это же время, твой дружок Фокс сказал замечательные слова. Не знаю, конечно, про что он там думал, мне не разобъяснял, но он вот что сказал: самая, говорит, дорогая вещь на земле — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить...

— Это ты к чему? — все так же ласково и тихо спросил горбун.

— А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене достанется. Да-а, глупость и жадность. Больно уж захотелось легко деньжат срубить, вот вы меня ими, чувствую, досыта накормите...

Взял свой стакан и выпил до дна. Закусил капустой квашеной, взглянул на горбуна, а он молча заходится своим мертвым смехом.

— Правильно делаешь, мент, гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя зарежем совсем не больно. Чик — и ты уже на небесах!

— Стоило через весь город меня за этим таскать...

— А ты что, торопишься?

— Я могу еще лет пятьдесят подождать.

— А мы не можем, потому тебя сюда и приволокли. И если не захочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы, мусора, там с Фоксом удумали делать...

Вылегли вперед коричневые рыхлые зубы, сильнее побелели десны, и полыхали злобой его бесцветные глаза мучителя. Черт с ними, пока грозятся, не убьют. Убивать будут внезапно, поворовски.

Обвел их всех взглядом — все они сидели, вперившись в меня, как волки в подранка, — и почему-то первый раз безнадежность пала на сердце холодом праха и отчаяния. Они меня не раскололи, я в этом был просто уверен, но и рисковать не станут.

— Оставлю я вам адрес... Бросьте матери записочку откуда-нибудь... потом... Что так, мол, и так... умер ваш сын... не ждите зря... Это уж сделайте, помилосердствуйте... как-никак зла я вам не совершил... Потом хоть поймете...

— А ты в Москве живешь? — спросил горбун.

— Нет. Ярославская область, Кожиновский район, деревня Бугры, совхоз «Знаменский»...

— Так ты что, деревенский? — удивился горбун, а все остальные молчали как проклятые.

— Какой я деревенский! Но у меня стокило-

метровая зона — прописки не дают, вот я там и проедаюсь шóфером в совхозе...

— А документы у тебя есть?

— У меня теперь всех документов — одна бумажка. — Я достал из гимнастерки справку об освобождении с изменением меры пресечения.

Горбун поднес ее близко к глазам, прочитал вслух:

— «...Сидоренко Владимир Иванович... изменить меру пресечения на подписку о невыезде...» Так у вас там на Петровке целая канцелярия для тебя такие справочки шлепает, — хмыкнул он.

— Чем богаты, тем и рады. Больше все равно у меня ничего нет, — развел я руками.

— А ты как к Фоксу попал? — спросил он миролюбиво, и снова забрезжил тоненький лучик надежды.

— Это его три дня назад ко мне в камеру бросили...

— Ну, а ты там что делал?

— Да ни за что меня там неделю продержали. Я с картошкой приехал — грузовик пригнал в ОРС завода «Борец», у них с нашим совхозом договор есть, — разгрузил картошку и собрался уже назад ехать, а на Сущевском валу ЗИС-101 выкатывает на красный свет и на полном ходу в меня — ша-

рах! Меня самого осколками исполосовало, а они там, в легковой-то, конечно, в кашу. А пассажир — какая-то шишка на ровном месте! Ну конечно, сразу здесь орудовцы, из ГАИ хмыри болотные понаехали, на «виллисе» пригнал подполковник милицейский — шухер, крик до небес! И все на меня тянут! Я прошу свидетелей записать, которые видели, что это он сам в меня на красный свет врубил, а они все хотят носилки с пассажиром тащить. Ясное дело, одна шатия! Хорошо хоть, сыскались тут какие-то доброхоты, адреса свои дали, телефоны. А меня везут на Мещанку — там у них городское ГАИ, — свидетельствуют, проверяют, не пьяный ли я. А у меня с утра маковой росины во рту не было.

Я прервался на мгновение и увидел, что слушают они меня с интересом, и вознес я снова хвалу Жеглову, который начисто отмел предложения о любой уголовщине в моей легенде. А горбун сидел совершенно неподвижно, поджав ножки под себя, и глядел на меня в упор. Только кролик кряхтел и шевелился у него на коленях.

— ...Ну, составляют протокол, заполняют анкету, дошло до того места, что был я судимый и зона у меня стокилометровая, так они прямо взъелись: надо, мол, еще выяснить, не было ли у

тебя умысла на теракт!..

Хорошо, кабы бандиты проверили мои слова и съездили на Мещанку — там открыто во дворе стоит ЗИС-5 с ярославским номером и разбитой кабиной, и на посту службу несет словоохотливый милиционер, который без утайки всем желающим рассказывает об аварии на Сущевском...

— Окунули меня, значит, в камеру, в предвариловку, и сижу я там неделю, парюсь, и следователь из меня кишки мотает, хотя от допроса к допросу все тишает он помаленьку, пока не объявляет мне позавчера: экспертиза установила, что водитель легковой машины ЗИС-101 был в сильном опьянении. Будто оно не в тот же вечер установилось, а через неделю только. Правда, мне Евгений Петрович еще третьего дня сказал: дело твое чистое, на волю скоро выскочишь, нет у них против тебя ничего, иначе одними очняками уже замордовали бы...

— Добрый у тебя был советчик, — кивнул горбун и быстро спросил: — А что же это тебе Фокс так поверил?

— Наверное, понравился я ему. А скорее всего, другого выхода у него не было. Да и показался он мне за эти дни мужиком рисковым. Я, говорит,

игрок по своей натуре, мне, говорит, жизнь без риска — как еда без соли...

— Дорисковался, гаденыш! Предупреждал я его, что бабы и кабаки доведут до цугундера, — сквозь зубы пробормотал горбун...

— Зря вы так про него... — попробовала вступиться Аня, но горбун только глазом зыркнул в ее сторону:

— Цыц! Давай, Володя, дальше...

Ага, значит, я у него уже Володя! Ах, закрепиться бы на этом пятачке, чуточку окопаться бы на этом малюсеньком плацдарме...

— Ты, Володя, скажи нам, за что же власти наши бессовестные тебе зону-сотку определили и судили тебя ранее за что?

— В сорок третьем за Днепром комиссовали меня после двух ранений. — Я для убедительности расстегнул ремень и задрал гимнастерку, показывая свои красно-синие шрамы на спине и на груди. — Вторая группа инвалидности. Оклемался я маленько и здесь, в Москве, устроился шоферить на грузовик. На автобазу речного пароходства. Тут меня как-то у Белорусского вокзала останавливает какой-то лейтенант: мол, подкалымить хочешь? Кто ж не хочет! На два часа делов — пятьсот рублей в зубы. Поехали мы с ним

на пивзавод Бадаева, он мне велит на проходной путевой лист показать — все, мол, договорено. Выкатывают грузчики две бочки пива — и ко мне в кузов. Отвез я их на Краснопресненскую сортировку и помог сгрузить. А через неделю ночью являются за мной архангелы — хоп за рога и в стойло! В ОБХСС на Петровке спрашивают: вы куда дели с сообщником пиво? С каким, спрашиваю, сообщником? А который по липовой накладной две бочки пива вывез, говорят мне. Я туда-сюда, клянусь, божусь, говорю им про лейтенанта, описываю его — высокий такой, с усиками и ожогами на лице. В трибунал меня — четыре года с конфискацией...

— Совсем ты, выходит, невинный? — спросил горбун.

— Выходит! Я когда Фоксу в камере рассказал, он полдня хохотал, за живот держался. Оказывается, знает он того лейтенанта — кличка ему Жженый, и не лейтенант он, а мошенник...

Горбун быстро глянул на убийцу Тягунова, тот еле заметно кивнул головой, и я почувствовал, как меня поднимает волна успеха: аферист Коровин, по кличке Жженый, сидел в потьминских лагерях и опровергнуть разработанную Жегловым легенду не мог. И случай Жеглов подобрал

фактический, они могли знать о нем.

Горбун налил мне в стакан водки, а себе какого-то мутного настоя из маленького графинчика. Милостиво кивнул другим — и вся банда рванулась к стаканам. Налили, подняли и чокнулись без тоста. И тут я увидел, что ко мне со стаканом тянется бандит, который сидел в торце стола — сначала спиной ко мне, а потом все время он как-то так избочивался, что голова его оставалась в тени. А тут он наклонился над столом, протянул ко мне свой стакан и сказал медленно:

— Ну что, за счастье выпьем?..

Его лицо было в одном метре от меня, и ничего больше я не замечал вокруг, только сердце оторвалось и упало тяжелым мокрым камнем куда-то в низ живота, и билось оно там глухими, редкими, больными ударами, и каждый удар вышибал из меня душу, каждый удар тупо отдавался в заклинившем, насмерть перепуганном мозгу, и в горле застрял крик ужаса, и только одно я знал наверняка: все пропало, безвозвратно, непоправимо пропало, и даже смерть моя в этом вонючем притоне никому ничего не даст — все пропало. И мне пришел конец...

Чокнулся я с ним, и сил не хватило отвести в сторону глаза; я так и смотрел на него, потому

что ничего нет страшнее этого — увидеть лицом к лицу человека, от которого ты должен сейчас принять смерть.

Поднял стакан — рукой свинцовой, негнущейся — и выпил его до дна. Напротив меня сидел Левченко. Штрафник Левченко. Из моей роты...

...Штрафник Левченко, из моей роты. С него должны были снять судимость посмертно, потому что он погиб в санитарном поезде, когда их разбомбили под Брестом. До этого его тяжело ранило в рейде через Вислу, мы плавали туда вместе — Сашка Коробков, я и Левченко. Ему тогда в спину попал осколок мины, и он выпал из лодки у самого берега... Значит, не погиб. И вернулся к старым делам. И уже час слушает, как я тут выламываюсь...

— Что ж ты замолчал? Рассказывай дальше... — сказал горбун. Я снова подумал, что горбун должен быть серьезным мужичком, коли сумел установить среди этих головорезов такую дисциплину, что за все время без его разрешения никто рта не открыл.

— Папаша, можно я поем маленько? — вяло спросил я. — После казенных харчей на твой достаток смотреть больно...

— Поешь, поешь, — согласился он. — Ночь у

нас большая...

Не чувствуя вкуса, молотил я зубами мясо, картошку, мягкими ломтями пшеничного хлеба заедал, и все время давил на меня тяжелой плитой взгляд Левченко. Господи, неужели можно забыть, как мы плыли в ледяной воде под мертвенным светом ракет, как лежали рядом, вжавшись в сырую глину за бруствером и прислушиваясь к голосам немцев в секрете? Но ведь, если вдуматься, может быть, и те немцы, которых мы одновременно сняли финкой и ручкой пистолета, были тоже неплохие люди — для своих товарищей, для своих семей. А для нас они были враги, и, конечно, мы им врезали от души, не задумываясь ни на секунду. И я теперь дополз до их окопа, я уже через бруствер перевалился, но здесь меня ждал Левченко, и то, что мы с ним оба русские, уже не имело значения, потому что я приполз сюда, чтобы, как и тогда, год назад, взять его самого и дружков его «языками», я пришел взять их в плен, и кары им грозили страшные, и он знал об этом, и он хорошо знал фронтовой закон — уйти за линию фронта назад он мне не даст. Смешно, но, увидев именно Левченко, я ощутил впервые по-настоящему, что между мной, Жегловым, Пасюком, Колей, всеми наши-

ми ребятами, и ими, всей этой смрадной бандой, их дружками, подельщиками, соучастниками, укрывателями, всеми, кого мы называем преступным элементом, идет самая настоящая война, со всеми ее ужасными, неумолимыми законами — с убитыми, ранеными и пленными.

Когда я командовал штрафниками, я, конечно, не надеялся, что все они — те, кто доживет до победы, — станут какими-то образцовыми гражданами. Но все равно не верилось, что, выжив на такой страшной войне и получив жизнь вроде бы заново, человек захочет ее опять погубить в грязи и стыдухе. Ну что же, рядовой Левченко видел, как воевал его комроты Шарапов, бандит Левченко пусть посмотрит, как умрет Шарапов — старший лейтенант милиции...

Каким-то детским заклятием убеждал я себя, что не наживется Левченко после меня, есть какая-то справедливость, есть правда, есть судьба — падет на него моя кровь, и его проволокут по асфальту, как шофера «студера» Есина.

Поднял я на него глаза, чтобы сказать ему пару ласковых и взглянуть напоследок в буркалы его продажные. Но Левченко и не смотрел на меня, сидел он, подперев щеку ладонью, и равнодушно глядел в угол, будто его и не касалось мое присут-

ствие здесь и молчал он все время. Он молчал! Он молчал! Почему?!! Почему он молчит целый час, хотя узнал меня в первый же миг — мы ведь всего-то год не виделись!

Он ведь не может так все время молчать — он-то понимает, что мой приход сюда — конец им всем! Ведь Левченко в отличие от остальных знает, что в сорок третьем меня не комиссовали по инвалидности, что только в сентябре сорок четвертого принял я командование их штрафной ротой под Ковелем!

Чего же он ждет? Чтобы я выговорился до конца? И тогда он встанет и обскажет друзьям, что и как вокруг них на земле происходит?

А мне-то что теперь делать? В его присутствии дальше ваньку валять нет смысла. Что же делать?

— Машину-то хорошо водишь? — спросил меня горбун.

— Ничего, не жаловались...

— На фронте ты где служил? Шоферил?

— Два года просидел за баранкой, — сказал я с усилием, чувствуя, как язык мой становится тяжелым и непослушным, будто у пьяного. А я ведь и не захмелел нисколько — обстановочка сильно бодрила. Что же делать? Что делать?

Что бы Жеглов на моем месте сделал? Или что стал бы я делать на фронте в такой ситуации? Ну, засекли бы, допустим, немцы разведгруппу — я бы ведь не стал разоряться, размахивая голыми руками. Залег? Или пошел бы на прорыв?

Пропади ты пропадом, Левченко! Нет мне пути назад!

— В автобате 144-й бригады тяжелой артиллерии служил. Две медали имел — при судимости отобрали, — сказал я твердо.

Полыхая весь от ярости, думал я про себя: пускай он, гадина, скажет им, что не служил я в автобате шофером, а вместе с ним плавал через Вислу за «языками», пусть он им, паскуда, скажет, что я сорок два раза ходил за линию фронта и не две у меня отобранные медали, а семь — за Москву, за Сталинград, «За отвагу», «За боевые заслуги», за Варшаву, за Берлин, за Победу! Скажи им, уголовная рожа, про две мои Звездочки, про «Отечественную войну», про мое «Красное Знамя», поведай им, сука, про пять моих ран и расскажи заодно про надпись мою на рейхстаге! И про моих товарищей, которые не дошли до рейхстага, и про живых моих друзей, которых ты не видел, но которые и после меня придут сюда и с корнем вырвут, испепелят ваше крысиное

гнездовье...

А Левченко не смотрел на меня. И молчал.

— А не говорил Фокс про дружка своего? — спросил горбун.

— Убили менты дружка его, — сказал я. — Застрелили, значит...

— Где ж случилось это?

— Не знаю, я там не был, а Фокс не говорил. Сказал только, что по глупости на мусоров налетели и корешу его в затылок пулю вмазали. Без мучений кончился, сразу же помер. Он еще сказал, что так, может, и лучше, раненый человек слабый, его на уговор легче взять...

Обвел я их взглядом — интересно мне было, как они прореагируют на весть о смерти Есина, все-таки им он был свой человек. А они никак не отреагировали — то ли горбун дисциплину такую здесь навел, то ли им наплевать было на Есина. Застрелили — застрелили, и черт с ним.

Все жрал, никак остановиться не мог Лошак. Убийца Тягунов, не обращая на нас внимания, сам с собой карточные фокусы разыгрывал. Чугунная Рожа приладился за столом оружие чистить: пушка у него была хорошая — револьвер «Лефоше», я такой уже видел, хитрая это штука, в ней помимо ствола есть нож, а ручкой как кастетом можно

работать. Аня сидела, сгорбившись, постарев сразу, и тоненько дрожали у нее ноздри, и пальцы тряслись, и я подумал, что она, наверное, кокаином балуется. Бабка-вурдалачка недвижимо подпирала стену и неотрывно на меня глазела, а Промокашка брал из вазочки куски сахару, клал их на ладонь и ловким щелчком забрасывал в рот, и, когда он ловил белые куски вытянутыми губами, походил он сильно на дрессированную дворнягу. А горбун гладил своего кролика, поглядывал на меня красными глазками. И только Левченко как будто здесь отсутствовал.

— А что же нам велел передать Фокс? — вступил в игру горбун.

— Вам он ничего не велел мне передавать. Он мне посулил денег, если я разыщу его бабу и скажу ей, что надо делать. А уж это ее усмотрение — меня сюда заволакивать...

— И что же надо делать? Что тебе Фокс сказал?

— Спасать его он велел.

— Как же это я его *спасу*? Петровку на приступ брать пойду?

— Этого я не знаю. Я только могу сказать, что он задумал.

— Ну-ну, говори...

— Вчера вечером он следователю сказал, что

хочет сознаться в ограблении магазина, где сторожа стукнули...

— Зачем?

— По закону его должны — так Фокс говорит — вывезти на место преступления, чтобы он там показал, как все происходило. Поскольку он ни на что больше не колется, они сразу же ухватились за его признание — им там все, мол, надо задокументировать, снять его на фотографии, чтобы он потом не вздумал отказаться... При нем же по телефону договорились на завтра.

— Ну, это я понял — дальше-то что?

— А дальше он такое суждение имел: пока он на Петровке, повезет его не тюремный конвой, а опергруппа со следователем. И на месте их там должно быть три-четыре человека, ну, пять от силы, не больше. Магазин для такого дела обязательно закроют. Это для вас сигнал будет — как среди дня запрут магазин, значит, должны и его привезти туда вскоре. Он мне сказал, что продумал все до тонкости, каждую детальку обмозговал...

— Он, гад, лучше бы раньше мозговал, как псам в руки не даваться, — буркнул сердито горбун.

— Это я не знаю, я говорю то, чего он мне велел передать. Значит, план у него такой: введут его

в магазин и дверь изнутри прикроют, а вы в это время тем же макаром, что в прошлый раз, войдете через подвал в подсобку. Машина должна на пустыре за магазин отчалиться. Когда он с операми спустится в подсобку, вы их там всех переколете и спокойно черным ходом наружу выйдете. Вот и вся его задумка. Сил, он сказал, наверняка хватит, потому что главное в этом деле — неожиданность...

Тишина наступила гробовая, и я даже забыл на минуту про Левченко, а ведь я его вместе со всеми приглашал в засаду — на смерть. И он-то с моим планом вряд ли согласится. Но это от меня уже не зависело, я сделал все, что мог.

Все молчали и смотрели на горбуна, и мгновения эти были бесконечны.

— Толково придумано, — сказал наконец убийца Тягунов. Ему, наверное, казалось несложным заколоть трех-четырех оперативников.

— «Толково! Толково»! — заорал, передразнивая его, горбун, и белые десны его обнажились в жутком оскале. — У них тоже пушки имеются! Половину наших укокать там могут...

— Риск — благородное дело, — спокойно сказал Тягунов. — Нас ведь где-то обязательно укокают...

— Типун тебе на язык, холера одноглазая! — крикнул горбун. — Перекокают от глупости вашей! Кабы слушали меня, дуроломы безмозглые, жили бы как у Христа за пазухой!

Потом он повернулся ко мне и спросил раздраженно:

— А больше тебе Фокс ничего не говорил?

— Больше ничего. Только Ане велел передать, чтобы она сказала: он за всю компанию хомут на себя надевать не желает, ему вышака брать на одного скучно. Если не захотят его отбить, он с себя чалму сымет — всех отдаст...

— Н-да, н-да, хорошие делишки пошли, — забарабанил горбун сухими костистыми пальцами по столу, и дробь его звучала тревогой. Потом повернулся к банде: — Ну что, какие есть мнения, господа хорошие?

Аня сразу сказала:

— Вы просто обязаны спасти его...

— Ты-то помолчи! Ты под пули-то ментов, чай, не полезешь.

— Это не женское дело! А свое дело я лучше вас делала, все денежки через меня к вам прибежали! — она кричала в голос, на истерике, судорожно рвались крылья носа, посинело лицо. — И такой же голос, как все, имею!..

— А у нас тут не избирательный участок! — стукнул по столу горбун. — И не собрание. Я вопросы решаю не голосованием, я хочу всех послушать — может, мыслишку кто-нибудь подходящую подбросит...

Чугунная Рожа показал на меня рукой:

— Его убрать отсюда надо — не верю я ему...

Горбун быстро глянул на меня, помотал головой:

— Пускай сидит — безразлично это. Мне хоть жаль его, но не в свое дело он встрял. Один у него только шанс...

Я ему зло сказал:

— Пожалела глупая чушка, когда поросенка своего сожрала.

— Цыц! — прикрикнул он на меня. — Ты сиди, помалкивай...

Убийца Тягунов взял с дивана гитару, перебрал струны, пропел вполголоса:

Воровка никогда не станет прачкой,
А жулик не подставит финке грудь.
Эх, грязной тачкой рук не пачкай —
Это дело перекурим как-нибудь...

Все ждали, что он скажет, а он налил полстакана водки, выпил, сморщился, закусывать не стал,

бормотнул быстро:

— Мне один хрен! Хотите — пойдем резать мусоров, хотите — завтра же разбежимся, на дно ляжем...

— Тебе-то один хрен, нишкнул — и нет тебя! А я? Куда нажитое дену?

И старуха-вурдалачка согласно ему закивала, и по морде ее противной я видел: если бы взяли ее, то и она бы с охотой пошла нас резать.

Лошак оторвался от жратвы, поднял грязную кудлатую голову:

— Пропадет Фокс, жалко. От него мы еще пользу могли бы поиметь. Да и коли он расколется, мы тута заскучаем...

— Ты потому смелый, что думаешь в кабине отсидеться, нас дожидаясь, пока мы там с мусорами душиться будем, — сказал горбун. — Не рассчитывай: с нами в подвал пойдешь, коли решимся...

— Без водилы не боишься остаться? — спросил Лошак. — Есина-то больше нету, чпокнули его менты...

— Не боюсь, — ядовито ухмыльнулся горбун. — В крайнем случае, я вон его за баранку посажу... — И показал длинной корявой рукой на меня.

— Ага, — сказал Чугунная Рожа. — Он тебя привезет на Петровку...

— Кончайте базар! — вдруг сказал Левченко, и сердце у меня бешено замолотило — началось!

Левченко помолчал и сказал:

— Надо идти Фокса вынимать с кичи. Если не вызволим его, тогда и нам всем кранты пришли!..

И снова отодвинулся в тень.

Не мог я понять, что он себе думает, да и горбун не дал мне времени, потому что сказал:

— Я вот что решаю — мы тебя с собой возьмем...

— Зачем? — привстал я на стуле.

— Затем. Допустим, ты мусор — мы тебя если сейчас прирежем, ничего не получим. А возьмем с собой — получим. Коли приведешь нас в засаду, мы тебя первого начнем в куски рвать. У вас ведь какой был план, если ты, конечно, мусор? Ты нам тут песни свои споешь, и мы тебя отпустим, чтобы ты начальству доложился, как нас обхитрил...

— Да что мне с вами хитрить? В гробу я ваши дела видел...

— Знаем, знаем, ты нам лазаря не пой. Только обхитрить меня кишка еще тонка. Я тебя с собой возьму в магазин, и, как первого опера увидим, сразу начнем тебя резать, ломтями настругаем, падаль...

Это был для меня действительно непредвиденный поворот. И заканчивался он тупиком — оттуда мне уже наверняка выхода не было.

— Тогда режь меня в клочья сейчас! — сказал я ему. — Никуда я с вами не пойду! Нечего мне там делать...

— А-а! — протянул горбун. — Вот это уже теплее...

— Теплее, горячее — мне наплевать! Только ты подумай, с какой мне стати туда соваться? Ну, у вас там дело — дружка выручаете, вместе картишки раскинули, теперь пора колоду сымать. А я-то с какой стати туда сунусь? Вы себе лихим делом карманы набили, завтра рисканете — и, коли выгорит, вы и на свободе, и при деньжищах. А я за что на пули милицейские полезу? За пять тысяч ваших паршивых?

— А что же ты соглашался, если они такие паршивые?

— Так я на что соглашался? Передать записку и обсказать, как там и что у Фокса. А под пули либо под смертную казнь я не согласный. Уж лучше вы меня убивайте, — может, матери какую-то пенсию за меня положат, чем вот так, за бесплатно, против власти...

— А если не за бесплатно? — с усмешкой глянул

на меня горбун.

Я долго бубнил себе под нос, потом выдавил:

— Несерьезный это разговор. Если всерьез говоришь, ты скажи мне цену, условия скажи — что делать придется; я же ведь не козел — ходить за тобой на веревке...

— У тебя сейчас одно дело — живым уйти отсюда. И за это дело ты будешь стараться на совесть...

— Не буду, — сказал я тихо и дернул с силой гимнастерку на груди. — На, режь — сроду никому не был бобиком и перед тобой плясать не стану. Что вы меня мытарите? Что душу из меня рвете? «Зарежем, задушим, убьем»... Вы мне не верите — ваше право! Но вы меня на враках не словили, а я-то вижу уже: нет у вас людской совести, и слова железного блатного нету! Мне что Фокс говорил? Так вы хоть за друга своего мазу держите!

— Когда тебя на враках мы словим, поздно уже будет, — горестно кивнул горбатый, и мне показалось, что начал он колебаться.

— Ну подумайте головой своей сами, вы же не только лихостью проживаетесь, но и хитростью, наверное...

— Об чем же нам думать? — сказал Чугунная Рожа, глядя на меня с ненавистью.

— Ну был бы я сука, у ментов на откупе, и велели бы они мне бабке звонить, Аню искать, так разве дали бы они мне к вам сюда свалиться? Там бы на Банковском похватали бы и ее, и этих двух обормотов, а уж на Петровке-то, по слабому ее женскому нутру, выкачали бы они из Ани вашей распрекрасной и имена, и портреты ваши, хазы и адреса. На кой же ляд им было вас мною манить? Понаехало бы их сюда два взвода, из автоматов раскрошили бы вас в мелкий винегрет — и всем делам вашим конец...

— Складно звонишь, гад, да об одном забываешь: не стала бы Аня на Петровке колоться? Что бы тогда уголовка делала?..

— А им четверых, думаешь, мало? Вместе с Фоксом-то? А с шофером укоканным — пять? Почитай, половины этим вечером вы бы недосчитались. Это, значит, первое. А второе — не стала бы Аня колоться, говоришь? Может, и не стала бы. Только со мной сидели и не такие бобры — и тех в МУРе кололи...

— Свинья ты противная, — сказала мне душевно Аня, и ноздри ее синеватые прыгали от страха, злости и марафета. Я уже видел краешком глаза, как она к носу белую понюшку подносила — и глаза сразу маслились, темнели, слеза слепая

подступала, и отключалась она в эти минуты от нас. А потом снова выныривала, вот как сейчас: «Свинья ты противная».

Ладно, пускай. Неизвестно, доживу ли, увижу ли своими глазами, но одно-то я наверняка знаю: Жеглов тебе марафету не даст. Ты у него без «дури» попрыгаешь...

— Вопрос у меня к тебе имеется, — наклонился ко мне и кролика с колен спихнул горбун. — Зачем тебе деньги, что Фокс посулил?

— Как это зачем? Кому же деньги не нужны?

— Ну что сделать с ними хотел? Пропить, с бабами прогулять, в карты проиграть, может, костюм справить?

— Это у вас деньги легкие, быстрые — вы их и можете с бабами прогуливать да в карты проигрывать. Мне для дела надобны деньги...

— Для какого?

— Рассуди сам — живем мы у себя там, в Буграх, в чужой избе. Я все амнистии дожидал, чтобы прописку в Москве вернули, а мне кукиш под нос. Значит, надо на новом месте обживаться. Мужиков в деревне мало, а я к тому же и на машине, и на тракторе умею, руки у меня спорые, дадут мне, значит, какую-то избу. Но ведь покрыть ее надо? Венцы новые подводить, стеклить, печь

перекладывать, сараюшко ставить — это ж все материял, за все платить надо! Женился бы, корову купил, кабанчиков пару на откорм пустил. Да мало ли что сделать можно, когда в кармане копейка живая шевелится!..

— Любишь деньги, значит? — прищурился горбун.

— Люблю, — сказал я с вызовом. — Ты мне такого покажи, что деньги не любит. Их все любят...

— Вот завтра ты и пойдешь с нами за Фоксом, и, если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег, — твердо сказал горбун.

— Нашел дурака! — сказал я. — Моей жизни и сейчас-то цена две копейки, а завтра, коли все хорошо получится, она у тебя в руках и гроша стоить не будет...

— Это почему же?

— А потому, что уже сейчас, чтобы деньги мои отнять, заработанные, пять кусков кровных, ты меня ментом выставляешь и под этим соусом вы глотку мне готовы спокойно перерезать. Вот и выходит, если выгорит у вас завтра дело, вы меня из-за этих денег тем более прикончите, а если менты ловчее вас окажутся, то они меня вместе с вами в подвале угрохают...

— Ты говори, да не заговаривайся! — насупился

горбун. — Если блатной украл у друга, его за это судит «правило» воровское. А о деньгах потому разговор, что ты не блатной и мы тебе пока не верим...

— Папаша, дорогой, что же мне сделать, чтобы ты мне поверил? Самому, что ли, зарезаться? Или из милиции справку принести, что я у них не служу?..

Заерзали, зашуршали недовольно, зашумели мазурики проклятые, и вдруг неожиданно громко засмеялся Левченко, и от смеха его я вздрогнул — я уже маленько привык сидеть на этой гранате с сорванной чекой, а она вдруг зашевелилась.

— Смешной парень! — сказал Левченко и повернулся к горбуну: — Ты, Карп, все правильно мерекуешь — нам сгодится этот фраерок, он парень шустрый и жох. И дух в нем есть живой. А дураков наших не слушай — ты правильно решил...

— Поучи жену щи варить! Не решил я еще ничего, — зло кинул ему горбун и повернулся ко мне: — А тебе, мужичок, я больше повторять не буду — пойдешь с нами и сиди, засохни...

— Сколько же ты мне денег дашь, — спросил я с вызовом, — коли Фокс завтра с тобой за этим столом сидеть будет?

Горбун подумал, пошевелил тонкими змеистыми губами:

— Десять кусков...

Я встал из-за стола, подошел к нему, низко, до земли, поклонился:

— Спасибо тебе, папаша, за доброту твою, за щедрость. Значит, если я сука, зарежете вы меня, а если всю вашу компанию спас я сегодня от гибели неминуемой, насыплешь ты мне целых десять кусков. Двадцать бутылок водки смогу купить. Спасибо тебе, папаша, за доброту твою небывалую...

Не успел я еще разогнуться, так и стоял, поклонившись, и только мелькнул удивительно быстро его валяный сапог в воздухе — и брызнули у меня искры из глаз, и боком завалился я на пол, размазывая по лицу хлынувшую из носа кровь. Привстал я на четвереньки, потом, качаясь, поднялся, и носило меня всего по воздусям от волнения, выпитой водки и боли в лице...

— И еще раз тебе, папаша, спасибо за справедливость. И за ласку, что мне Фокс обещал...

А горбун беззвучно хохотал, разевая молча свою ужасную белую пасть с отвратительными пористыми зубами, и я видел, что силы в нем пока еще предостаточно. И остальные довольно

ухмылялись, и Левченко смотрел на меня мрачно и грустно.

— Дал бы ты ему еще пару раз для ума, — посоветовала Аня, и глаза ее черные были сплошь залиты безумным страшным зрачком.

Кролик перебежал через комнату и, как кошка, попросился к горбуну на колени, умостился там и, шевеля длинными ушами, смотрел на меня с любопытством; и от этого белоснежного кролика, ластящегося к рукам мучителя и убийцы, от молчаливой глыбы непонятно откуда взявшегося здесь Левченко, от трясущихся тонких ноздрей Ани и слепых ее огромных зрачков, от серой рожи Чугунного, от вурдалачьего пристального взгляда старухи Клаши и безмолвного жуткого смеха горбуна — от всего этого и от кровавой мути в моей голове показалось мне на миг, что ничего этого не происходит, что все это — продолжение какого-то кошмарного сна, ужасной привидевшейся дури, что все они небыль, выдумка: надо просто потрясти сильнее башкой, встряхнуться, вырваться из цепких объятий страшного сновидения — и все они, все это гнусное гнездовье исчезнет бесследно, навсегда...

Но не стал я трясти башкой — они мне не привиделись, и кровь по моему лицу текла самая

настоящая. Мама, ты слышишь меня, мама?! МАМА! МА-МА! Мамочка, я очень устал...

Не назначат тебе за меня пенсии, мама... Она ведь тебе и не нужна совсем... Тебя ведь уже четыре года нет... И я даже не знаю, где твоя могила...

МАМА! ЗАСТУПИСЬ ЗА МЕНЯ — НЕТ У МЕНЯ БОЛЬШЕ СИЛ!..

Мамочка! Неужели у них тоже были матери?..

— Расписочку получил? — мирно спросил горбун.

— Получил, спасибо большое...

— Теперь веришь мне на слово?

— Нет, не верю...

Не видел я, как мигнул он Чугунной Роже, и тот сзади ударил меня сложенными вместе кулаками по шее — от такого леща снова я брякнулся на пол и, сплевывая на белые доски красно-черные сгустки, сказал:

— Папаша, дорогой, не верю — рви меня на куски...

Горбун, задумчиво глядя на своего снегового кролика, сказал:

— Люблю я кроличков, божья тварюшка — добрая, благодарная, ласковая. И к смерти готова благостно. А вы, людишки, все суетитесь, гоношите, денег достигаете...

— Засуетишься, пожалуй. — И старался я скорее встать на ноги, чтобы они не топтали меня перед смертью, последнему поруганию не подвергли; и билась во мне мысль, неустанная и громкая, как мое сиплое дыхание: умереть мне надо, как жил, стоя!

— И зря, и зря! Ты бы о душе подумал, — сказал горбун, зажал в ладони белую кроличью головку и, еще почесывая у него за ухом большим пальцем, взял со стола вилку и мгновенным движением ткнул кролика в красную дрожащую пуговку носа, и я видел, что проступила только одна крохотная капля крови — и весь этот пушистый, теплый ком жизни вдруг судорожно дернулся, вздрогнул, пискнул еле слышно. И умер.

Горбун поднял его с колен за уши, пустым белым мешком вытянулся зверек в его руке.

— Хорош, — сказал горбун. — Фунтов десять...

Бросил его бабке-вурдалачке и сказал тихо:

— Затуши с грибами. — Резко крутанулся ко мне, зыркнул глазом воспаленным: — Понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной?

— Понял, — кивнул я. — Вот ты завтра и пошли кого-нибудь из своих архаровцев в сберкассу — положить на мое имя деньги. Сорок тысяч.

И будут у нас полная любовь и доверие друг к дружке. И послужу тебе на совесть...

— Ну и упрямый же ты осел! — засмеялся белыми деснами горбун. — А на что тебе сберкнижка?

— В ней вся моя надежа, что не пришьете меня потом, как падаль ненужную. Денежки-то эти вам с моей книжки не выдадут. Так ведь? А коли Фокса высвободим, они мне еще сгодятся. Да и он сам, даст бог, мне чего-нито подкинет. Нет, мне с вами без сберкнижки никак нельзя...

— Черт с тобой, кулацкая морда! — сказал с каким-то облегчением горбун. — Противный ты жмот, смотреть на твою жадность крестьянскую отвратно.

— Тебе на твоих харчах, может, и отвратно, а я тоже белый хлеб с мясом люблю...

— Цыц, дурак! Ты, Промокашка, завтра к восьми пойдешь в сберкассу, положишь на его имя двадцать пять кусков — пусть подавится ими, жмот... Сберкнижку принесешь мне...

— Мне, — подал я голос. — Сберкнижку мне. Она меня у сердца согреет, когда я в подвал полезу. С ней мне милицейские пушки не так страшны будут — знаю, за что рискую...

— Заткнись, — устало сказал горбун. — Время позднее, всем дрыхнуть до утра. Завтра нам си-

ленки понадобятся. В шесть вставать. Кто стеречь эту харю будет?

Всем спать хотелось, и в этой короткой заминке прозвучал вязкий голос Левченко:

— Я. — Помолчав немного, добавил: — Он со мной в светелке наверху пусть дрыхнет. Я его не просплю... — Встал из-за стола, подошел ко мне и легонько толкнул в спину: — Давай шевели копытами. Иди наверх...

По скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, и я чувствовал, как ступеньки под ногами пружинят и гнутся под каждым тяжелым шагом идущего позади Левченко. Вошли в темную комнату, и во влажно-синем отблеске окна я рассмотрел сбоку топчан и сел на него, и состояние у меня было такое, будто я вынырнул из обморока. Где-то совсем рядом мучительно взвизгнули пружины под могучим телом Левченко. И снова было тихо. Откуда-то снизу доносились сюда истертые лоскуты голосов, звякала посуда, и долго, занудно, на одной гудящей ноте говорил что-то Чугунная Рожа. А здесь только слышалось тяжелое ровное дыхание Левченко, и молчание его было плотным, как каменная плита, и давил он меня этой плитой невыносимо.

И так неожиданно, что я вздрогнул, он сказал

чуть слышно — не шепотом, а просто очень тихо:

— Ну, здорово, ротный...

— Здорово, Левченко...

Он помолчал и так же тихо, но очень внятно сказал:

— Через час они угомонятся. Я тебя выведу отсюда...

И в новой тишине уже не было прежней ненависти, не было таким страшным его молчание, пока я не ответил шепотом:

— Нет, Левченко. Я не пойду...

Он не спешил с ответом, а когда заговорил, то в словах его была грустная уверенность:

— Убьют они тебя, Шарапов. Я бы этого не хотел...

— А тебе-то чего?

— Ничего. Не хочу, и все...

— Нет, Левченко. Не надо. Кабы я хотел уйти, я бы не пришел сюда...

— Понятно, — сказал Левченко, помолчал, и тишина сгустилась, напряглось наше молчание. — Тогда придется, Шарапов, заложить тебя моим дружкам. Ты за их жизнями пришел ведь. И за моей. На меньшее ты не согласишься...

— Заложи меня, Левченко, заложи... Кровь моя

на тебя падет, и земля тебя не примет, а будет вышвыривать, как грязь и камни...

— А что же мне делать, Шарапов?

— Уходи отсюда ты. Еще не поздно, ты можешь завтра не ходить в подвал, если уйдешь сегодня...

— И что будет?

— Я сделаю то, за чем пришел сюда. И жизнь твою не возьму...

— Но они наверняка возьмут тогда твою жизнь...

— Да, наверное. Но это уже будет тогда неважно...

— Разве это бывает неважно?

— Бывает, Левченко. Когда мы с тобой год назад плыли через Вислу, нам обоим это было не так важно. И Сашке Коробкову. А теперь ты в том окопе. А я снова плыву с нашей стороны. Поэтому ты уходи, отваливай, уволься. Нам обоим будет легче...

И снова мы надолго утонули в молчании, плотном и едком, как прачечный пар. Шуршали, скрипели внизу голоса, заплакала громко, на крик, Аня, зудел, пилой подвизгивал старушечий голос, — наверное, вурдалачки Клаши. Текли, капали минуты, и Левченко наконец подал голос:

— Давай спать ложиться — завтра вставать

рано...

— А что решил-то?

— Пойду с вами всеми...

— Убьют тебя там. Наши убьют, коли окажете сопротивление. А сдашься — тюрьма тебя ждет. Надолго...

Левченко покашлял, вытянулся, кряхтя, на матрасе, и крикнули под ним испуганно пружины.

— Убьют — суждено, значит. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. А в тюрягу — не-е, в тюрягу больше не сяду. В жизни больше не сяду...

Глаза немного привыкли к темноте, и громадное тело Левченко глыбой темнело на матрасе у стены. Он дышал громко и ровно — вдох-выдох, вдох-выдох, — и я ощущал его как бомбу с часовым механизмом — тик-так, вдох-выдох, — и нельзя было угадать ни за что, на каком тик-таке рванет она и разнесет вокруг все вдребезги.

Внизу убийца Тягунов напился, видимо, и пел песни, здесь отчетливо слышался его высокий злой голос, пьяный и бесшабашный. Он голосил:

Денежки лежат в чужом кармане,
Вытащить их пара пустяков.
Были ваши — стали наши, эх!
На долю вора хватит дураков...

Цыкнул на него с ожесточением горбун, и громче, истеричнее заплакала Аня. Тик-так, вдох-выдох, тик-так, вдох-выдох, тишина, темнота и тоска.

— Завидую я тебе, Шарапов, — сказал Левченко.

— Завтра некому будет завидовать. А так все хорошо, — усмехнулся я.

— Вот этому я и завидую, — сказал Левченко. — В твоей жизни был смысл...

И я невольно обратил внимание, что он говорит обо мне как о покойнике.

— Знаешь, Левченко, мне, наверное, завтра лихо достанется. Но я ведь не жалею. Я на это иду за очень большое дело. А ты? Из-за этого горбатого упыря? Помнишь, мы с тобой в разбитом блиндаже под Ковелем сидели и мечтали, как заживем после войны?..

— Беда только, что с нами вместе не мечтал тот пес поганый, из-за которого моя жизнь снова под уклон побежала...

— Это кто такой?

— Когда разбомбили немцы под Брестом санитарный поезд, документы все сгорели. Оклемался я, раньше срока из госпиталя рванул — хотел вас догнать. Размечтался о небесных кренделях и в

запасном полку все про себя обсказал: так, мол, и так, ранее трижды судимый, был в штрафной роте, представлен к снятию судимости, как искупивший кровью свою вину, и направлена на меня наградная — ты же мне в медсанбате еще сказал. А там сидит такая сука нерезаная, крыса тыловая, рожу раскормил красную — хоть прикуривай. И говорит мне: нет на этот счет в вашем деле никаких сведений, рядовой Левченко, и, пока мы выясним, направляйтесь-ка вы снова в штрафную роту. Обидно мне стало — что же это, совсем правды на земле нет, что ли? Сказал я ему пару ласковых, он в крик, то-се, до рук дошло, ну, мне трибунал армейский новый срок. И привет! В июне сбежал и вот с этими гнидами кантуюсь. Куда же мне деваться теперь? Один путь...

— Слушай, Левченко, я тебе больше не командир, приказывать не могу, но прошу тебя как человека — уходи сегодня. Если только вывернется так, что уцелею завтра, по всем инстанциям с тобой пройду, расскажу, как ты воевал...

— А про подвиги мои после войны тоже расскажешь? — тоскливо спросил Левченко. — Нет, Шарапов, со мной дело кончено. А тебя я не расколол потому, что под одной шинелью нам спать доводилось и офицерский свой доппаек ты

под койкой втихаря не жрал, за спины наши не прятался под пулями. А с Вислы на себе меня, с осколком в спине, до санитаров дотащил. Поэтому мы с тобой вместе завтра пойдем, и как уж там бог даст, так и будет.

— Левченко... — окликнул я его.

— Ладно, Шарапов, хватит! Давай спать, не о чем толковать...

И громко, часто задышал: вдох-выдох, вдох-выдох, тик-так, тик-так... Вытянулся я на своем топчане, закрыл глаза и только сейчас ощутил, что всего меня еще до сих пор трясет дрожь уходящего напряжения и страха. Уходить с Левченко нельзя: если меня хватятся, логово тут же опустеет. Конечно, не так нам все это мнилось — Жеглов этого в виду не имел, да и я не собирался из себя живца устраивать. Мы ведь думали их только к магазину этому подманить, а делать из меня заложника не собирались. Да вот так уж выкрутилось — для дела лучше, для меня хуже. И, прикидывая сейчас шансы выйти живым из этой заварухи, я с грустью убеждался, что их не существует. Реальных. Даже если руководство МУРа отменит операцию и заманивать банду в ловушку не станут, а нападут прямо у магазина, всегда у бандитов останется миг, чтобы выстре-

лить в меня или воткнуть нож. И не помогут даже уроки инструктора по самбо Филимонова — слишком их много вокруг меня будет, и рассердятся они наверняка очень сильно. Так что, Шарапов, финиш? Или еще покувыркаемся? Ведь там, на воле, остался Жеглов — он же не сидит сложа руки, они ведь там наверняка все думают, как меня вызволить. Но нет связи — даже если придумают, мне этого сюда не передать. Но придумают наверняка! Должны придумать! Они не могут меня здесь бросить...

Эта мысль снова вдохнула в меня какую-то надежду, и я начал лихорадочно думать о том, что могут сделать наши ребята. Только суетиться не надо, нужно медленно, не спеша думать, обстоятельно, как думают там сейчас они. Они наверняка думают, может быть, даже придумали уже. Но не имеют возможности сообщить мне. Хорошо, давай так прикинем: если бы я был с Жегловым на воле, а на моем месте здесь парился Пасюк. И мы бы придумали план его спасения, а сообщить не можем, и из-за этого план может не сработать — он ведь расписан на две роли или на несколько — и если он не будет знать, что делать, то спектакль не состоится. Что бы мы с Жегловым тогда решили? Использовать какой-то план, или

обстоятельства, или условия, которые нам были известны и до нашей операции и о них ничего не надо сообщать дополнительно...

От этих быстрых судорожных мыслей гудела голова и сна не было ни в одном глазу — мне очень хотелось отыскать лазейку, я так не хотел умирать!

Что же нам обоим с Жегловым было известно заранее?

Состав банды? Нет!

Их характеры? Нет!

Изменение плана? Нет!

Место операции? Да!

* * *

В госпитале, где начальником тов. Лившиц, состоялась встреча раненых с чемпионом Москвы В. Смысловым. Гроссмейстер рассказал воинам о шахматном матче СССР — США, а затем провел сеанс одновременной игры.

«Московский большевик»

...Место операции!! Да! Да! Да!

Изменить место действия они не могли! Фокса привезут туда, где мы рассудили удобным их взять.

И мне и Жеглову хорошо известно место — подвал магазина. Длинный тоннельчик, приемка, кладовые... Так, а там была еще кладовая, из дверей которой горбун огрел сторожа топором по голове. Маленькая комнатка, полтора на полтора, с толстенной обитой дверью. Мы там долго крутились с Жегловым — у порога этой кладовки лежал убитый сторож. Дверь в нее открывается вовнутрь...

Там было очень светло — Гриша для осмотра и фотографирования ввернул специально

стосвечевку. На двери кладовки был тяжелый засов. А если там будет темно?.. Совсем темно — в тоннельчике и в приемнике... Если Жеглов догадается отпереть и приоткрыть дверь в кладовку... Туда в темноте можно нырнуть... Дверь, конечно, бандиты могут взломать... Но для этого нужно время — хоть пара минут... За пару минут много чего может произойти... Кладовка квадратная, с прилавком вдоль стен... Сбоку от двери приступочек и маленькая ниша в кирпичной стене... Ниша совсем крохотная... Но боком в ней можно поместиться, если бандиты будут стрелять через дверь. Можно выгадать одну-две минуты — и в них вся моя жизнь... Ах, если только догадается Жеглов!.. Он должен, он просто обязан догадаться. Ведь это мой единственный шанс... Глеб, я еще очень жить хочу! Глеб, меня ждет Варя! Мы должны были сегодня вечером встретиться, но дело не сорвалось... Мы договорились встретиться, если дело сорвется... Но дело не сорвалось, и я сделал все, что мог...

Варя, любимая моя, я знаю, что ты сейчас тоже не спишь — у тебя ночное дежурство, от ноля до восьми утра... Варя, родная, я и сам не знал, что так все выйдет. Я не хотел тебя обманывать — я всегда знал, тебя нельзя обманывать... Варя,

жена моя, счастье мое, короткое и светлое, мы ведь с тобой так и не попали в загс... Варя, а как же наши пять неродившихся сыновей?!! Варя, ведь у нас с тобой есть сын — найденыш, который должен был принести мне счастье! Варя, свет моей жизни, любовь моя. Варя, я знал, что полюбил тебя на всю жизнь в тот момент, когда ты, тоненькая, высокая, легкая, вошла с нашим сыном-найденышем на руках в двери роддома имени Грауэрмана, старого дома около Собачьей площадки, где когда-то незапамятно давно я и сам родился... Варя, не моя вина, что такая короткая была у нас любовь — только одну ночь, сиреневую, мгновенную, как электрическая искра, были мы вместе... Варя, ты же сама говорила, что через двадцать лет пройдут по нашим улицам люди, не знающие страха. И я заплачу за это всем своим ужасным страхом, всей тоской своей, всей болью... Варя, родная моя, а вдруг под сердцем своим ты понесла крохотную искорку — продолжение меня самого? Варя, насколько мне легче было бы завтра умереть, если бы я знал, что не исчезну совсем, что останется в Городе Без Страха часть меня, мой сын, твое дитя, моя любимая... Не забывай меня, Варя, — ты еще совсем молодая и очень красивая, тебя еще будут любить, и я очень

хочу, чтобы ты была счастлива, Варя, но только не забывай меня совсем, хоть чуточку памяти сбереги обо мне, Варя...

Варя, как хорошо, что ты пришла ко мне сейчас... Но ведь ты до утра должна была дежурить? И где ты набрала столько цветов? Сейчас же осень... Эти цветы мне? Не плачь, Варя, ты такая красивая, когда ты смеешься... Спасибо тебе за цветы, Варя, я никогда не видел ромашек в ноябре... Ты все можешь, Варя... Разыщи нашего найденыша, Варя... Как не помнишь? Ты сдала его в роддом имени Грауэрмана, около Арбатской площади. Там есть на него документы. Жеглов тебе поможет, Варя... Не бойся, моя родная, он не заберет цветы — они ведь для меня... Он спасет меня в подвале, и мы отдадим ему ромашки... Он спасет... Варя, он спасет... Куда же ты, Варя? Не уходи, Варя... Не уходи... Мне одному очень страшно... Варя!.. Варя!.. А-а-а!..

Я открыл глаза, и увидел над собой черное лицо Левченко, и снова смежил веки в надежде, что все еще длится сон, надо подождать миг, открыть опять глаза — и наваждение исчезнет.

— Вставай, Шарапов, пора, — глуховато сказал Левченко своим вязким голосом.

Комната была залита серым рассветным сумра-

ком, и в этом утре было предчувствие какой-то еще не ведомой мне перемены. Я встал, подошел к окну и увидел, что за ночь все укрылось снегом. На грязную, истерзанную осенними дождями землю пал снег — толстый, тяжелый, как мороженое.

— Что, Шарапов, окропим его сегодня красненьким? — спросил у меня за спиной Левченко.

— Посмотрим, как доведется...

В уборную меня уже конвоировал Чугунная Рожа, и с этого момента он не отходил от меня ни на шаг. В большой комнате внизу сидел на своем месте горбун, его мучнистое лицо за ночь стало отечным, серым. Но он пошучивал, бодрился, покрикивал на бандитов, меня спросил, заливаясь своим белым страшным смехом:

— Ну как, не передумал за ночь? А то мы тебе по утряночке живо сообразим козью морду...

— Допрежь, чем обещаться, я думаю. Коли будет мне сберкнижка, пойду, все, что скажешь, сделаю...

На завтрак ели вареное мясо, яичницу на две дюжины яиц со смальцем, пили чай. Глупая мысль промелькнула: хоть наемся по-людски напоследок... Ани не было — то ли спала еще, то ли ночью уехала. Да она интересовала меня совсем

мало — куда она денется? А кроме Промокашки, все были в сборе. Опохмелиться горбун разрешил всем одним стаканом.

— Бог даст, вернемся с добром — тогда возрадуемся, — сказал он. — А на деле ум должен быть светел и рука точна...

Полдевятого явился Промокашка и протянул горбуну серую книжечку, хрустко-новую, с гербом на обложке.

— На обычный или на срочный вклад положил? — спросил я.

— На обычный, — сказал горбун, листая сберкнижку.

— Это жаль, на срочном за год еще один процент вырастает...

— Ты проживи сначала этот год, — сказал горбун и бросил мне книжку через стол так, что она проскользила по столешнице и упала на пол, и видел я, что сделал он это нарочно — заставить меня нагнуться еще раз, снова поклониться себе. Ничего! Поклонимся. Поднял с пола, перелистнул — все чин чинарем: Сидоренко Владимир Иванович... двадцать пять тысяч...

— Спасибочки вам, папаша. — Спрятал книжечку в карман и сел допивать чай. И во всем этом чаепитии и бестолковой утренней суете, в ожи-

дании и в неизвестности уже витал потихоньку сладковатый тошнотворный запах смерти...

В начале десятого горбун слез со своего высокого стульчика и скомандовал собираться. Лошак подавал ему тулупчик, он неспешно заматывал шею длинным шерстяным шарфом, рыжий лисий малахай натягивал, продевал длинные обезьяньи руки в романовский теплый тулупчик, а Лошак терпеливо стоял за его спиной, как лакей. Холуи! Противные холуи!

Нацепил малокопеечку и пальтишко Промокашка, влез в реглан убийца Тягунов, накинул на плечи ватник Чугунная Рожа, подпоясал ремнем шинель Левченко. У стены неподвижно стояла бабка Клаша и буравила меня глазом. Но молчала.

— Ну, молодцы, родимые, с богом? — сказал-спросил горбун. — Присядем на дорожку, за удачей двинулись мы... И снег нам сподручен — коли там мусора были, то на пустыре они наследили обязательно...

Все присели, а горбун сказал:

— Верю я, будет нам удача — по святому делу пошли, друга из беды вызволять.

Я подумал, что он гораздо охотнее отработал бы друга своего, как кролика вчера, кабы не боялся,

что он их завтра всех сдаст до единого...

Горбун встал, подошел к Клаше, бабке-вурдалачке, обнял ее, и троекратно расцеловались они.

— Жди, мать, вернемся с удачей...

Ах вы, тараканы! Упыри проклятые! Кровью чужой усосались, гнездовье на чужом горе выстроили, на слезах людских...

Да ты, бабка Клаша, не на меня смотри, а на своего распрекрасного горбуна! Последний раз вы, сволочи, видитесь! Навсегда, навсегда, навсегда! Конец вашей паучьей семейке наступил! Не вернется паук, не вернется...

— Стерегись его, Карпуша, — сказала бабка-вурдалачка и показала на меня в упор пальцем. А я ей поклонился и сказал:

— Готовь, бабка Клаша, выпивку-закуску, пировать к тебе приеду...

— Пропади ты пропадом! — громко, с ненавистью шепнула она и отвернулась.

Горбун толкнул меня легонько в спину:

— Хватит языком трясти. Пошли...

На улице был сладкий снежный запах, белизна и тишина. Во дворе за двухметровым заплотом стоял уже прогретый хлебный фургон, горбун уселся с Лошаком в кабину, а мы попрыгали в же-

лезный ящик кузова. Заурчал мотор, затряслась под ногами выхлопная труба, грузовик медленно тронулся, перевалил через бугор у ворот и выкатил на улицу. И поехали мы...

Тягунов, Левченко и я уселись на пустых ящиках, а Чугунная Рожа и Промокашка сняли с борта длинную доску, и под ней открылись продольные щели — как амбразуры. В фургоне стало светлее, и через щели мне были видны мелькающие дома, трамвай, влетела и сразу же исчезла пожарная каланча. Мы ехали из района Черкизова в сторону Стромынки...

Ужасно хотелось курить. В кармане я нащупал кисет, который мне дал вчера Копырин: «Защемит коли — потяни, легче на душе станет...» Сильно трясло на ухабах заледеневшей мостовой или руки у меня так сильно тряслись, но свернуть цигарку никак не удавалось — все время табак просыпался. Левченко долго смотрел на меня, потом взял у меня из рук кисет и очень ловко, быстро свернул самокрутку, оставил краешек бумажки — самому зализать, — и протянул мне. Чиркнул, прикурил, затянулся горьким дымом, ударило мягко, дурманяще в голову, оперся я спиной о холодный борт и закрыл глаза.

Вот и подъезжаю я к концу своего пути. Про-

щай, Варя... Вся надежда на нашу встречу, если Жеглов догадается насчет двери в кладовку... Интересно, о чем думал Вася Векшин, когда к нему на скамейку подсел бандит Есин... За тебя, Вася, отомстили... И за меня с ними со всеми рассчитаются... Только самому еще очень хотелось пожить... Дожить до обещанной Михал Михалычем Эры Милосердия... Прощайте, Михал Михалыч... Вы как-то сказали, что люди узнают о вашей смерти только из заметки в газете о вашей смерти... А получается все наоборот. Обо мне...

Заскрипели тормоза, фургон стал притормаживать.

Да ничего! Я ведь разведчик! Я ведь муровец! Убить меня можете, а напугать — нате, выкусите! Я и безоружный одного из вас успею сделать... Вот тебя, наверное, Чугунная Рожа, ты все от меня не отходишь, — значит, судьба тебе такая!..

Машина совсем остановилась, стало тихо, и я приподнялся с ящика, чтобы выглянуть в щель.

— Садись на место, падло! — зашипел на меня Чугунная Рожа. Да, не зря ты так на меня крысишься — я ведь твоя судьба. И обойдусь с тобой круто.

— Что ты пылишь, дурак? — сказал Чугунной Роже Левченко. — Он сейчас с нами вниз пойдет,

а ты ему осмотреться не даешь. Сядь на место и не вякай...

Я посмотрел в щель и от этой ослепительной белизны кругом зажмурился. Фургон стоял в переулке неподалеку от магазина — отсюда был виден вход в магазин и угол пустыря, который примыкал к черному входу и к подсобкам. Снег вокруг был девственно чист, лишь одинокая цепочка следов вела от подсобки к воротам. Из кабины вышел горбун и сказал нам через щель:

— Промокашка пусть сходит к магазину, позекает, как там и что...

Своей развинченной походкой Промокашка добрел до магазина, и по щуплой его спине было видно, что он сильно боится. Он потоптался недолго у входа и вернулся, сказав, что магазин заперт, а внутри видел двух женщин в белых халатах, — похоже, продавщицы. И сердце у меня бешено заколотилось — все, значит, операция началась. Женщины в халатах в магазине — не продавщицы, это, должно быть, девушки из комендантского взвода...

— Все время смотрите, не отвлекайтесь, — сказал горбун и влез в кабину.

Минуты замерзли, заледенели секунды, все пропало. Неизвестно, сколько это длилось, и я

тщательно старался вспомнить, сколько приблизительно шагов от двери до тоннельчика, потом припоминал длину тоннельчика и сколько еще от него до поворота, сразу за которым дверь в кладовку. Ах, глупость какая — поганая дверка, она моя единственная дверь в жизнь...

— Вот они! Вот они! — сдавленно крикнул Промокашка.

Мы одновременно взметнулись к щели и увидели, что у дверей магазина притормозил наш «фердинанд», в лобовом стекле мне виден был Копырин. Он выехал на левый тротуар, потом стал сдавать задом и остановился так, что выход из него оказался прямо перед входом в магазин. Отворилась дверца кабины, и я увидел, как из нее прыжком вымахнул Жеглов. Он постучал в стекло и показал что-то находящимся внутри магазина. Отперли входную дверь, и из автобуса вышел Пасюк, держа за руку Фокса, сзади его страховал Тараскин. Они мгновенно провели Фокса в помещение, и снаружи остались только Гриша и Копырин.

Вот и все. В магазине наверняка еще наши, да и здесь-то, на улице, держат хлебный фургон под плотным прицелом. Лошак завел мотор, и фургон медленно, на первой скорости, покатил за угол,

на пустырь, к черному ходу, перекрыв его так же, как Копырин — главный вход с улицы.

Горбун проворно вылез из кабины и стукнул рукой в борт, и мы быстро попрыгали из люка на снег. Замка на двери не было. Чугунная Рожа потянул ее легонько на себя — отворилась. Первым шагнул на наклонную дорожку Тягунов, за ним пошел горбун. Чугунная Рожа взял меня за руку, но Левченко толкнул его:

— Иди впереди и смотри, чтобы он мимо тебя к ментам не рванул. Я прикрою его сзади...

Исчез в двери Чугунная Рожа, Левченко оглянулся, но сзади уже напирали Промокашка и Лошак, и в руках у них были пистолеты. Левченко махнул рукой, и я тоже ступил на бетонный спуск в подвал.

...После ослепительной белизны на улице все в первый миг слепли в тусклом сумраке подвала, и я только слышал негромкий шорох шагов впереди и тяжелый топот Левченко, Промокашки и Лошака за своей спиной. Глаза привыкли, и горбун уверенно прошел через приемку, быстро юркнул в тоннельчик, и на повороте слабо блеснул в свете запыленной пятнадцатисвечевки вороненый вальтер в его длинной обезьяньей руке. И Тягунов шагнул в тоннель, зашуршали его

ботинки по цементу, увесисто громыхнул Чугунная Рожа, согнувшись, вошел я, сзади Левченко... Где-то впереди, наверху раздавались громкие голоса, и горбун вел нас прямо на эти голоса. Пять шагов, шесть, семь, восемь, девять; сейчас кончается тоннельчик, кромка низкого свода, надо присмотреть какую-нибудь палку, чтобы свалить Чугунную Рожу одним ударом... Эх, не сообразил, видно, Жеглов, куда я от них на свету-то денусь? Я так надеялся, что Жеглов догадается погасить свет в подвале...

Конец тоннельчика... Тут в четырех шагах должен быть поворот направо, за ним еще два шага — и кладовая... Три, четыре... Поворот... Раз... два...

Погас свет! Свет погас! Чернильная, непроницаемая подвальная тьма окутала нас. И тишина — все остановились. Это будет длиться еще несколько секунд...

Шаг в сторону, вплотную к стене. Шаг вперед. Тише, тише, легче ступайте, ноги мои! Не грохочи так, сердце! Не рви с хрипом затхлый воздух, мое дыхание! Короткий матерок горбуна, бряк спичек в чьей-то руке... Жесть на двери, холодное прикосновение, застывшей в подвале жести. Зябко трясутся руки. Господи, дверь, не заскрипи толь-

ко, не визжите, петли! Подайся, дверь, бесшумно. Плавно уступила моим пальцам дверь, скользнула вглубь на смазанных петлях, приняла меня кладовая, как река, как материнское объятие, как спасение, как жизнь...

И не было в голове ни одной мысли, а бились судорожно во мне бешеные инстинкты, годами наработанные навыки ходить по краю пропасти. Мысли были у Жеглова, когда он крепил здесь вчера здоровый брус засова, намазав его жирно солидолом, так что и он скользнул в гнездо беззвучно, как сом в сети.

Я стоял, прижавшись к кирпичной стене, и холод ее ласкал воспаленное лицо, и удушье взяло меня железной хваткой за горло — не хватало воздуха, и не хватало смелости поверить, что я смог обо всем договориться с Жегловым, смог за двадцать километров, сидя в гнусном притоне, передать ему свой крик души...

За дверью раздался голос горбуна, чуть дрожащий, напряженный, но страха в нем не было:

— Володя! Ты где, Володя? Ну-ка подай голос! Ты что, в прятки придумал играть, а, мусорок?..

Боком встал я в кирпичную нишку, провел рукой по стене и на прилавке вдруг наткнулся на что-то тяжелое и холодное — пистолет! Мой ТТ!

Жеглов и это предусмотрел — если я догадаюсь, то и пистолет у меня под рукой будет!

— Володя! — негромко взвизгнул горбун. — Зубами порву, падло!

Я по-прежнему молчал, прижимаясь к стене.

— Уходить надо! — сказал Левченко.

— Здесь дверь где-то справа, — раздался голос Чугунной Рожи. — Он туда мог рвануть...

И сразу же в дверь тяжело, грузно стали ломиться. Ничего, продержится немного, а там еще посмотрим.

— Карп, оставь ты его, уходить надо! — снова глухо сказал Левченко.

— Убить его надо, суку, тогда пойдем, — верещал сквозь зубы горбун. Они стали, видимо, вдвоем наседать на дверь, петли протяжно заскрипели.

И вдруг в этом злом пыхтении, тихом матерке и чертыхании раздался очень громкий, просто пронзительный, баритончик Жеглова:

— Граждане бандиты! Внимание!

Напор на дверь утих, они там замерли от неожиданности, да и я не сразу сообразил, что Жеглов говорит с ними через вентиляционный люк, и в этой затхлой сводчатой тесноте, в этой мгле кромешной звучал его голос иерихонской

трубой. Я почти уверен, что Жеглов предвидел этот эффект.

— Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Фургон ваш, кстати, уже отогнали от дверей. Я предлагаю вам сдаться, иначе вы отсюда не выйдете...

— И кто это гавкает? — крикнул горбун.

— С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слышал, наверное? Вот я вам и предлагаю сдаться по-хорошему...

— А если по-плохому? — спросил горбун.

— Тогда другой разговор. В связи с исключительной опасностью вашей банды я имею указание руководства живьем вас не брать, если вы не примете моих условий. Как, устраивает тебя такой вариант?

— А мусорочка своего нам отдашь на съедение? Мы ведь кожу с него живьем сдерем!

Жеглов сказал рассудительно:

— Ну что ж. Пусть он за вас похлопочет, мы рассмотрим.

Молодец, Глебушка, дал мне шанс на всякий случай! Несколько секунд плавало напряженное злое молчание, потом Жеглов громко рассмеялся, и его хохот громом носился по подвалу:

— Дырку от бублика ты получишь, а не нашего

опера. Он уже давно тю-тю! Руки у тебя коротки до него дотянуться.

Они совещались прямо около моей двери, и я слышал, как вместо запальчивой первой злобы и азарта собственного испуга приходила окончательная уверенность, что им отсюда не вырваться, капкан захлопнулся намертво.

— Даю еще две минуты... — оглушительно прогремел голос Жеглова.

Кружилась голова, занемели ноги, голоса бандитов то возникали, то снова где-то растворялись, и в какой-то момент — прошла, наверное, тысяча лет — горбун крикнул:

— Черт с вами, мусора, банкуйте! Мы сдаемся!..

— Выходите из подвала. По одному. Перед дверью останавливайтесь и выкидывайте наружу стволы и ножи. Предупреждаю, дверь под прицелом, никаких фокусов, стреляем без предупреждения...

Затопотали, прогремели, зашуршали удаляющиеся шаги, стало тихо, и вдалеке, измятый сводами, поворотами, исковерканный дверьми, прозвучал голос Жеглова, уже не радиострашный, а обычный быстрый его баритончик:

— Значитца, так — первый пусть бросает оружие и выходит...

Прошло несколько секунд, и я снова услышал голос Жеглова:

— Может выходить второй...

— Третий...

— Теперь пусть выходит горбатый... Я сказал, горбатый!

— Пятый...

— Выходи следующий...

Неразборчиво гудели еще голоса, и наконец Жеглов ликующе заорал:

— Все! Шарапов, выходи! Все здесь!

Я стал отодвигать засов, и руки меня не слушались. На ватных ногах добрел я до спуска, медленно сделал последние шаги и вышел на улицу, а пистолет еще держал в руках...

Ошалело озирался я по сторонам — здесь уже было полно людей, тискали меня в объятиях Тараскин и Гриша, хлопнул сильно по плечу Жеглов:

— Молодец, Шарапов, мы тут за тебя страха натерпелись...

Пасюк хозяйственно собирал сваленное на снегу оружие, бандитов, обысканных и уже связанных, сажали в тюремный фургон «черный ворон», милиционеры с винтовками из оцепления смотрели на меня с любопытством. У дверей

«воронка» стоял Левченко.

— Руки! — скомандовал ему милиционер. Левченко поднял на меня глаза, и была в них тоска и боль. Протянул милиционеру руки.

Я шагнул к нему, чтобы сказать: ты мне жизнь спас, я сегодня же...

Левченко ткнул милиционера в грудь протянутыми руками, и тот упал. Левченко перепрыгнул через него и побежал по пустырю. Он бежал прямо, не петляя, будто и мысли не допускал, что в него могут выстрелить. Он бежал ровными широкими прыжками, он быстро, легко бежал в сторону заборов, за которыми вытянулась полоса отчуждения Ржевской железной дороги.

И вся моя оцепенелость исчезла — я рванулся за ним с криком:

— Левченко, стой! Сережка, стой, я тебе говорю! Не смей бежать! Сережка!..

Я бежал за ним, и от крика мне не хватало темпа, и углом глаза увидел я, что стоявший сбоку Жеглов взял у конвойного милиционера винтовку и вскинул ее.

Посреди пустыря я остановился, раскинул руки и стал кричать Жеглову:

— Стой! Стой! Не стреляй!..

Пыхнул коротеньким быстрым дымком ствол

винтовки, я заорал дико:

— Не стреляй!..

Обернулся и увидел, что Левченко нагнулся резко вперед, будто голова у него все тело перевесила или увидел он на снегу что-то бесконечно интересное, самое интересное во всей его жизни, и хотел на бегу присмотреться и так и вошел лицом в снег...

Я добежал до него, перевернул лицом вверх, глаза уже были прозрачно стеклянными. И снег только один миг был от крови красным и сразу же становился черным. Я поднял голову — рядом со мной стоял Жеглов.

— Ты убил человека, — сказал я устало.

— Я убил бандита, — усмехнулся Жеглов.

— Ты убил человека, который мне спас жизнь, — сказал я.

— Но он все равно бандит, — мягко ответил Жеглов.

— Он пришел сюда со мной, чтобы сдать банду, — сказал я тихо.

— Тогда ему не надо было бежать, я ведь им говорил, что стрелять буду без предупреждения...

— Ты убил его, — упрямо повторил я.

— Да, убил и не жалею об этом. Он бандит, — убежденно сказал Жеглов.

Я посмотрел в его глаза и испугался — в них была озорная радость.

— Мне кажется, тебе нравится стрелять, — сказал я, поднимаясь с колен.

— Ты что, с ума сошел?

— Нет. Я тебя видеть не могу.

Жеглов пожал плечами:

— Как знаешь...

Я шел по пустырю к магазину, туда, где столпились люди, и в горле у меня клокотали ругательства и слезы. Я взял за руку Копырина:

— Отвези меня, отец, в Управление...

— Хорошо, — сказал он, не глядя на меня, и полез в автобус. Я оглянулся на Пасюка, Тараскина, взглянул в лицо Грише, и мне показалось, что они неодобрительно отворачиваются от меня; никто мне не смотрел в глаза, и я не мог понять почему. У них всех был какой-то странный вид — не то виноватый, не то недовольный. И радости от законченной операции тоже не видно было.

Копырин мчался по городу и бубнил себе под нос, но не про резину, а что-то про молодых, про несправедливость, судьбу. Но я не очень внимательно слушал его, потому что обдумывал свой рапорт. С Жегловым я работать больше не буду.

У дверей Управления я сказал:

— Спасибо тебе, Копырин. За все. И за кисет... Он у того парня остался, убитого...

* * *

Абажур является одной из необходимых вещей, он украшает наш быт, создает уют. Хорошую инициативу проявила мастерская бытового обслуживания, организовав у себя производство абажуров. Каждый наркомвнуделец может заказать из своего материала красивый абажур, моделей которого нигде, кроме нашей мастерской, не имеется.

«На боевом посту»

— Я с тобой пойду, — сказал Копырин, вылезая со своего сиденья.

— Зачем? — удивился я. — Хотя, если хочешь, пошли...

В вестибюле, как всегда, было многолюдно, сновали озабоченные сотрудники, и только у меня сегодня дел никаких не было. Я пошел к лестнице и увидел на столике у стены портрет Вари. Большая фотография, будто увеличенная с удостоверения.

Варя?

Почему? Почему здесь ее фотография?

Отнялись ноги, вкопанно остановились. И сердце оборвалось.

СЕГОДНЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОГИБЛА МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА СИНИЧКИНА...

— Володя, Володя, ну что ты... Не воротишь, — загудел над ухом Копырин.

Варя! Варя! Этого не может быть! Это глупость! Вздор! Небыль! Варя!

Варя, это я должен был сегодня погибнуть, но я же вернулся! Ты обещала дождаться меня, Варя!..

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВООРУЖЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ПОГИБ НАШ ТОВАРИЩ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА ВАРЯ СИНИЧКИНА. НЕТ ЧЕЛОВЕКА В УПРАВЛЕНИИ, В КОТОРОМ НЕ ВЫЗВАЛА БЫ ЭТА ВЕСТЬ ЧУВСТВА ГЛУБОКОЙ СКОРБИ...

Подпрыгнула подо мной мраморная плита, заплясало все перед глазами. Портрет, цветы,

Варя! Не может этого быть... И обрушился на меня страшный крик наших пяти неродившихся сыновей, жалобно плакал маленький найденыш, который должен был принести мне счастье, кружилась Варя со мной в вальсе, и глаза ее полыхали передо мной, и я помнил сердцем каждую ее клеточку, и добрые ее мягкие губы ласкали меня, я слышал ее шепот: «Береги себя», и руки мои были полны ее цветами, которые она поднесла мне в ноябре, в самую страшную ночь моей жизни, уже мертвая. Она ведь умерла, когда ушла от меня во сне на рассвете, и сердце мое тогда рвалось от горя, и я молил ее оставить мне чуточку памяти... Варя!

Обнимал меня за плечи Копырин, гудел что-то надо мной; я взглянул на него — слезы каплями повисли на его длинных рыжих усах. Они все знали — поэтому они боялись посмотреть мне в лицо.

Какой-то серый туман окутал меня, я ничего не понимал, и, сколько меня ни тащил Копырин, я не двигался от Вариной фотографии.

Волосы ее были забраны под берет, и бешено светили ее веселые глаза.

О ВАРЕ СИНИЧКИНОЙ, СЛАВНОЙ ДОЧЕРИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ...

Я оттолкнул Копырина и выбежал на улицу. Снова пошел крупными хлопьями снег, он таял на лице прохладными щекочущими капельками. Где-то я потерял свою кепку, но холода совсем не чувствовал. Я вообще ничего не ощущал — я весь превратился в ком ревущей полыхающей боли, одну сплошную горящую рану. Варя...

Не помню, где я бродил весь день, что происходило со мной, с кем я разговаривал, что делал. Беспамятство поглотило все.

Когда я опомнился, то увидел, что сижу в нашем кабинете. Не знаю, был ли это еще день или уже накатила ночь, но вокруг были ребята — Гриша, Пасюк, Тараскин и Копырин.

— Володя, пошли ко мне, у меня переночуешь, — сказал Тараскин.

— Пошли, — согласился я, мне было все равно.

Открылась дверь, заглянул какой-то краснощекий майор, спросил:

— А где Жеглов?

— Вин по начальству докладае, — сказал Пасюк и махнул рукой.

Все стали собираться, а я сидел за своим кургузым столиком, который мы с Тараскиным так долго делили на двоих, и мне не давала покоя мысль, что и в беспамятстве своем я все равно помнил о чем-то очень важном, чего никак нельзя забывать — от этого зависела вся моя жизнь, — а сейчас вот забыл. И пока все одевались, а в тарелке репродуктора сипло надрывался певец: «Счастье свое я нашел в нашей дружбе с тобой», я все старался вспомнить это очень важное, что беспокоило меня все время, но мне мешало сосредоточиться то, что точно так же все происходило, когда мы выходили с Васей Векшиным на встречу с бандитами. Только Жеглова сейчас не было.

— Пойдем, Володя, — сказал Тараскин.

И у самой двери я вспомнил. Вспомнил. Вернулся назад и сказал:

— Ребята, идите, мне хочется посидеть одному...

Когда стихли шаги в коридоре, я снял телефонную трубку. Долго грел в ладонях ее черное эбонитовое тельце, и гудок в ней звучал просительно и гулко. Медленно повернул диск аппарата до отказа — сначала ноль, потом девятку, — коротко пискнуло в ухе, и звонкий девчачий голос ответил:

— Справочная служба...

Еще короткий миг я молчал — и снова передо мной возникло лицо Вари — и, прикрыв глаза, потому что боль в сердце стала невыносимой, быстро сказал:

— Девушка, разыщите мне телефон родильного дома имени Грауэрмана...

Май 1975, Москва